SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Критик, публицист. Основатель русского революционного марксизма, деятель русского и международного рабочего социалистического движения.

Пропущена 9 страница.

- Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
      - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - ГЛАВА ВТОРАЯ
      - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
      - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
    - ОТДЕЛ ВТОРОЙ
      - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - ГЛАВА ВТОРАЯ
      - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
      - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
      - ГЛАВА ПЯТАЯ
      - ГЛАВА ШЕСТАЯ
      - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
      - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
      - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
      - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
      - ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16

- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60

- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104

- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148

- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192

- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236

- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (КНИГА ВТОРАЯ)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕИ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
Политические взгляды Н. Г. Чернышевского

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Утопический социализм

В нашем предыдущем изложении мы уже не раз замечали, что Чернышевский в своих общественных взглядах стоял на точке зрения утопического социализма. Теперь нам нужно подробнее обосновать это замечание.

В философии Чернышевский был последователем Фейербаха. Через философию Фейербаха прошел также и Маркс, который подверг ее коренной переработке. Взгляды Маркса, — правда, в тот период их развития, когда они еще почти ничем не отличались от взглядов Фейербаха, — были отчасти известны Белинскому, которому, как это видно из его переписки, доставило огромное удовольствие знакомство с знаменитыми теперь Deutsch-Französische Jahrbücher. Но влияние зарождавшегося марксизма на русскую читающую публику было тогда еще слишком слабо для того, чтобы определить собой направление зарождавшейся русской социалистической мысли. Она еще долго, к сожалению, слишком долго, не поддавалась решительному влиянию трудов Маркса и Энгельса. При выработке своих социалистических воззрений Чернышевский совсем не принимал в расчет научного социализма, который уже в конце 40-х годов играл значительную роль в истории немецкого рабочего движения, а в 60-х годах, — со времени основания Международного Товарищества Рабочих, — стал мало-помалу приобретать прочное влияние на весь европейский пролетариат. Во всех его сочинениях мы не находим решительно ни одного указания на какое-нибудь, хотя бы самое отрывочное, его знакомство с сочинениями Маркса и Энгельса. Его мысль еще не вышла за пределы утопического социализма, хотя в этих пределах она обнаруживала огромную ясность, смелость и критическую силу.

Сказав это, мы спешим напомнить читателю то, что было сказано нами в предисловии, то есть, что эпитет: "утопический", прилагаемый нами к социализму в известной фазе его развитая, совсем не имеет у нас смысла порицания. Он просто-напросто характеризует под нашим пером ту точку зрения, с которой

смотрел на общественную жизнь социализм в первой фазе своего развития. Эта точка зрения стала неудовлетворительной с тех пор, как социализм перешел, благодаря Марксу и Энгельсу, на точку зрения науки. Но в свое время утопический социализм оказал огромные услуги делу развития общественной мысли; в числе его представителей мы встречаем целый ряд поистине гениальных людей, и относиться к нему с пренебрежением могут только самодовольные филистеры, не имеющие ни малейшего понятая о том, как развивается человеческая мысль. По той же самой причине нелепо было обижаться на нас, — как обиделись некоторые, не по разуму усердные поклонники Чернышевского, — за то, что мы отнесли нашего великого "просветителя" к числу утопистов. Утопистами были также Сен-Симон, Фурье, Р. Оуэн, а мы смеем думать, что находиться в их компании — значит быть в очень и очень хорошем обществе.

В своей книге "История русской общественной мысли" г. Иванов-Разумник утверждает, что утопическим социалистом Чернышевский не был никогда [1]. Г. Иванов-Разумник подкрепляет это свое мнение ссылками на 6-ю главу "Очерков гоголевского периода русской литературы" и на библиографическую заметку Чернышевского об известной книге Гакстгаузена. И он приходит к тому выводу, что Чернышевский считал утопический социализм "пережившим самого себя", вследствие чего находил лишним сражаться с ним.

Разбирая книгу г. Иванова-Разумника, мы разобрали и этот его взгляд [2]; однако здесь мы вынуждены вернуться к нему.

Г. Иванов-Разумник не понимает, что означают слова: утопический социализм. И это его непонимание гармонически дополняется в его книге не понимаем того, что именно говорил об утопическом социализме Чернышевский

В 6-й главе "Очерков гоголевского периода русской литературы" Чернышевский утверждает, что в то время, когда складывалось миросозерцание Огарева и Герцена, т. е. в тридцатых годах, во Франции возникла новая наука (подчеркнутое нами выражение принадлежит самому Чернышевскому. *Г. П.*), положения которой высказывались еще в фантастических формах, но на самом деле скрывали в себе "истины и глубокие и благодетельные". И он с большою похвалою указывает на то, что Герцен и Огарев обратили свое внимание на эти истины, не поверив пристрастным и поверхностным отзывам экономистов, которые, не поняв их смысла, осмеивали их, как несбыточную утопию [3]. Уже отсюда ясно, что Чернышевский считал отжившими только те формы, в которые облекали свои мысли социалисты-утописты. Содержание же этих мыслей не

вызывает возражений с его стороны. Напротив, он считает его "новой наукой", и он не замечает того коренного недостатка, которым отличались самые глубокие из утопических систем и который мешал им, в самом деле, перейти на почву науки.

Так же неудачна ссылка г. Иванова-Разумника на заметку о книге Гакстгаузена. В этой заметке Чернышевский писал, что Гакстгаузен очень ошибся, вообразив, будто бы в 1847 году, когда была издана его книга, еще находились во Франции серьезные люди, державшиеся системы Сен-Симона. В действительности, времена этой системы, "действительно мечтательной и неосуществимой, прошли задолго до 1847 года, и что в этом году разве какая-нибудь невинная старая девушка держалась во Франции системы Сен-Симона" [4].

Этот отзыв не оставляет никакого сомнения в том, что Чернышевский не был последователем Сен-Симона. Это так.

Но ведь утопический социализм еще не исчерпывается сенсимонизмом. Отвергая сенсимонизм, Чернышевский мог быть последователем какой-нибудь другой, французской, английской или немецкой утопической системы. Наконец, отвергая все существовавшие до него утопические системы, он мог придумать свою собственную. Следовательно, для понимающего дело человека главный вопрос заключается не в том, одобрял или не одобрял Чернышевский учения того или иного социалиста-утописта, а в том, видел ли он коренную ошибку, свойственную всем без различия системам утопического социализма. Но, чтобы поставить вопрос таким образом, нужно быть именно понимающим дело человеком, т. е. знать, в чем же заключается слабая сторона утопического социализма. Г. Иванов-Разумник этого не знает. Неудивительно, что ничего, кроме путаницы, не вышло из его попытки дать нам характеристику социалистических взглядов Чернышевского.

Отношение Чернышевского к Сен-Симону и сенсимонизму лучше всего видно из его статьи "Процесс Менильмонтанского семейства" ("Современник", 1860 г., № 5). В этой статье Чернышевский отзывается о Сен-Симоне, как о человеке необыкновенного ума, редкого благородства и исполненного самого глубокого сочувствия к народу. Основной идеей, выкупающей все ошибки и странности теории Сен-Симона, он считает следующую, "простую и чистую" идею: "для успокоения общества необходимо наискорейшее возможное улучшение материальной и нравственной жизни многочисленнейшего и беднейшего класса. Обязанность каждого хорошего гражданина, каждого честного человека состоит в том, чтобы посвятить все силы этому делу" [5]. Главная же ошибка Сен-Симона состояла, по

мнению Чернышевского, в том, что он, составив себе неправильное понятие об исторической роли католицизма, в идеях которого он был воспитан, плохо выяснил себе значение авторитета. "Авторитет существует в рутине, т. е., в делах, в которых не участвует рассудок, — говорит Чернышевский, — рассудок знает факты, убеждается доказательствами, но ничего не принимает по авторитету. В человеческих действиях часто может не бывать смысла, но если они совершаются с участием смысла, они бывают результатом собственного самостоятельного соображения обстоятельств и доказательств, а не внушением авторитетов. Думать иначе, верить в возможность авторитета, которому свободно подчинялся бы развитый разум, мог только энтузиаст, экзальтированный фальшивыми рассказами о прежней благотворительности папизма" [6]. Но как ни велика эта ошибка Сен-Симона, Чернышевский не считает позволительным насмехаться над его наивностью; он думает, что серьезный человек не должен останавливаться на частных промахах Сен-Симона, а скорее обратить внимание на его правильную основную идею.

Что касается сенсимонистов, то наш автор приводит следующие "три формулы", в которых они выражали результаты своих исторических исследований

"Человечество идет к учреждению всеобщей ассоциации, основанной на любви. Оно идет к тому, чтобы каждый получал по своей способности, а каждая способность по своим делам. Оно идет к организации промышленности" [7].

Чернышевский думает, что в этих формулах основная мысль сенсимонизма выражается не вполне удачно, и он так критикует их.

Человечество, действительно, идет к замене товариществом или союзом той вражды, которая принимает в промышленности вид конкуренции. Но не любовь ляжет в основу такого союза, а выгода, расчет: "Любовь только в редкие минуты, и только в немногих, особенно способных к экзальтации, людях берет верх над расчетом, да и то может побеждать его только в одном, в двух отдельных фактах, а общий характер действий все-таки остается под властью расчета или рутины, обычая, т. е. того же расчета, только сделанного не лично нами, а целым обществом и сделанного не в эту минуту, а давным-давно и усвоившегося нами по воспитанию" [8]. Сенсимонисты, которые, подобно своему учителю, сами были энтузиастами, думали, что и над всеми людьми энтузиазм может иметь такую же власть, какую он имел над ними.

Ослепленные энтузиазмом, они не заметили и того, что их

вторая формула крайне одностороння. Они хотели, чтобы каждый человек пользовался житейскими благами сообразно своим способностям. Это несправедливо. В таком случае Ньютон должен был бы получить сотни миллионов, а какой-нибудь учитель арифметики в приходской школе, имеющий лишь самые ограниченные дарования, должен оставаться нищим. "А что же будет, — спрашивает Чернышевский, — с большинством людей всякого сословия, в которых не обнаруживается способности ни к чему кроме механического исполнения рутины, у которых совершенно нет никаких умственных прав?" [9]. Но это еще не все. Так как у сенсимонистов каждая способность получает по своим делам, то Чернышевский спрашивает кроме того, что же было бы при осуществлении их планов с больными или вообще так или иначе лишенными способности к труду. В противоположность сенсимонистам, он выставляет другой принцип, говоря: "Если общество располагает такими средствами, что за достаточным удовлетворением всех законных потребностей каждого человека остается у него излишек, пусть оно распределяет этот излишек на каком ему угодно основании: раздает ли его по способностям, или по результатам деятельности, или, может быть, по другим расчетам, более выгодным для общественного благосостояния; но прежде всего каждый человек имеет право на удовлетворение своих человеческих потребностей; общество только потому и существует, что предполагается надобность его для обеспечения каждому из его членов полнейшего удовлетворения человеческих нужд" [10].

Не удовлетворяет его и третья формула сенсимонистов — организация промышленности. Такая организация, по его мнению, необходима и даже неизбежна. Весь вопрос в том, как придти к ней и как ее поддерживать. Сенсимонисты хотели действовать авторитетом. Они думали, что люди, облеченные властью, будут стоять выше всяких правил, подобно тому, как воля папы была, по их мнению, верховным законом для католиков в Средние века. После того, что сказано им о Сен-Симоне, Чернышевский не считает нужным делать какие бы то ни было новые замечания об этой "очевидной нелепости" [11].

Далее в его статье идет рассказ о том, до каких странных и подчас смешных поступков доходили сенсимонисты в своей крайней экзальтации. Он называет их салонными героями, подвергшимися припадку филантропизма. Но, произнося над ними этот суровый приговор, он оговаривается. Сенсимонистское движение было первым проявлением мысли о преобразовании общества, и это первое ее проявление имеет большую историческую важность. Оно показывает, что пора уже обществу

заняться теми реформаторскими идеями, которые на первый раз явились в неудовлетворительной форме сенсимонизма.

В заключение Чернышевский говорит о реформаторских идеях: "Скоро мы увидим, что они стали проявляться в формах более рассудительных и доходить до людей, у которых бывают уже не восторженною забавою, а делом собственной надобности, а когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сенсимонисты, тогда, вероятно, будет лучше ему жить на свете, чем теперь" [12]. Это — в высшей степени важное замечание. Оно показывает, что в своих рассуждениях о будущности западноевропейского социализма, Чернышевский очень

Пропущена 9 страница.

летариев в собственном смысле слова? Он говорит и о тех, и о других, и о третьих. Он говорит о всех вообще, не делая никакого различия между различными классами трудящегося населения. И это потому, что зачатки материалистического объяснения истории остаются у него зачатками, и он продолжает в целом смотреть на историю с той точки зрения, которая характеризуется словами: "миром правят мнения". Отсталость европейского "простолюдина" объясняется у него тем, что до народа не дошли еще известные научные понятия. Когда они дойдут до него, когда "простолюдины" ознакомятся с философскими воззрениями, "соответствующими их потребностям", тогда уже не далеко будет торжество новых начал в общественной жизни Запада [13]. Чернышевский не ставит себе вопроса о том, существуют ли в этой жизни такие явления, которые могли бы послужить объективным ручательством за то, что до "простолюдина" в самом деле дойдут, наконец, новые философские идеи. Ему нет надобности в таком ручательстве, потому что совершенно достаточным залогом торжества новых начал является в его глазах сама природа этих начал, а также и природа человека. В мартовской книге "Современника" за 1861 год напечатана рецензия на книгу Бруно Гильдебранда "Политическая экономия настоящего и будущего". В этой рецензии говорится: "То, что истинно человечно, истинно разумно, найдет себе симпатию во всех народах… Разум один и тот же под всеми широтами и долготами, у всех чернокожих и светлорусых людей. Конечно, в американских степях живут другие люди, чем в русских деревнях, и на Сандвичевых островах обитают господа, не похожие на английских джентльменов; но

ведь и русскому мужику и дикарю так же, как и высокопочтенному римскому кардиналу, хочется, думаем мы, есть, а затем, чтобы есть, хочется что-нибудь иметь. Стремление к улучшению своего положения составляет существенное свойство всего человечества. Если бы новые теории были противны природе человека, они и не пошли бы дальше той страны и тех людей, которым угодно было выдумать их, не стремились бы к ним все народы образованного мира".

Когда мы писали свою первую статью о Чернышевском осенью 1889 года, мы цитировали эту рецензию, как, несомненно, ему принадлежащую, но мы не находим ее в полном собрании его сочинений, изданном М. Н. Чернышевским. Можно предположить, конечно, что она не вошла туда просто по какой-нибудь случайности. Но мы охотно признаем более вероятным, что мы ошиблись, приписав рецензию, о которой идет речь, Н. Г. Чернышевскому. Тем не менее выраженная в ней мысль не перестает быть очень характерной для тогдашних взглядов "Современника", между сотрудниками которого Чернышевский играл такую блестящую и такую влиятельную роль. Притом рецензия en question только повторяет в более яркой форме то, что сказано насчет безусловной общедоступности раз завоеванной истины в рецензии на книгу Новицкого, цитированной нами выше и вошедшей в 6-й том полного собрания сочинений Чернышевского.

Мы предполагаем, что в 60-х годах, когда Чернышевский уже обладал репутацией чрезвычайно выдающегося экономиста, всякая такая статья, которая противоречила бы его экономическим и социальным взглядам, могла бы быть напечатана в "Современнике" разве только с критическими примечаниями от редакции. Поэтому мы процитируем еще другую статью, тоже, как видно, не принадлежащую Чернышевскому, но очень характер-ную для взгляда на социальный вопрос кружка "Современника" вообще, а следовательно, и для Чернышевского в частности. Статья эта напечатана в майской книжке названного журнала за 1861 год, в отделе иностранной литературы.

В начале ее высказываются очень дельные замечания о том, что пролетариат представляет собою явление, свойственное исключительно новой истории. "Только в нынешнем столетии он явился, — говорит автор, — на Западе Европы в виде сознательного, самостоятельного целого. До XIX столетия бедных, нуждавшихся в общей помощи, было, может быть, больше, чем теперь, но о пролетариате не было речи. Он плод новой истории". Далее автор делает справедливое замечание о том, что женский

промышленный труд послужит залогом семейного освобождения женщины. Читая это, можно подумать, что имеешь дело с человеком, вполне стоящим на точке зрения современного научного социализма. Но как только речь заходит о практических способах улучшения участи пролетариата, тотчас становится очевидным, что это совсем не так. Именно, говоря о лионских ткачах шелковых изделий, автор видит спасение их в "децентрализации производства", в заведении мастерских вне города, в соединении ткацкого труда с сельским хозяйством. По мнению автора, соединение занятий ткацким ремеслом с сельским хозяйством сильно увеличит благосостояние рабочего. Другой источник возможного увеличения благосостояния ткачей видит он в дешевизне сырых припасов в деревнях. Вот подлинные слова его: "Для лионского рабочего начало освобождения его от хозяина заключается в устройстве своей собственной мастерской вне города. Но как завести ее? На чьи деньги? На хозяев и на фабрикантов можно надеяться в виде исключения, и вот почему нужно искать поддержки в правительстве, его деньгах. Только при кредите, открытом правительством лионскому пролетарию, он освободится от эксплуатации его труда капиталистом и получит возможность встать на свои ноги". Автор опасается, однако, что рабочие не захотят переселиться в деревни. "Городская жизнь для многих из них представляет приятные особенности, которых они не найдут в сельской жизни… Но это зло переходное. Нельзя ожидать, разумеется, чтобы все рабочие сразу переселились из Лиона в его окрестности, но и нет никаких оснований думать, чтобы польза такого переселения не входила все более и более в общее сознание рабочих. Несколько удачных примеров, и рабочий увидит выход из своего настоящего печального положения. Для начала будет достаточно, если образуются маленькие хозяйства и мастерские отдельных семейств, а там уже не труден переход к товариществу и к устройству на общий счет фабрик с механическими двигателями".

Мы совсем не удивились бы, если бы встретили подобный план в "Отечественных Записках" того времени, когда г. В. В. излагал в них, с благословения Н. Михайловского, свои соображения насчет "судеб капитализма в России". Но в журнале Н. Г. Чернышевского он производит неожиданное и, — надо говорить правду, — даже тяжелое впе-чатление. Видно, что человеку, придумавшему такой план, равно как и людям, от которых зависело напечатать или не напечатать его в "Современнике", совсем еще не ясно было, от наличности каких политических условий зависит возможность экономического освобождения пролетариата. Автору плана кажется, что

экономическое освобождение лионских ткачей могло бы совершиться по почину правительства Наполеона III. Автор плана и одобрившие этот план соредакторы "Современника" как будто еще не знали, что освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса. А если и известна им была эта истина, то она получила у них такое истолкование, с каким совершенно нельзя согласиться в настоящее время.

Впрочем, это неудивительно. Те года, в течение которых складывалось миросозерцание Чернышевского, относятся к тому мрачному периоду истории Европы, когда пролетариат, подавленный после 1848–1849 гг., не подавал никаких признаков сознательной жизни [14]. Поэтому у Чернышевского и не могло быть высокого мнения о способности этого класса к политической инициативе. А ведь на пролетариат он все-таки смотрел, как на самый передовой слой в массе "простолюдинов". Мы уже знаем, что о крестьянах всей Европы он отзывался, как о настоящих варварах. И от этого своего взгляда он, насколько мы знаем, не отказался до самого конца своей жизни. Во всяком случае можно утверждать, что он твердо держался его в шестидесятых годах. Это видно, между прочим, из его статьи "Июльская монархия" ("Современник", 1860 г., кн. 1 и 2) [15].

Чернышевский там обращается к тем "лучшим людям", которые, увидев, что введением всеобщего избирательного права во Франции воспользовались реакционеры и обскуранты, перестали придавать ему значение. Он успокаивает их не тем соображением, что реакционеры и обскуранты могли воспользоваться результатом всеобщего избирательного права только после избиения июньских инсургентов. Он не говорит им, что всеобщее избирательное право безусловно необходимо для политического самовоспитания рабочего класса. Он просто указывает на неразвитость "поселян". "Прямой результат декрета (вводившего названное право во Франции), говорит он, противоречил ожиданиям всех честных французов. Но что же из этого? Разве все-таки не послужил этот факт на некоторую пользу французскому обществу? Теперь увидели, что невежество поселян губит Францию. Пока не имели они голоса, никому не было заботы об этой страшной беде. Никто не замечал, что в основе всех событий французской истории всегда лежало невежество поселян. Болезнь была тайная и оставшаяся без лечения; но все-таки она изнуряла весь организм. Когда поселяне явились на выборы, тогда замечено было, наконец, в чем сущность дела. Увидели, что ничего истинно полезного не может быть осуществлено во Франции, пока честные люди не займутся воспитанием поселян. Теперь это делается, и усилия все же не

остаются совершенно бесплодными. Раньше или позже поселяне станут рассудительнее, и тогда прогресс для Франции станет легче. Успокоимся же: хотя бы всеобщее избирательство и не удержалось при восстановлении законных учреждений во Франции, хотя бы горькие плоды, принесенные декретом о нем, и заставили общественное мнение на время отвергнуть всеобщее избирательство, все-таки декрет о нем, при великом прямом вреде, принес косвенным образом несравненно большую пользу"

Мы видим: вся надежда Чернышевского возлагается на "лучших людей", которые займутся воспитанием поселян, вследствие чего "прогресс для Франции станет легче". Это опять тот чисто идеалистический взгляд, в силу которого интеллигенция является как бы Демиургом истории, и который, не помешав нашему автору подметить некоторые слабые стороны учения Сен-Симона и сенсимонистов, не дал ему, однако, возможности обнаружить коренной недостаток этого учения, свойственный ему вместе со всеми другими утопическими системами и состоявший в том, что данный идеал общественного устройства рассматривался с точки зрения его желательности для данной группы интеллигенции, а не с точки зрения отношения его к объективному ходу общественного развития и не с точки зрения народной самодеятельности, в большей или меньшей степени поощряемой этим развитием. Критикуя идеал сенсимонистов, Чернышевский не спрашивает себя о том, обеспечивается ли осуществление этого идеала объективным ходом общественного развития. Его интерес ограничивается рассмотрением того, насколько хорош этот идеал сам по себе, насколько он удовлетворителен с точки зрения понятия (данной группы интеллигенции) об общественной пользе, справедливости и т. д. Эта черта свойственна ему со всеми социалистами-утопистами. И, — повторяем, — при обстоятельствах его времени эта черта его критических приемов являлась совершенно неизбежной. Чтобы убедиться в этом, посмотрите, например, как характеризует он положение дел в современной ему Западной Европе. "Масса народа и в Западной Европе еще погрязает в невежестве и нищете; поэтому она еще не принимает разумного и постоянного участия ни в успехах, делаемых жизнью достаточного класса людей, ни в умственных его интересах. Не опираясь на неизменное сочувствие народной массы, зажиточный и развитой класс населения, поставленный между страхом вулканических сил ее и происками интриганов, пользующихся рутиною и невежеством, предается своекорыстным стремлениям, по невозможности осуществить свой идеал, или бросается в излишества всякого рода, чтобы заглушить свою тоску. Многие из

лучших людей в Европе до того опечалены этим злом, что отказываются от всяких надежд на будущее". Сам Чернышевский, конечно, не принадлежал к лучшим людям этого разряда: он совсем не отказывался от всяких надежд на будущее. Но довольно естественно было то обстоятельство, что он приурочивал все свои упования к другому разряду лучших людей, к тому разряду, который, сохранив веру в лучшее будущее, занимался разработкою "новой науки" и посильным распространением ее выводов в массе. Вся сила людей этого разряда заключалась в силе отвлеченной истины, в правильности тех или других предлагавшихся ими "формул". Поэтому внимание Чернышевского и сосредоточивалось на критике этих последних, как это ясно показывает сделанный им разбор учения Сен-Симона и сенсимонистов.

Когда Чернышевский защищал русскую общину, то в числе выгодных сторон этой формы землевладения он указывал на то, что она спасает нас от "болезни пролетариатства" [16]. Подобное указание могло быть сделано только таким человеком, который видел в "пролетариатстве" только болезнь и еще не научился смотреть на него, как на источник самого великого изо всех исторических движений, какие только знает история. Очень возможно, правда, что когда он заговаривал об этой болезни, то ему вспоминались иногда мнения реакционеров вроде Тенгоборского или барона Гакстгаузена, тоже опасавшихся "пролетариатства", но опасавшихся его, главным образом, потому, что оно делает непрочным дорогой им старый порядок. И, может быть, ему приходили подчас сомнения насчет тех выгод, которые будто бы приносило с собой отсутствие у нас названной болезни. Нам кажется вероятным, что именно на подобные сомнения отвечал он самому себе следующим замечанием: "Землевладельческий класс, хотя и всегда пользовался у нас землею по общинному порядку, не всегда являлся в русской истории с тем неподвижным характером, какой воображает видеть в нем Тенгоборский, слишком доверившись общей обычной фразе о неподвижности, свойственной землевладельцу в Западной Европе, и применив эту бездоказательную фразу к русскому поселянину. Нам здесь нет нужды толковать, каков характер западноевропейского поселянина. Напомним только о том, что казаки были большей частью из поселян и что с начала XVII века почти все драматические эпизоды в истории русского народа были совершены энергией земледельческого населения". Здесь крестьянские войны ставятся по своему значению на одну доску с движениями новейшего пролетариата — смешение, совершенно невозможное для настоящего времени. И кто же не

видит теперь, что историческая роль казачества не имеет ничего общего с историческою ролью рабочего класса.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Утопический социализм
(Продолжение.)

Чернышевский смотрит на вопрос о социализме, как и на все другие общие вопросы исторического развития, с точки зрения идеализма. И это идеалистическое отношение к важнейшим историческим явлениям свойственно было социализму всех стран в утопический период его развития. Эта черта утопического социализма имеет такую огромную важность, что на ней необходимо остановиться, не опасаясь некоторых, вполне возможных в этом случае, повторений.

Главным признаком научного отношения к явлениям природы и общественной жизни служит понятие о законосообразности этих явлений. История мысли показывает, что понятие о законосообразности явлений природы усваивается людьми раньше и легче, чем понятие о законосообразности общественных явлений. Просветители XVIII века вполне усвоили себе первое из этих понятий. Оно лежало в основе всего их миросозерцания, было главным доводом в их спорах с людьми старого образа мыслей. Но достаточно припомнить исторические взгляды огромного большинства просветителей, чтобы видеть, как далеки они были от правильного понятия о законосообразности общественного развития. Общественная деятельность человека казалась им областью свободного выбора, областью решений, основанных на приговоре рассудка, который подчиняется лишь законам формальной логики. Если в течение всей истории человечество жило в бедности и угнетении, то это происходило оттого, что оно, по своему невежеству, не знало, как должны быть устроены нормальные общественные отношения. История оказывалась, таким образом, простой ошибкой рассудка. Мы уже знаем, что буржуазные экономисты, — частью сами принадлежавшие к числу просветителей, частью унаследовавшие их взгляды на историю, — точно так же смотрели на экономическую жизнь человечества: люди жили прежде при ненормальных экономических условиях, потому что не имели правильного понятия об естественных законах народного хозяйства. И точно тот же взгляд на происхождение общественных отношений встречаем мы у социалистов первой половины нашего века. Считая буржуазный строй несправедливым и неразумным, они объясняли себе его историческое возникновение промахом мысли, ошибочным расчетом человечества. На вопрос: — почему ошибалось

человечество? — у них всегда был готов ответ: по своему невежеству, простому или ученому. Вопрос же о том, почему оно ошибалось именно в эту, а не в какую-нибудь другую сторону? — или вовсе не приходил в голову социалистам, или решался ими с помощью ссылок на разного рода исторические случайности.

Такова была их точка зрения на общественную жизнь. Они твердо держались ее, хотя в их теориях было уже много элементов правильного, научного объяснения исторического движения человечества. Эти элементы не сложились еще в стройную систему и потому сами являлись чем-то отрывочным и случайным в миросозерцании социалистов. Так, например, Фурье говорил, что человечество необходимо должно было пройти известные фазисы в своем экономическом развитии. (По Фурье их было четыре: дикое состояние, варварство, патриархат и цивилизация. Следующие периоды будут различными степенями применения принципа ассоциации.) А между тем, посмотрите, до какой степени случайным кажется Фурье происхождение его собственной социальной теории. "Мне возразят, — пишет он: — итак, все и каждый ошибались до сих пор, а вы один знаете больше, чем все ученые всех веков? Все и каждый ошибались! А почему бы и нет? Разве это было бы в первый раз? И разве не то же возражали Колумбу и всем изобретателям, которые, однако, доказали, что, действительно, все ошибались до них. *"Всем* и каждому" свойственно было ошибаться в течение целых тысячелетий относительно таких простых и необходимых вещей, как, например, стремя. Кажется, всякому легко было сделать это столь простое и вместе с тем столь драгоценное изобретение, и, однако, его забывали, на счет его ошибались вплоть до XII века. Одного этого примера было бы довольно, чтобы показать, что *"все* и каждый" могут быть глупы и слепы как относительно мелочей, так и относительно великих вещей. Но еще убедительнее показывает это пример ассоциации. Если бы ее принципа не сумели открыть, несмотря на усердные исследования, то одно это обстоятельство свидетельствовало бы уже о человеческой неловкости, потому что к открытию этого принципа можно было придти, как я показал, шестнадцатью различными путями. Но что сказать об ослеплении людей, когда никто из них даже не подумал выступить на один из этих путей, никто не позаботился об открытии принципа, от которого зависело их счастье?.. Нечего удивляться тому, что *"все* и каждый" ошибались относительно судеб общества… Не будучи гением, легко можно знать больше, чем "все и каждый", в особенности в областях знания, вроде той, к которой относится ассоциация и которой никогда не занимались. В этой области всякий, кто вздумает, наконец, взяться за

исследования, находится в положении первых европейцев, приехавших в Перу: он легко откроет золотые россыпи". Далее Фурье рассказывает, как в 1799 году в Лондоне одному заехавшему туда из Египта негру удалось объездить дикую лошадь, приводившую в отчаяние лучших наездников Англии, и говорит, что этот случай является как бы эмблемою того положения, в котором оказались патентованные ученые после его открытия. "Природная способность может превзойти все ухищрения науки, — прибавляет он, — и привести вовсе неученого человека к драгоценному открытию, ускользавшему до тех пор от опытного глаза ученых. Природа распределяет как попало изобретательный гений, научные и художественные инстинкты. Неудивительно потому, что в среде темных людей нашелся человек, обладающий способностью к открытиям в социальной механике" [17].

Правда, по наивному признанию Фурье, эти "фамильярные наставления" предназначались для того, чтобы вызвать доверие к нему в "благожелательных читателях", непосвященных в науки. Поэтому можно было бы подумать, что он умышленно изображает здесь дело в слишком уж простом виде. Но это не так. Хотя в своих "фамильярных наставлениях" Фурье и приспособляет свое изложение к умственному уровню необразованных читателей, но он высказывает в них тот самый взгляд, какого он всегда держался. Его открытия всегда казались ему делом случая, независимым от определенных исторических условий. Ему было непонятно, почему люди не пришли к таким открытиям многими веками раньше. Это обстоятельство он объясняет, как мы видели, просто ослеплением людей. Не легко согласить подобный взгляд с вышеупомянутым учением Фурье о различных фазисах исторического движения человечества. Но рассудок обладает удивительною способностью устанавливать прочный и продолжительный мир между самыми непримиримыми понятиями. "Если люди так долго упорствовали в своем восхищении перед цивилизацией, — говорит Фурье, — то это было потому, что никто не последовал совету Бэкона и не сделал критического анализа пороков каждой профессии и недостатков каждого учреждения" [18]. Здесь долгое пребывание человечества в фазисе цивилизации выставляется простым следствием его недогадливости и как бы наказанием за нее. Таким же следствием случайных промахов и ошибок мысли могло представиться Фурье и все историческое скитание человечества по различным фазисам развития. Скитание это стало неизбежным лишь благодаря недогадливости людей, как сорокалетнее скитание в пустыне стало обязательным для сынов Израиля лишь потому, что они

согрешили. История приняла бы совершенно другой и гораздо более отрадный вид, если бы люди догадались взяться за изучение принципа ассоциации несколькими столетиями раньше. Им очень легко было сделать это, но случилось так, что они этого не сделали, а потому история и пошла известной нам дорогой. Так или приблизительно так соглашались в миросозерцании Фурье зачатки научной философии истории с понятием о случайности.

Цивилизованное человечество держится за существующие общественные учреждения лишь потому, что никто не потрудился показать нелепость этих учреждений и возможность заменить их лучшими. Если это так, то задача всякого искреннего друга человечества, открывшего или усвоившего истинные принципы общежития, определяется сама собой. Она естественно разделяется на две части: во-первых, следует показать людям, в чем именно заключается их ошибка, а во-вторых, — научись их, как можно ее поправить. Для достижения первой из этих целей, надо сделать "критический анализ недостатков каждого учреждения", существующего в современном обществе. Но так как недостатки общественных учреждений отражаются на характере человека в виде его пороков, — что выяснили еще просветители восемнадцатого века, — то критический анализ названных недостатков надо дополнить анализом пороков, свойственных каждой из тех профессий, которым предаются люди в существующем обществе. За критикой общественного строя должна следовать картина и критика нравов, создаваемых этим строем. Сделав это, необходимо перейти ко второй части задачи, т. е., показать, какими именно общественными учреждениями следует заменить существующие ныне. К этому нужно подходить с большой осмотрительностью и осторожностью; проект будущей общественной организации должен быть разработан во всех подробностях; история показала, что в этом отношении на догадливость людей полагаться совершенно невозможно: они наверное наделают много важных ошибок, а между тем, каждая, даже вовсе незначительная, по-видимому, ошибка может повести за собой коренную порчу всего общественного механизма. Реформатор ничего не должен упускать из виду: организация производства и распределение продуктов, пища и одежда, семейные отношения и воспитание, увеселения и прием гостей, архитектура зданий, — одним словом, все, решительно все, должно быть предусмотрено им, до утешения несчастных любовников, включительно. Общественные отношения зависят от взглядов людей. Люди выбирают такие общественные порядки, которые справедливо или ошибочно кажутся им наиболее

разумными и выгодными. Поэтому не может встретиться никаких непреодолимых препятствий к осуществлению подробно разработанного проекта общественной реформы, если он только сам по себе разумен и сообразен с человеческими интересами. Конечно, по своей косности и непонятливости "цивилизованные" не сразу оценят преимущества предлагаемого им общественного порядка, они будут осмеивать и даже преследовать реформаторов. Не легко бороться с подобными препятствиями, но побороть их, в конце концов, вполне возможно: нужно только энергически отстаивать свое дело и не упускать случая оттенить перед людьми выгодные и приятные стороны предлагаемого им общественного устройства. А так как люди подчиняются не только голосу рассудка, но и соблазнам воображения, то не следует щадить красок, рисуя перед ними картину будущего общества. Она непременно должна быть блестящей и увлекательной. Но и это еще не все. Трудно предвидеть, какого характера люди скорее и более всего соблазнятся этой картиной. Надо, следовательно, позаботиться о том, чтобы она по возможности соответствовала всем мельчайшим оттенкам вкусов и наклонностей. Вы скупы или даже, с позволения сказать, жадны; вы не прочь бы заняться ростовщичеством, — это не беда, содействуйте скорейшему осуществлению нового строя: он даст вам возможность без вреда для других получать такие проценты на ваш капитал, каких вы никогда не получите в современном обществе; в доказательство этого вот вам небольшой примерный расчет. Вы непостоянны в любви, вы склонны часто менять предметы своего любовного обожания, — и это не беда: в будущем обществе самые прихотливые любовные вкусы получат полнейшее удовлетворение; помогите только нам устроить это общество, — вы, наверное, не останетесь в накладе. Или, может быть, вы любите поесть сытно и вкусно? У нас будет такая кухня, о какой не имеют понятия самые тонкие гастрономы "цивилизации". Переходите же на нашу сторону, это как раз лежит в ваших интересах. Наконец, вы большой охотник до плодов, или до овощей, положим, до артишоков, или до дынь. Нет ничего труднее, как достать хорошую дыню в современной Западной Европе, и, наоборот, прекраснейшие дыни будут всякому доступны в будущем обществе. Таким образом торжество наших идей сулит вам много приятного [19].

Это смешно. Но мы не затем упоминаем об этом, чтобы смеяться над людьми, достойными всякого уважения. Мы хотим показать, каким образом отсутствие строго выработанного понятия о законосообразности общественного развития делало социалистов старого времени утопистами. Но не у одних только

социалистов недоставало этого понятия. Его недоставало и у просветителей восемнадцатого века, и у буржуазных экономистов. Если просветители и буржуазные экономисты не отличались склонностью к утопиям, то на это были свои особые причины, не имеющие ничего общего с большею или меньшею степенью научности их миросозерцания. Ни просветителям, ни экономистам в утопиях не было надобности, так как совсем или почти совсем готовый буржуазный порядок казался им нормальным порядком вещей. Социалистам же были утопии необходимы, потому что они стали в отрицательное отношение к окружающему их общественному порядку. Но отрицание буржуазного строя является не ошибкой, а огромной заслугой с их стороны. Поэтому несправедливо и неразумно смеяться и над их утопиями. Филистеры, которые осыпали насмешками социалистов-утопистов, доказали этим свою буржуазную ограниченность, а вовсе не трезвость или научность своих воззрений. Нельзя винить социалистов-утопистов за те недостатки их миросозерцания, которые были свойственны не им одним, а всем их современникам, за самыми редкими исключениями. Пока понятие о законосообразности общественного развития не сделалось краеугольным камнем общественной науки, до тех пор всякий реформатор необходимо должен был становиться утопистом, если только предлагаемые им реформы не ограничивались частностями существующего строя, а распространялись на все его основания. Доказательством этого служит вся история политических и социальных учений. Что такое утопия? Это идеальный общественный строй, который предполагается годным для всех народов, независимо от исторических условий их существования. Но с историческими условиями существования народов вообще очень мало считались в те времена, когда разгадки всех социальных явлений искали в понятиях и чувствах людей.

Мы уже видели, что, по Чернышевскому, раз открытая истина становится доступной всем людям, имеющим материальную выгоду в понимании. Это — уже очень хорошо знакомый нам теперь утопический взгляд на вопрос. И этот утопический взгляд совершенно не совместим с тем отношением к любому вопросу исследования, которое, по словам самого Чернышевского, завещано нам диалектическою философиею Гегеля и составляет главное теоретическое завоевание этой философии. "В действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление,

что эти общие, отвлеченные изречения неудовлетворительны. Отвлеченной истины нет, истина конкретна, т. е. Определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит". Это так, но такое отношение к действительности бесповоротно осуждало всякие произвольные построения планов идеального общественного устройства. Окружающая нас действительность существует в силу определенных условий места и времени. В ней совершаются и имеют совершиться не те перемены, которые кажутся нам наиболее полезными или наиболее согласными с нашими "идеалами", а те, которые вызываются данными, совершенно определенными условиями времени и места. Зная эти условия, мы можем предвидеть и зависящие от них изменения окружающей нас действительности, а предвидя эти изменения, мы можем и должны сообразно с ними направлять свою общественную деятельность. Но наша деятельность будет целесообразна только в том случае, если мы не ошиблись в оценке окружающей нас действительности. И нужно заметить, что здесь речь идет не о той поверхностной оценке действительности, которая заключается в сравнении ее с нашими "идеалами". Что действительность не удовлетворяет требованиям идеала, — это понятно само собой, иначе идеал не был бы идеалом. Весь вопрос в том, куда идет действительность по условиям места и времени: в ту сторону, где лежат наши идеалы, или в какую-нибудь другую сторону? Если она идет в сторону наших идеалов, другими словами, если наши идеалы совпадают с историческим ходом действительности, то мы будем полезными историческими работниками; если — нет, то нам суждено быть Дон-Кихотами. Да и это еще не все. Общественный деятель может всю жизнь оставаться Дон-Кихотом даже в том случае, если действительность идет как раз туда, где находятся его идеалы. Это бывает всякий раз, когда человек, правильно определив свою цель, не умеет найти верное средство ее достижения. Тогда его деятельность является мнимой величиной, и хотя жизнь придет туда, куда ему хотелось привести ее, но придет совершенно независимо от его усилий. Наши крестьяне служат молебны во время засухи и заставляют священников читать молитвы, предохраняющие от "червя" капусту. После молебнов идет иногда дождь; после прочтения священником молитвы "червь" иногда исчезает. Но оттого ли идет дождь, что крестьяне отслужили молебен? Оттого ли пропадает червь, что священник прочитал молитву? Все это происходит по причинам, ни мало не зависящим ни от священников, ни от молебнов. То же самое и с общественным развитием. Ему случается осуществлять

"заветные думы, вожделенные грезы" общественного деятеля. Но если его думы не опирались на внимательное изучение действительности; если его грезы обязаны были своим происхождением только тому, что ему хотелось грезить, то он мог бы спокойно сидеть, сложа руки: дело и без него пришло бы к тому же концу. Чтобы влиять на действительность, нужно относиться к ней так же, как естествоиспытатель относится к природе: изучать ее законы и, вполне подчиняясь им, заставлять их служить своим целям.

Но где же коренятся законы окружающей нас общественной жизни? В ней самой и только в ней самой, в условиях места и времени и только в условиях места и времени. А эти условия имеют свою особую, внутреннюю логику, независимую от логики и воли человека. В самом деле, возьмем хотя бы экономические отношения. Дурно или хорошо то, что на известной степени развития товарного производства сама рабочая сила человека становится товаром, но так было и будет, пока будет существовать товарное производство. Дурно или хорошо то, что в капитализме подъемы промышленной деятельности сменяются кризисами, но так было и будет до самого падения капитализма. Дурно или хорошо то, что крупные капиталисты побивают мелких, но они побивали и будут побивать их до тех пор, пока не исчезнет нынешний экономический строй. А исчезнет он опять-таки не потому, что мы убедились в его негодности, а потому, что ему присущи особые законы развития, неотвратимое действие которых и приведет к его устранению. Наше убеждение в его негодности само является лишь результатом действия этих внутренних законов развития капитализма.

Все вообще диалектическое (если хотите, в известном смысле — прогрессивное) движение понятий и явлений совершается в силу противоречий, возникающих в этих понятиях или явлениях по законам их внутреннего развития. Взаимное противоречие составных элементов данного понятия, взаимный антагонизм внутренних сил данною явления составляют главнейшую пружину всякого развития, где бы мы его ни наблюдали: в природе, в логике или в истории. Классовая борьба гонит цивилизованное общество вперед, спасая его от застоя. Еще Гизо говорил, как мы знаем, что вся Франция создана войною классов. Но социалисты-утописты не понимали исторического значения борьбы классов. И это вполне понятно. Со своей идеалистической точки зрения они могли оправдывать только один род борьбы: борьбу "истины" с "заблуждением". Мы знаем теперь, что "отвлеченной истины нет", что "истина конкретна", что истинное для одного времени становится ложным для другого. Нам

разъяснила это немецкая философия, которая, ставши на эту новую, конкретную точку зрения, вызвала целый переворот в науке. Ж. Б. Сэй находил, что бесполезно изучать историю предшествовавших Адаму Смиту экономических учений, так как все они ошибочны. Гегель же придавал огромное значение истории философии, потому что для него каждая философская система была законным детищем своего времени. Стоило только распространить этот взгляд на историю общественной науки, чтобы придти к тому простому и ясному заключению, что различные социальные и политические системы являлись лишь теоретическим выражением фактических отношений и нужд современного им общества, или хотя бы только одного класса, одного слоя общества. А отсюда не далеко уже было и до понимания того, что борьба "истины" с "заблуждением" является в истории лишь теоретическим выражением развития общественных отношений и связанной с ним борьбы классов, стремящихся к господству или просто к более полному удовлетворению своих нужд и потребностей. Раз взглянувши на общественные отношения с точки зрения развития, нельзя уже было оценивать их с помощью одного неизменного масштаба: отношения, хорошие для одной ступени развития, оказывались негодными для другой, все дело и здесь зависело от данных условий времени и места.

Но все это стало ясно только после того, как Маркс и Энгельс сделала социализм наукою, поставив его на твердую почву материалистического объяснения истории. А когда социализм еще оставался утопией, когда его последователи еще продолжали стоять на точке зрения исторического идеализма, тогда им были еще совершенно неясны все эти, теперь такие простые для нас истины. Н. Г. Чернышевский не составлял исключения из общего правила. Подобно всем другим социалистам-утопистам, он тоже склонен был забывать об условиях времени и места. И хотя он совсем не оправдывал фантастических увлечений различных основателей утопических систем, хотя он старался все приурочить к расчету пользы, но самый этот расчет делался им по большей части в полусвете утопической абстракции. Поэтому и он, как мы это увидим ниже, не мог не придавать преувеличенного значения рассуждениям о том, каково должно быть будущее, правильно устроенное общество.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
"Собственный" план Чернышевского и вопрос о поземельной общине

Мы закончили предыдущую главу указанием на то, что Чернышевский, подобно всем прочим социалистам-утопистам, рассматривал вопрос общественного переустройства в полусвете абстракции, независимо от условий времени и места. Если эти наши строки прочтет какой-нибудь новый г. Иванов-Разумник, отличающийся от автора "Истории русской общественной мысли" лучшим знанием сочинений Чернышевского, но похожий на него упорным непониманием содержания этих сочинений, то он укажет нам, пожалуй, на статью "Капитал и труд" и предложит нашему вниманию следующие, взятые из нее строки.

"Идеи, предписывающие что-нибудь делать, стремиться к чему-нибудь, словом, имеющие практический характер, по обширности своего применения разделяются на два разные рода. Одни имеют значение общее, требуют применения ко всякому данному случаю, всегда и везде. Таковы, например, принципы: человек обязан искать истины, поступать честно; общество обязано стремиться к водворению в себе справедливости, законности. Цель действия указывается такими принципами; но говорят ли они о способе, которым надобно стремиться к ней? Нет, способ исполнения задачи нимало не определяется ими. Как скоро мысль указывает способ исполнения, она теряет характер всеобщей, безысключительной применимости… Цель практической деятельности постановляется природою человека, то есть элементом, присутствующим постоянно. Способ действия есть элемент, зависящий от обстоятельств, а обстоятельства имеют характер временный и местный, разнородный и переменчивый" [20].

Посмотрите, скажет нам наш воображаемый, значительно улучшенный, но не окончательно исправленный, г. Иванов-Разумник: Чернышевский очень хорошо знал, что способ действия зависит от обстоятельств, а обстоятельства переменчивы. Но мы ответим, что весь вопрос здесь в том, по какому поводу заговаривает здесь Чернышевский о переменчивости обстоятельств. Он заговаривает о них по поводу идей, "имеющих значение общее, абсолютное, требующих применения по всякому данному случаю всегда и везде". В этих общих истинах и заключается у него вся сущность социализма. "Лучшие люди" данного общества, — группа или группы его интеллигенции, — открывают эти истины и принимаются сначала за их распространение, а потом за их осуществление. В процессе этого осуществления они, разумеется, считаются с условиями времени и места. Но не говоря уже о том, что осуществляемая ими истина остается безусловною, сама историческая возможность ее осуществления зависит в конце концов от ее собственной

безусловной и отвлеченной природы. Чернышевский категорически отказывается выбрать какой-нибудь один способ осуществления социалистического идеала. Но почему же собственно отказывается? Ответ: "Способ зависит от нравов народа и обстоятельств государственной жизни его. Англичанину кажется удобным расположение квартиры в два или три этажа, о чем и не думают другие народы. Строить его дом по одному плану с русским или французским значило бы напрасно тревожить его привычки. Можно сказать вообще только то, что каждый дом должен быть опрятен, сух и тепел" [21]. И этим ответом решается весь наш спор с воображаемым г. Ивановым-Разумником: план дома зависит от обстоятельств: но самое намерение его построить возникает не в зависимости от них, а просто потому, что этого требует безусловная природа раз завоеванной истины. Общая историческая возможность постройки дома тоже очень мало зависит от переменчивых обстоятельств: она определяется, как нам уже хорошо известно, той же природой отвлеченной истины, да еще общей природой человека. Маркс недаром говорил (см. его 3-ю тезу о Фейербахе), что социалист-утопист считает себя стоящим над обществом. И тоже недаром Чернышевский заканчивает свое рассуждение о способах осуществления социалистического идеала такой фразой: "Различных планов для исполнения требований новой теории находится много, и который из них вы захотите предпочитать другому, почти все равно, потому что каждый из них в существенных чертах своих сходен с другими и удовлетворителен, и из каждого легко могут быть удалены те подробности, которые составляют причину споров между его приверженцами и защитниками других планов" [22].

Не подумайте, что Чернышевский рассуждает здесь, как эклектик, выбирающий из каждой утопической системы то, что он находит в ней хорошего, но не умеющий подвести под один всеохватывающий принцип то, что заимствуется им из различных систем. У Чернышевского, несомненно, есть свой объединяющий принцип; но принцип этот заключается именно в том, что главное дело вовсе не в переменчивых обстоятельствах времени и места, а в отвлеченных достоинствах известных отвлеченных истин. Он рассуждает как "просветитель", обратившийся к изучению "социального вопроса", а мы уже знаем, что "просветители" всегда рассуждали отвлеченно. Чернышевский сам подтверждает это в той же статье, говоря, что просвещение имеет в виду субъективное развитие истины в индивидуумах [23]. Когда человек задается целью субъективного развития истины в индивидуумах, он по необходимости отвлекается от того

объективного процесса, который подготовляет индивидуумов к усвоению известных истин или, иначе говоря, обусловливает собою приспособление общественного сознания к данному виду общественного бытия.

Чем отвлеченнее была точка зрения Чернышевского в вопросах социализма, тем легче ему было отвлекаться от индивидуальных особенностей каждой данной социалистической системы и беспристрастно защищать только то, что составляло, по его мнению, общую душу всех этих систем, т. е. отвлеченные положения вроде того, что наука должна заботиться об интересах трудящейся массы, а не об интересах людей, эксплуатирующих эту массу и т. п. И тем естественнее было для него, нисколько не противореча себе, излагать, под видом своего собственного плана общественного переустройства, план того или другою, более или менее случайно выбранного социалиста-утописта. Так, например, в статье "Капитал и труд" он изложил план Луи Блана, придав своему изложению, — как этого и надо было ожидать, — до последней степени отвлеченный характер [24]. А в другом месте он поясняет, почему ему вздумалось взять в пример тогда Лун Блана. Он говорит: "мы хотели только сказать, что по особенному историческому случаю его мысли приобрели историческую важность, которой иначе бы и не имели, потому что оригинального в них мало" [25]. Таким образом "собственным" планом Чернышевского на самом деле вовсе не был план Луи Блана. При других обстоятельствах он назвал бы своим собственным планом план какого-нибудь другого социалиста. Ему, как уже сказано, важно было бы не то, что составляло особенность того или другого из этих планов, а то, что составляло основу, общую им всем: отрицательное отношение к существующему экономическому порядку и убеждение в том, что возможен экономический строй, основанный на союзном, товарищеском труде работников. Эти основные черты, общие всем социалистическим системам, он горячо отстаивал в спорах с экономистами "отсталой школы", о которых он говорил, что каждый из них "скорее согласится пойти в негры и всех своих соотечественников тоже отдать в негры", нежели сказать, что в том или другом социалистическом плане нет ничего слишком дурного или неудобоисполнимого. К этому можно прибавить, правда, что по характеру своего ума, преобладающей чертой которого являлась рассудочность, он более склонен был сочувствовать тем из великих основателей социалистических систем, которые меньше поддавались увлечениям фантазии. Так, например, Роберт Оуэн был, несомненно, ближе к нему, нежели Фурье.

Спешим, однако, заметить, что, несмотря на отвлеченный характер своей социалистической мысли, Чернышевский при своем трезвом уме и при своем всегдашнем стремлении к практической деятельности, не мог принадлежать к числу тех утопистов, которые требуют, чтобы человечество целиком приняло их утопии, и считают бесплодными или даже вредными все частные экономические реформы. Таковы, например, анархисты. Чернышевский едко смеется над подобными фантазерами. "Во имя высших идеалов отвергать какое-нибудь, хотя бы и не вполне совершенное улучшение действительности — значит слишком уже идеализировать и потешаться бесплодными теориями". По его мнению, у людей, склонных к таким потехам, "дело кончается большей частью тем, что после напряженных усилий подняться до своего идеала, они опускаются так, что уже вовсе не имеют пред собою никакого идеала". Это уже не в бровь, а прямо в глаз анархистам, да, если говорить правду, и не одним анархистам…

После всего сказанного понятно, что программа желательных для Чернышевского частных реформ не могла отличаться определенностью: она до такой степени зависела в его представлении от переменчивых условий времени и места, что по необходимости лишена была той тесной и органической связи с конечною целью, какую мы наблюдаем в программах современных нам рабочих партий Запада. В общем можно, однако, сказать, что так как идеалом Чернышевского был товарищеский труд производителей, то он готов был поддерживать все, и чем видел малейший намек на принцип ассоциации. Устройством ассоциации занимается и героиня его романа "Что делать?", Вера Павловна, которую Лопухов горячо хвалит за это: "мы все говорим и ничего не делаем. А ты позже нас всех стала думать об этом, и раньше всех решилась приняться за дело" [26].

Очень интересен тот исторический факт, что проповедь ассоциации велась тогда одновременно в России и в Германии. В 1863 году появился роман Чернышевского, с выходом которого начинается у нас целый ряд попыток устройства производительных ассоциаций. В том же году Лассаль рекомендует немецким рабочим ассоциации, как единственное средство хоть некоторого улучшения их быта. Но какая разница в постановке этого вопроса у нас и в Германии! В романе Чернышевского, ставшем на время программой русских социалистов, устройством ассоциаций занимаются отдельные, гуманные и образованные личности: Вера Павловна и ее друзья. К этому делу привлекается даже просвещенный священник

Мерцалов, играющий, по его собственному выражению, роль "щита" в устроенных Верой Павловной мастерских. О политической самодеятельности класса, заинтересованного в устройстве таких ассоциаций, роман не говорит ни слова. Не говорили о ней ни слова и те люди 60-х годов, которые пытались осуществить предложенную Чернышевским программу. И, наоборот, первым словом Лассалевской агитации было указание рабочим на необходимость для них политической самодеятельности. Лассаль требовал, чтобы рабочие, сплотившись в особую политическую партию и приобретя влияние на ход дел в стране, заставили правительство дать им необходимые для обзаведения ассоциации деньги. В проекте Лассаля дело заведения ассоциаций имеет широкий общественный характер. Ассоциациям, вводимым усилиями отдельных просвещенных лиц, Лассаль не придавал ровно никакого значения. По сравнению с Лассалем Чернышевский является в своем романе настоящим утопистом. По сравнению с Чернышевским Лассаль является в своей агитации истинным представителем новейшего социализма. Это различие происходит не от того, чтобы Лассаль был в умственном отношении выше Чернышевского. Можно с уверенностью сказать, что по своим умственным силам Чернышевский нимало не уступал Лассалю. Но великий русский социалист был сыном своей страны, политическая и экономическая отсталость которой придавала всем его практическим планам и даже многим теоретическим взглядам характер утопий. В своих практических планах заведения ассоциаций он был гораздо ближе к Шульце-Деличу, чем к Лассалю. Но, с другой стороны, заметим, что и Лассаль в своих практических планах является истинным представителем новейшего социализма только по сравнению с Чернышевским. Те люди, которые на самом деле были истинными представителями и основателями новейшего социализма, Маркс и Энгельс, находили, что и Лассалевские планы представляют собою не более как утопию. Они отказались поддержать знаменитого агитатора именно потому, что не хотели питать в немецком рабочем классе склонность к экономическим утопиям.

С точки зрения большей легкости устройства ассоциаций отстаивал Чернышевский и русское общинное землевладение. Он не раз говорил, что у него нет ни малейшего желания приносить нынешние экономические интересы народной массы в жертву будущим ее интересам. И он, конечно, говорил это совершенно искренно. Если б он не думал, по крайней мере, в течение некоторого времени. — впоследствии он, как мы увидим, перестал это думать, — что разрушение общины было бы вредно

для интересов крестьянства, то он не ополчился бы на ее защиту. Но что навело его на мысль о той пользе, которую сможет принести поземельная община нашей народной массе? На этот вопрос мы, не колеблясь, отвечаем: то психологическое соображение, что община поддерживает и воспитывает дух ассоциации, необходимый для рациональной экономии будущего. Это как нельзя более ясно показывают, например, следующие слова нашего автора: "Введение лучшего порядка дел чрезвычайно затрудняется в Западной Европе безграничным расширением прав отдельной личности… Не легко отказываться хотя бы от незначительной части того, чем привык уже пользоваться, а на Западе отдельная личность привыкла уже к безгранично-сти частных прав. Пользе и необходимости взаимных уступок может научить только горький опыт и продолжительное размышление. На Западе лучший порядок экономических отношений соединен с пожертвованиями, и потому его учреждение очень затруднено. Он противен привычкам английского и французского поселянина" [27].

Взгляд на общину, как на учреждение, воспитывающее дух ассоциации, привел Чернышевского к сближению со славянофилами, которые, как это всем известно, тоже были убежденными ее защитниками. Сочувственное отношение славянофилов к общине ставило их, в глазах Чернышевского, "выше многих из самых серьезных западников" [28]. Так было, по крайней мере, в первые годы его литературной деятельности [29]. Интересно проследить тот логический путь, который привел его в данном случае к предпочтению славянофилов некоторой части западников.

Исходным пунктом его рассуждений являются следующие положения, очень напоминающие известную теорию Кавелина о развитии личного права в Западной Европе.

Обеспечение частных прав отдельной личности было существенным содержанием западноевропейской истории в последние столетия. Теперь цель эта в высокой степени достигнута. Право собственности почти исключительно перешло на Западе в руки отдельных лиц и ограждено прочными гарантиями. Не менее прочными гарантиями ограждены там юридическая независимость и неприкосновенность отдельного лица. Но это исключительное развитие личного права имеет свои невыгоды, особенно заметные в земледелии и промышленности. Явилось экономическое неравенство, возникло "пролетариатство", капиталы сосредоточились в руках предпринимателей. Наконец, все отрасли экономической деятельности находятся под властью безграничного взаимного соперничества отдельных

предпринимателей. Это тяжелое и, как выражается Чернышевский, противоестественное положение дел вызвало появление новых стремлений, которыми устранялись слабые стороны прежнего одностороннего идеала. Возникла идея о союзном пользовании средствами производства и о союзной его организации. В земледелии союзное пользование средствами производства равносильно общинному землевладению. Чернышевский доказывает, что это стремление к союзному пользованию и производству является не более, как дополнением прежнего стремления к обеспечению прав отдельной личности. "В самом деле, — говорит он, — не надобно забывать, что человек не отвлеченная юридическая личность, но живое существо, в жизни и счастьи которого материальная сторона (экономический быт) имеют великую важность; и что потому, если должны быть для его счастья обеспечены его юридические права, то не менее нужно обеспечение и материальной стороны его быта. Даже юридические права, на самом деле, обеспечиваются только исполнением этого последнего условия, потому что человек, зависимый в материальных средствах существования, не может быть независимым человеком на деле, хотя бы по букве закона и провозглашалась его независимость" [30].

До сих пор все рассуждение Чернышевского ведется в духе последовательного западничества. Более того, можно подумать даже, что в этом своем рассуждении он вполне переходит на точку зрения материалистического объяснения истории, он указывает, каким образом новый общественный идеал возник на Западе под влиянием новых условий экономической жизни [31]. Но дальше начинается сближение Чернышевского со славянофилами, и тут становится очевидным, что он в сущности не переставал держаться идеалистического принципа "просветителей": "миром правят мнения".

"То, что представляется утопией в одной стране, существует в другой, как факт… — говорит он. — У нас есть землевладельцы с юридивеским полновластием английского и французского землевладельца… но они составляют, сравнительно с массой народа, еще очень немногочисленный класс, понятия которого о полновластной собственности отдельного лица над землею еще не проникли в сознание массы нашего племени… Масса народа до сих пор понимает землю как общинное достояние, и количество земли, находящейся в общинном владении, или пользование им под общинною обработкою, так велико, что масса участков, совершенно выделившихся из него в полновластную собственность отдельных лиц, по сравнению с ним, незначительна. Порядок дел, к которому столь трудным и долгим

путем стремится теперь Запад, еще существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского быта" [32].

Отсюда делается тот вывод, что так как "мы видим печальные последствия разруше-ния общины на Западе, то мы должны сохранить общину в России. Пример Запада не должен быть потерян для нас" [33].

"Мы видим"… Кто ты? Опять все та же интеллигенция, все та же единственная действующая армия человеческого прогресса, которая изучает историю и пользуется ее уроками. Но русская интеллигенция не имеет власти. Как же может она воспользоваться примером Запада? Она может воспользоваться им, если ей удастся повлиять на людей, власть имеющих. Поэтому Чернышевский и старается показать этим людям, какие большие выгоды извлечет Россия из сохранения поземельной общины.

Это уже совсем идеалистический взгляд на дело. Но сам по себе этот взгляд пока еще не заключает в себе ровно ничего славянофильского. Сильный славянофильский оттенок придается ему лишь тем соображением Чернышевского, что у нас уже существует, как факт, то учреждение, к которому только еще стремится Запад и которое представляется многим западным людям просто утопиею. В этом соображении почти дословно повторяется тот довод, который некогда выдвинут был славянофилом Самариным против западника Кавелина и который сводится к тому, что "западный мир выражает теперь требование органического примирения начала личности с началом объективной и для всехобязательной нормы — требование общины (автор разумел новейшие социальные движения) и что это требование "совпадает с нашей субстанцией", что "в оправдание формулы мы приносим быт" и что в этом точка соприкосновения нашей истории с западной [34].

Как мы уже видели, этот славянофильский взгляд до такой степени нравился Чернышевскому, что он в виду его готов был поставить славянофилов выше многих серьезных западников. Надо думать, что ему не было известно мнение Белинского, который под конец своей жизни решительно восстал против уступок, делавшихся его друзьями славянофилам в вопросе об общине. Если бы это мнение Белинского было известно нашему автору, то он, наверно, не стал бы выражаться так решительно о превосходстве славянофилов над теми западниками, которые не возлагали на общину никаких надежд.

Однако, оставляя область более или менее вероятных предположений, надо признать тот исторический факт, что Чернышевский, никогда не бывший народником [35], был одним

из тех писателей, у которых народники заимствовали сильнейшие свои доводы. Охотнее всего ссылались они, — по крайней мере в период выработки их учения, — на знаменитую статью "Критика философских предубеждений против общинного землевладения", появившуюся первоначально в 12-й книжке "Современника" за 1858 год. Мы сейчас увидим, что собственно на эту статью они сослались только по недоразумению: она была написана Чернышевским уже в то время, когда он уже совершенно махнул рукой на русскую общину. Тем не менее мы все-таки находим нужным сказать здесь несколько слов об этой во многих отношениях замечательной статье.

Чернышевский спорит в ней с "экономистами отсталой школы", находившими, что общинное владение землею достойно лишь диких или варварских племен. Он опровергает это мнение, ссылаясь на знаменитую мысль Гегеля о том, что третья и конечная фаза в развитии всякого данного явления по своей форме похожа на первую. Народы начали с общинного землевладения и они снова вернутся к нему в своем дальнейшем развитии. На это можно заметить, что Чернышевский пошел здесь гораздо дальше Гегеля. Гегель говорит о формальном сходстве третьей фазы развития с первою, но он не говорил о полном тождестве этих фаз. Чернышевский же как будто предполагает полное тождество. Следуя Гегелю, действительно можно предположить, что народы, начав с общественной собственности, возвратятся к ней впоследствии, но нельзя сказать, что народы возвратятся именно к тем формам общинного владения, с которых они начали свое развитие. А если можно ожидать этого, то зачем останавливаться на сельской общине с переделами? Надо предполагать в таком случае, что народы вернутся к первобытным родовым учреждениям, так как первобытный коммунизм был коммунизмом кровного союза. Но на такое предположение едва ли кто отважится в настоящее время. Ссылаясь на Гегеля, Чернышевский упустил из виду две важнейшие особенности Гегелевской философии. Во-первых, у Гегеля всякое развитие, — и в логике, и в природе, и в общественных отношениях, — совершается само из себя, силой внутренней, "имманентной" диалектики. Чернышевскому следовало показать, что в русской общине есть именно та внутренняя логика отношений, которая со временем должна привести ее от общинного владения землею к общинной ее обработке и к общинному пользованию ее продуктами. Ведь именно в интересах такой формы общественной собственности и отстаивал он общинное землевладение: ему казалось, что община облегчит переход к ней. Но Чернышевский не сделал этого, так

как, вообще, он приурочивал свои ожидания к субъективным, а не к объективным факторам развития, к распространению знаний, а не ко внутренней логике общественных отношений. Но этим он изменял духу той самой философии, на которую ссылался в своей полемике с противниками общины.

Справедливо считая частную собственность лишь промежуточной формой в историческом развитии экономических отношений, Чернышевский сильно напирал на то обстоятельство, что, по мнению Гегеля, промежуточные фазы развития могут при известных обстоятельствах значительно сократиться или даже совсем не иметь места. За это в особенности ухватились впоследствии наши народники, вся программа которых основывалась именно на том предположении, что капитализм, — эта промежуточная фаза в развитии экономики цивилизованного общества, — не будет иметь места в России.

Отвлеченно говоря, подобные сокращения промежуточных фаз вполне возможны. Но, во-первых, что касается сокращения известных фаз развития, то сам Чернышевский прекрасно понимал, что не всегда данная фаза, при своем сокращении, приводит к таким же результатам, к каким приводит она при большей продолжительности. В "Полемических Красотах" он указывает на сигары, которые приобретают особенно ценные для курильщиков качества, подвергаясь медленному процессу высыхания и связанным с ним химическим изменениям. Но попробуйте сократить продолжительность этого процесса высыхания и сразу искусственно высушить свежие сигары. По словам нашего автора, хорошего в таких сигарах будет не много. Что же это значит? Это значит, что иной ход процесса ведет за собою иные химические результаты. Не то ли же и в общественной жизни? Нет ли основания думать, что более или менее продолжительный процесс капиталистического развития создает такие политические, умственные и нравственные качества трудящегося класса, каких мы вовсе не найдем в народе, не покидавшем в течение всей своей истории допотопных "устоев" своего быта? И нет ли основания опасаться, что народ, не усвоивший себе культурных приобретений капиталистической фазы, окажется совершенно неспособным к организации общественного производства в тех размерах, которые предполагаются огромным развитием современных производительных сил. Но народники, ухватившиеся за аргументацию Чернышевского, совсем даже и не подозревали ее слабых сторон.

Во-вторых, от возможности известного явления еще очень далеко до его действительности. Чтобы то или иное, возможное в

теории, явление совершилось в действительности, необходимы известные конкретные условия. Спрашивается, были ли налицо в тогдашней России такие конкретные условия, которые позволили бы русскому народу миновать капитализм и от общины сразу перейти к социалистической форме общежития? Мы задаем этот вопрос не потому, что на него давно ответила уже сама жизнь, беспощадно осмеяв народнические упования, а потому, что на него отвечал в той же самой статье сам Чернышевский, проливая этим очень яркий свет на чисто гипотетический характер своих доводов в пользу общины.

В самом деле, уже в начале этой статьи читателя поражают, — вернее должны были бы поражать, хотя народники ухитрились их не заметить, — следующие знаменательные строки: "Возобновляя мою речь об общинном владении, я должен начать признанием совершенной справедливости тех слов моего первого противника, г. Вернадского, которыми он объявлял в самом возникновении спора, что напрасно взялся я за этот предмет, что не доставил я тем чести своему здравому смыслу. Я раскаиваюсь в своем прошлом благоразумии, и если бы ценою униженной просьбы об извинении могло покупаться забвение совершившихся фактов, я не колеблясь стал бы просить прощения у противников, лишь бы этим моим унижением был прекращен спор, начатый мною столь неудачно" [36].

Что же это такое? В чем дело? Ведь, не доводы же противников смутили Чернышевского? Конечно, нет. Он говорит: "Слабость аргументов, приводимых противниками общинного владения, так велика, что без всяких опровержений с моей стороны начинают журналы, сначала решительно опровергавшие общинное владение, один за другим делать все больше и больше уступок общинному поземельному принципу" [37]. Его смущало обстоятельство совершенно другого рода, не имевшее никакого касательства к отвлеченному принципу общинного землевладения. "Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного землевладения, — заявляет. Чернышевский, — но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено

кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения… Когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентою… Только при соблюдении этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получения ренты" [38]. Но это условие не могло быть соблюдено в деле освобождаемых крестьян, поэтому Чернышевский и считал бесполезным защищать не только общинное землевладение, но и самое наделение крестьян землею. У кого оставалось бы какое-нибудь сомнение на этот счет, того совершенно убедит следующий пример, приводимый нашим автором. "Предположим, — говорит он, обращаясь к своему любимому способу объяснения посредством "парабол", — предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собою разумеется, что если я это делал собственно из расположения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях?.. Как я был глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто кроме глупца может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?.. Лучше пропадай вея эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение! Досада за вас, стыд за свою глупость, — вот мои чувства" [39].

Укажем еще на разговоры Волгина с Нивельзиным и Соколовским, в "Прологе Пролога". Они касаются освобождения крестьян: "Пусть дело освобождения крестьян будет передано в руки помещичьей партии. Разница не велика, — говорит Волгин Соколовскому, и на замечание его собеседника о том, что, напротив, разница колоссальная, так как помещичья партия против наделения крестьян землею, он решительно отвечает: нет, не колоссальная, а ничтожная. Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее человеку — разница, но взять с него плату за нее —

все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, вероятно меньше и обременения для крестьян [40]. У кого из крестьян есть деньги — тот купит себе землю. У кого нет — тех нечего обязывать и покупать ее. Это будет только разорять их. Выкуп тоже покупка. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли… Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их, либералы или помещики. По-моему, все равно. Или помещики даже лучше" [41].

В разговоре с Нивельзиным Волгин выставляет другую сторону своего отношения к тогдашней постановке крестьянского дела. "Толкуют: освободить крестьян, — восклицает он. — Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите к чему идет: станут освобождать. Что выйдет, — сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать… Испортишь дело, выйдет мерзость. Ах, наши господа эмансипаторы, все эти ваши Рязанцевы с компаниею! вот хвастуны-то; вот болтуны-то; вот дурачье-то…" [42].

Эти разговоры Волгина, а также и длинные выписки, приведенные нами из статьи "Критика философских предубеждений", заключают в себе драгоценный материал для суждения о том, как отвечал Чернышевский самому себе на вопросы: были ли налицо в тогдашней России конкретные условия, необходимые для того, чтобы поземельная община могла сразу перейти в социалистическую форму производства. Их не было, и Чернышевский увидел это уже к концу 1858 года. Увидев это, он показал себя несравненно более проницательным, нежели народники, которые еще в середине 90-х годов старательно разводили свои рацеи насчет того, что Россия может избежать капитализма. Вполне естественно, что очень большой человек гораздо больше людей очень маленьких: странно было бы удивляться тому, что Чернышевский оказался несравненно проницательнее г. В. В. Но все-таки позволительно удивиться тому, что Чернышевский мог в течение некоторого времени питать иллюзии насчет вероятной судьбы общины. И это можно объяснить только тем, что для него, как для человека, стоявшего на точке зрения утопического социализма, главный вопрос всегда заключался в отвлеченной правильности принципа, а не в тех конкретных условиях, при которых могло бы совершиться его осуществление. Ошибка, сделанная им в этом случае, повторялась весьма значительною частью русских социалистов вплоть до

конца прошлого века, а отчасти и до наших дней, и ввиду этого неоспоримого факта необходимо отдать Чернышевскому ту справедливость, что он уже при самом начале своей литературной деятельности обнаружил в рассуждениях об общине гораздо больше вдумчивости, нежели многие и многие "русские социалисты" даже в середине 90-х годов, когда уже, казалось бы, только слепой мог не видеть, что наши пресловутые "вековые устои" разлезаются по всем швам. Уже в апреле 1857 года он писал: "Но нельзя скрывать от себя, что Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт, доселе оставшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе. Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции"

Это как раз то, что после него так долго и старательно скрывали от себя и своих читателей теоретики нашего народничества. Правду говорит Писание: звезда от звезды разнствует во славе… Убедившись в том, что у нас нет налицо тех условий, которые сделали бы общинное землевладение источником благосостояния народа, Чернышевский должен был увидеть, что его сочувственное отношение к общине в действительности очень мало походит на симпатию к ней славянофилов. В статье "О причинах падения Рима" он говорит, что хотя община могла бы принести известную долю пользы в дальнейшем развитии России, однако гордиться ею все-таки смешно, потому что она все-таки есть признак нашей экономической отсталости. Он берет пример: европейские инженеры, — говорит он, — пользуются теперь прикладной механикой для постройки висячих мостов. Но вот оказывается, что в какой-то, он сам хорошенько не помнит в какой, отсталой азиатской стране туземные инженеры давно уже строили висячие мосты в подходящих для этого местностях. Значит ли это, что азиатскую прикладную механику можно поставить на один уровень с европейской? Мост мосту — рознь, и висячий мост азиатских инженеров бесконечно далеко отстоит от европейского висячего моста. Конечно, когда в азиатской стране, издавна знакомой с висячими мостами, явятся европейские техники, то им легче будет убедить иного мандарина в том, что новейшие висячие мосты не представляют собою безбожной затеи. Но и только. Несмотря на свои висячие мосты, азиатская страна все-таки останется отсталой страной, а Европа все-таки будет ее учительницей. То же с русской общиной. Она, может быть,

облегчит дело развития нашей родины, но главный толчок для него все-таки придет с Запада, и обновлять человечество нам, даже с помощью общины, все-таки не пристало.

Это уже совсем не по-славянофильски. Но теперь Чернышевский уже не щадит славянофилов. Он прямо говорит, что с такими чудаками, как они, не стоит и спорить о судьбах Запада. А когда все-таки он вступает в рассуждения с ними, то выражается уже совсем непочтительно. Так, например, в статье "Народная бестолковость", напечатанной в 10-й книжке "Современника" за 1851 год, он читает им нотацию за их отношение к славянам. Грубость выбранного им заглавия он объясняет тем, что, проникшись славянофильскими доводами, он решился избегать употребления иностранных слов, которые могли бы, не изменяя названия статьи по существу, придать ему более вежливую форму. По мнению славянофильской газеты Ивана Аксакова "День", Россия должна была преподнести славянам "дар самостоятельного бытия под сенью крыл русского орла". Чернышевский доказывает, что у русского орла много своих собственных дел. "Если вы хотите войны, — говорит он, — то рассудите же, дозволяют ли нам думать о войне наши обстоятельства" [43]. Кроме того, он полагал, что если бы славянофилы действительно желали добра турецким славянам, то они постарались бы внушить западным державам уверенность, что падение турецкой власти в Европе не послужит к поглощению Дунайских княжеств Россией и не поведет к обращению Константинополя в русский губернский город. Если бы славянофилы сделали это, то турецкие славяне освободились бы и без нашей помощи. То же и относительно австрийских славян: "Как ваши слова о прикрытии турецких славян могущественными крыльями русского орла возбуждают Англию и Францию поддерживать турок, точно так же подобные ваши речи об австрийских славянах возбуждают Германию поддерживать австрийцев. Неужели вы думаете, что при нынешних стремлениях немцев к политическому единству было бы мило для немцев существование нынешней Австрийской империи, являющейся сильнейшим препятствием к достижению немецкого единства, — было бы мило немцам поддерживать Австрию, если б не опасались они, что при падении этой империи восточная половина ее подпадет под власть России? Вы восстановляете немцев против освобождения австрийских славян" [44]. Далее Чернышевский прибавляет и показывает, что военный задор славянофильской газеты И. Аксакова вызывается не сочувствием к славянам, а стремлением подчинить славянские племена русской власти. Мимоходом он опровергает также и славянофильские

разглагольствования о будто бы коварном и злостном отношении Запада к России. Он говорит, что все серьезные органы европейской печати отнеслись с большим сочувствием к важнейшим реформам в России, и что сочувствовать успехам общественной жизни какой-либо страны совсем не значит желать ей зла.

Все это было как нельзя более справедливо и показывало, что, несмотря на времен-ные иллюзии насчет возможной судьбы общины, Чернышевский, подобно Белинскому, остался убежденным и дальновидным западником.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Социализм и политика

Тот, кто на основании сочинений Чернышевского старается составить себе понятие об его политических взглядах, сначала испытывает некоторое смущение, если только он сам не равнодушен к политике. В самом деле, человек, который был после Белинского наиболее ярким представителем передовых стремлений в нашей литературе, кажется сначала политическим индифферентистом. И не потому, что из-под его пера выходит несколько неудачных выражений; не вследствие какой-нибудь описки, а в силу тех общих принципов, на основании которых он судит иногда о важнейших явлениях западноевропейской жизни. В доказательство мы сошлемся на статью "Борьба партий во Фракции при Людовике XVIII и Карле X" ("Современник", 1858 г., No№ 8 и 9). Мы там читаем:

"У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой, — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно, к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда

находит, что при только известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы" [45].

Тут прежде всего бросается в глаза, что слово: демократы употреблено Чернышевским не в его настоящем смысле. Демократ стремится к "народоправству", а для человека, стремящегося к "народоправству", вопрос о политическом строе всякой данной страны отнюдь не может быть второстепенным вопросом. Да и можно ли уничтожить преобладание высших классов над низшими в "государственном устройстве" иначе, как с помощью известных политических реформ. Наконец, неверно то, что из всех политических учреждений демократ непримиримо враждебен только аристократии. Трудно представить себе демократа, который уживался бы с абсолютизмом. Чернышевский был слишком образованным человеком для того, чтобы все это могло остаться ему неизвестным. Поэтому приходится вспомнить, как часто вынуждаемы были русские писатели пользоваться эзоповским языком. Если мы в только что сделанной нами выписке заменим слова: "демократ", "демократы", — словами: "социалист", "социалисты", и если мы к этим словам прибавим эпитет: утопический, утопические, то все станет ясным и понятным. Социалисты-утописты в самом деле были, за немногими исключениями, совсем, или почти совсем, равнодушны к политике, и им в самом деле было "почти все равно", при каких политических условиях начнется введение нового общественного строя. Понятно поэтому, что Чернышевский, который сам стоял на точке зрения утопического социализма, мог, нисколько не изменяя своим передовым стремлениям, отодвигать вопросы политического строя на самый задний план и даже находить, что наша Сибирь гораздо выше Англии.

Далее Чернышевский разъясняет свою мысль с помощью таких доводов, которые еще больше подтверждают наше предположение о том, что под демократами он понимает социалистов. Он говорит: "С теоретической стороны либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливою судьбою от материальной нужды: свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть

материальные средства пользоваться этим разрешением [46]. Народ не имеет материальной возможности пользоваться политической свободой. Почти во всех странах большинство его безграмотно. С какой же стати станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество осуждают его на полное непонимание государственных дел. С какой же стати будет он интересоваться парламентскими прениями? Чернышевский категорически говорит, что "нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правилам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма" [47]. Этим объясняется то, что либерализм везде бессилен. "Из теоретической узкости либеральных понятий о свободе, как простом отсутствии запрещения, вытекает практическое слабосилие либерализма, не имеющего прочной поддержки в массе народа, не дорожащей правами, воспользоваться которыми она не может по недостатку средств" [48].

Масса не только не дорожит, но и не может дорожить политическими правами. Ее бедственное материальное положение совершенно лишает ее возможности обнаружить сколько-нибудь серьезную политическую самодеятельность. Таковы те основные положения, опираясь на которые, Чернышевский судит о современной ему политической жизни Европы. Это те самые положения, с которыми почти на каждом шагу встречается человек, изучающий историю утопического социализма. Утопический социализм никогда не мог разрешить той антиномии, первая половина которой гласит, что масса не может интересоваться политикой, а вторая утверждает, что серьезные политические преобразования могут быть совершены только при энергичной поддержке со стороны масс. Поэтому практические планы социалистов-утопистов никогда не имели широкого, — национального, как говорят на Западе, — характера: они всегда сводились к основанию частными средствами земледельческих колоний, производительных ассоциации и т. п. Спустя какой-нибудь десяток лет, — даже менее того, — после появления статьи "Борьба партий во Франции", европейский пролетариат в лице наиболее сознательных своих элементов разрешил указанную антиномию, заявив, что смотрит на политическое движение, как на средство достижения своих экономических целей. Первый же манифест Международного Товарищества Рабочих говорил, что "первый долг рабочего класса заключается в завоевании политического могущества". Интересно, что к тому времени, когда началась литературная деятельность Чернышевского, даже некоторые из социалистов-утопистов

начали принимать более или менее деятельное участие в политической жизни. Это можно сказать, например, о многих французских фурьеристах. Но Чернышевский, как видно, еще не дал себе ясного отчета в этом, правда, тогда еще мало заметном, повороте социалистической мысли. Политическим индифферентистом он, на самом деле, не был никогда; напротив, он всегда живо интересовался политикой. Но, не веря в способность "простонародья" к политической инициативе, он не мог задумываться о выработке для него сколько-нибудь определенной политической программы. Этим и объясняется заключение его статьи, в котором так характеризуется период внутренней жизни Франции, простиравшийся от восстановления Бурбонов до июльской революции. "Напрасная борьба династии против новых интересов, нимало не враждебных выгодам королевской власти; напрасный союз ее с партиею, от торжества которой не могла она желать никакой пользы для себя, против партии, искренно желавшей союза с династиею, выгодного для династии; оставления народа беззащитным и безнадежным вследствие противоестественного союза династии с феодалами; увлечение народа отчаянием к восстанию, — гибель династии без пользы для народа, — вот в коротких словах история Реставрации. Реакционеры понесли наказание, которого заслуживал их эгоизм; но грустно то, что династия ради удовольствия этих бездушных эгоистов готовила себе ненужную погибель" [49].

Неужели Чернышевский в самом деле мог в конце 1858 г. грустить о том, что династия Бурбонов погибла ради удовольствия французской аристократии? В этом, конечно, очень позволительно усомниться. Всего естественнее предположить, что это заключение статьи Чернышевского было написано со специальною целью показать русскому правительству, что оно сделает большую ошибку, если отождествит интересы монархии с интересами дворянства, упорно защищавшего свои классовые интересы при отмене крепостного права. Точно так же отмеченные выше рассуждения о том, в каком смысле для "демократа" Сибирь выше Англии, должно было, по-видимому, намекнуть кому следовало на то, что наша крайняя партия готова будет энергично поддерживать правительство, если только оно сумеет избежать указанной ошибки. Подобные же заявления делались в то время, как известно, М. А. Бакуниным и А. И. Герценом. Пусть не подумает читатель, что мы обвиняем нашего автора в политическом иезуитизме. Совсем нет! Мы именно доказываем, что Чернышевскому не было никакой надобности кривить душою, чтобы высказывать подобные соображения.

До какой степени тесно и крепко связаны были соображения этого рода с его основными общественными взглядами, показывает следующий факт. Уже в 1860 году, т. е. в то время, когда он и сам твердо убедился в том, что советы, дававшиеся нашей радикальной интеллигенцией правительству, не имели ровно никакого влияния на политику этого последнего в крестьянском вопросе, Чернышевский счел нужным подробно доказывать в октябрьской книжке "Современника", что вожаки крайней партии в Италии не настолько дорожат республиканскою формою правления, чтоб не сделать уступок монархии, если только она станет серьезно защищать интересы народа. "В теории они действительно республиканцы, — говорил он, — но в практике всегда были готовы всеми силами поддерживать государей, проникнутые национальным чувством. Им кажется, что вопрос о форме правления в Италии далеко не имеет того значения, как вопрос о национальном единстве. Не только теперь им кажется это, но и всегда они так думали, всегда они готовы были быть ревностнейшими приверженцами монархического правительства, посредством которого могла бы получить государственное единство Италия. Так действовал и сам Маццини, глава так называемых итальянских республиканцев" [50].

Мы не говорим, что Маццини действовал или стремился действовать иначе. Мы только утверждаем, что частые у нашего автора указания на возможность союза крайних партий с тою или другою династией дают весьма важный материал для характеристики его собственных политических взглядов. Если ему "грустно", что французские Бурбоны приготовили себе "ненужную" погибель, то единственно потому, что участие французской народной массы в июльских событиях 1830 г. кажется ему совершенно бесполезным для ее интересов. Он как будто даже сожалеет о том, что она выказала готовность поддержать либерала. И по этому поводу он делает интересное тактическое замечание уже не частного, а общего характера. "Враг наших врагов друг нам. — Это заключение, — говорит он, — слишком часто ведет к самым горьким разочарованиям; очень часто случается людям, руководясь им, попадать из Сциллы в Харибду, или, по русской поговорке, из огня в полымя; но тем не менее редко успевают оберечь себя от него даже такие опытные в политических делах, такие осторожные и недоверчивые люди, как дипломаты. Что же удивительного, если простой народ мало-помалу поддался этой мысли? Феодалы нападали на новые учреждения, дорогие народу, — либералы защищали эти учреждения, — чего же больше? Масса стала доверчива к ним.

Правда, защищались эти учреждения либералами вовсе не в том духе, не с теми целями, с какими вводились; смысл одних и тех же слов не был в 1820-х годах таков, каков был тридцать, сорок лет тому назад. Но где же было народу разбирать такие тонкости? Не у него, однако, а у большинства людей образованных, сильнейший элемент в умственной жизни — рутина; народ привык любить известные слова и не иметь симпатий к защищавшим эти слова" [51].

Итак, только в силу рутины парижский народ поддержал либералов в 1830 году? А как поступил бы он, если бы не находился под властью рутины? Ответ мы находим в следующих словах Чернышевского: "Простой народ сражался без всяких определенных собственных требований; он увлекся тяжестью своего положения к участию в вопросах, чуждых его интересам; он не озаботился продать свое содействие, не выторговал себе никаких условий прежде, чем примкнуть к той или другой стороне. Разумеется, он не получил ничего" [52].

Отсюда прежде всего следует, что парижский народ должен был лишь на известных условиях оказать свою поддержку либералам в июле 1830 года. Против этого спорить невозможно: когда два деятеля соединяют свои усилия против третьего, то они, очевидно, должны предварительно сговориться насчет того, на каких взаимных условиях они это делают. Но Чернышевский говорит не только это. Он утверждает, что политические вопросы вообще были "чужды интересам" парижского народа. Стало быть, этот народ должен был, по мнению Чернышевского, предъявлять либералам требования чисто экономического характера. Тут мы опять видим тот своеобразный "экономизм", — как выразились бы у нас лет 10 или 8 тому назад, — которым отличались все социалисты-утописты, и ошибка которого становится ясною лишь с точки зрения научного социализма. Маркс еще в своем споре с Карлом Гейнценом накануне революции 1848 года писал: "Рабочие прекрасно знают не только то, что буржуазия должна будет сделать им более значительные уступки, чем абсолютизм, но и то, что она против своей воли создает в интересах собственной промышленности и торговли почву для сплочения рабочего класса; сплочение же рабочих есть первое условие их победы. Рабочие знают, что уничтожение буржуазных имущественных отношений не достигается сохранением феодальных. Они знают, что революционное движение буржуазии против феодальных сословий и абсолютной монархии [53] может начаться лишь в тот день, когда победит буржуазия".

Основатели научного социализма хорошо знали, что рабочему классу не раз приходилось выступать на историческую

арену под предводительством буржуазии и бороться с врагами своих врагов. Но они не видели в этом достойной сожаления ошибки пролетариата, объясняемой лишь его неразвитостью, лишь преобладанием "рутины" в его умственной жизни. Они считали, напротив, что, борясь с врагами своих врагов, пролетариат совершал свое собственное политическое воспитание. Они писали в манифесте: "Несогласия внутри старого общества всегда способствуют, так или иначе, развитию пролетариата. Буржуазия ведет постоянную борьбу; сначала — против аристократии, потом — против тех слоев своего класса, интересам которых противоречит развитие крупной промышленности; борьба ее против буржуазии других государств не прекращается никогда. В каждом из этих случаев буржуазия вынуждена обращаться к пролетариату, просить его помощи и толкать его таким образом на путь политических движений. Она сообщает, следовательно, пролетариату свое политическое воспитание, т. е. вручает ему оружие против самой себя".

Ошибку Чернышевского можно характеризовать кратко словами: ему не ясна была связь экономических интересов пролетариата с его политическими задачами. Эта ошибка, свойственная, как мы уже не раз говорили, всему утопическому социализму [54], имеет не только исторический интерес. Она до сих пор, то здесь, то там, повторяется теми идеологами пролетариата, — а иногда и целыми, более или менее обширными, рабочими организациями, — которым по той или другой причине не удается постигнуть связь политики с экономикой. В последние годы самым ярким примером этой теоретической неясности могла бы служить теория так называемого революционного синдикализма, распространяющегося преимущественно во Франции и в Италии. Так как Чернышевский считал, что политические вопросы чужды интересам массы, то он мог, оставаясь верным себе, не только ставить Сибирь выше Англии, но и удивляться тому, что на самом деле вовсе не удивительно, т. е. тому, что ни одна из политических партий во Франции не попыталась опереться на социализм для упрочения своего господства. "Какова бы ни была, — говорит он, — форма политического устройства, предпочитаемая известною партиею, все равно, эта форма могла получить прочность только от разрешения вопросов, составлявших предмет исследования для тех мыслите-лей, которые заботились приискать средства к удовлетворению потребностей массы. Но все политические партии — абсолютисты, конституционалисты, республиканцы — одинаково восставали против этих попыток, которыми пролагался

единственный путь к успокоению общества. Республиканцы сделали такую ошибку в 1848 году; теперь, при июльской монархии, делали ее консерваторы и умеренные либералы" [55].

Недоумение нашего автора разрешилось бы очень скоро, если б он принял во внимание, что все старые политические партии были партиями, выражавшими стремления таких классов или слоев французского общества, интересы которых были противоположны интересам пролетариата или, по крайней мере, очень сильно расходились с ними, между тем как социализм даже в своей утопической фазе был, правда, иногда довольно фантастическим, выражением именно пролетарских интересов. Все старые партии прекрасно понимали это, и потому все они восстали против социализма. Из этого положения был только один выход: возникновение самостоятельной политической партии, служащей интересам пролетариата. И этот выход был найден историей: мало-помалу рабочие партии возникли во всех передовых странах Европы. Но Чернышевский, как видно, еще не терял надежды на то, что выход найдется в примирении с социализмом одной из старых политических партий.

Напоминаем читателю, что мы указываем на ошибки Чернышевского вовсе не для того, чтобы нападать на этого в высшей степени замечательного человека, а единственно для того, чтобы как можно лучше выяснить себе сильные и слабые стороны его миросозерцания. Ошибки Чернышевского были не его личными ошибками: они объясняются не отсутствием у него внимания к предмету или логической последовательности, а общими недостатками той точки зрения, на которой во всех странах стояли даже самые гениальные социалисты утопического периода. В сочинениях Чернышевского эта неудовлетворительность обнаруживается подчас с особенною силою именно потому, что он был человек чрезвычайно выдающегося ума. Построив свою философию истории на том идеалистическом принципе, что миром правят мнения, он не мог не применять этого принципа и к политике. И только тот поймет во всей их полноте его политические взгляды, кто будет помнить, что имеет дело с человеком, который, несмотря на свою материалистическую философию, держался в общем идеалистического объяснения истории. Вот очень наглядный образчик, показывающий, каким образом исторический идеализм Чернышевского проникал собою ею политические рассуждения.

"Все на свете, — говорит он, — требует для своего осуществления силы. Дурное и хорошее одинаково ничтожно, когда бессильно. Что же такое сила? В теории сила дается логикою. Кто имеет совершенно определенные принципы, кто

развивает их последовательно, тот всегда одерживает в теоретическом споре верх над людьми непоследовательными, говорящими в одно время об одном и том же и "да" и "нет". Все великие теоретики были люди крайних мнений. Но другое дело — практическая жизнь. В ней важно то, на чьей стороне большинство. А у большинства господствующий принцип — рутина. Редки бывают минуты, когда овладевает обществом сильная идея, и оно скоро утомляется непривычным для него напряжением умственных сил и снова впадает в рутину; а рутина, это — вовсе не логическая смесь старого и нового, смесь мыслей, принадлежащих совершенно разнородным принципам, которым никак нельзя ужиться вместе в последовательной теории, но которые очень ладно набиваются рядом в головы, мало способные мыслить. Силен в обществе тот, кто имеет за себя большинство. Вот причина тому, что в конституционных государствах власть принадлежит обыкновенно партии так называемых умеренных людей, — людей непоследовательного образа мыслей, желающих лишь наполовину все то, к чему стремятся" [56].

Сам Чернышевский делает отсюда тот вывод, что люди крайних мнений всегда работают не в свою пользу, а в пользу умеренной партии, несмотря на то, что истинными двигателями истории являются именно они, люди крайних мнений. Но для нас важна здесь другая сторона вопроса. Для нас имеет существенную важность указание на то, что в этих, так сказать, "пролегоменах" ко всем политическим рассуждениям Чернышевского весь его материализм сводится лишь к тому положению, что все на свете осуществляется силой. А как только возникает вопрос о том, что такое сила, наш автор сразу переходит на точку зрения идеализма. Силен тот, за кем большинство, а большинство всегда поддается рутине, всегда держится умеренных и отсталых мнений. Вот почему в конституционных государствах власть принадлежит умеренным людям. "Миром правят мнения", а масса плохо разбирается во мнениях — в этом разгадка хода всемирной истории и в этом же объяснение современных нам политических событии. Последняя наша выписка сделана нами из статьи "Граф Кавур". Посмотрите же, как применяются заключающиеся в этой выписке общие положения к тому, что происходило в Италии во время ее последней борьбы за свое освобождение.

"В Италии по национальным делам есть, как и везде, два противоположные образа мыслей, очень последовательные каждый своему принципу. Представителями одного надобно назвать покойного короля неаполитанского Фердинанда и нынешнего правителя римских дел Антонелли; известнейший представитель другого — Маццини. Которого из них вы ни

захотите послушать, он рассуждает гораздо логичнее Кавура и его сотоварищей. Но один принцип уже не удовлетворяет рутинному образу мыслей большинства, другой еще не вошел в рутину. От этого при обыкновенном настроении итальянского общества ни тот, ни другой не могут удовлетворить ему. Удовлетворительна только та смесь, которая составляет рутину, образовавшуюся из клочков прежнего принципа, еще уцелевших, и клочков нового принципа, уже успевших сделаться общими местами… Фердинанд неаполитанский и Антонелли, а на противоположном конце Гарибальди и Маццини одинаково трудились в пользу Кавура, потому что масса общества не расположена идти далеко ни по какому правлению: она рада останавливаться подле тех, которые в дурном ли, в хорошем ли одинаково говорят: "остановимся; мы уже далеко ушли; отдохнем, успокоимся"" [57].

Несколько ниже Чернышевский говорит, что если бы Кавур и другие предводители умеренной партии в Италии взяли на себя инициативу движения, а не были бы подталкиваемы крайней партией, та масса отбросила бы их от себя, как людей, не соответствующих неопределенности ее тенденций и вялости ее желаний. "Иметь обдуманную, ясную программу! — восклицает он. — Может быть, это и хорошо само по себе, может быть это и полезно для нации, но масса общества никогда не поставит, не будет иметь своими представителями таких людей. Стало быть, нечего порицать Кавура за то, что был он таким, каким был, занимая место, какое занимал: такие люди требуются этим местом; другие не годятся для него" [58].

Здесь у Чернышевского понятие "нация" не совпадает с понятием: "масса общества". А ввиду того, что под обществом понимались и до сих пор иногда понимаются у нас так называемые образованные классы, то можно подумать, что вышеприведенная, весьма не лестная характеристика массы относится только к этой части населения. Мысль эту можно было бы подтвердить выписками из других его статей [59]. Но неправильно было бы заключать отсюда, что Чернышевский подобно нашим народникам ставил "простолюдинов" выше интеллигенции. Мы уже знаем, каким низким представлялся ему умственный уровень "простонародья" даже в самых передовых странах Европы; мы видели, что поддержка, оказанная французским народом либеральной буржуазии в 1830 году, объяснялась у него тем соображением, что масса везде живет рутиною. Значит, если он в своих отзывах о массе делает иногда молчаливо подразумеваемое исключение для "простолюдинов", то то происходит по какой-нибудь особенной причине, а вовсе не потому, что он ставит их выше общества. Какая же это причина?

Та, что "простолюдины", вообще говоря, не занимаются, по его мнению, политикою, а потому и не имеют случая обнаружить свою склонность к рутине. В политическом обозрении 6-й книжки "Современника" за 1859 год, он, сообщив о том, что в Германии усиливается движение, требующее вмешательства Немецкого Союза в пользу Австрии, замечает: "Мы говорили не о простолюдинах, а собственно о классах, в которых сосредоточивается общественное мнение, которые заняты политическими делами, читают газеты и обнаруживают влияние на ход дел, — эта толпа, повсюду служащая игрушкою своекорыстия и интриги" [60].

"Простолюдины" не читают газет, не занимаются политическими делами и не имеют влияния на их ход. Так обстоит дело теперь, пока еще глубоко спит их сознание. А когда оно пробудится под влиянием передового отряда действующей исторической армии, состоящего из "лучших людей", усвоивших себе выводы современной науки, тогда" простолюдины" поймут, что их задача состоит в коренном переустройстве общества, и тогда они возьмутся за дело этого переустройства, не имеющее прямого отношения к вопросам о формах политического устройства. Таков был преобладавший взгляд Чернышевского, который и обнаруживается в большинстве его многочисленных политических обозрений [61]. Если иногда этот, по существу своему идеалистический, взгляд на политику уступает место другому взгляду, являющемуся как бы зачатком материалистического понимания, то это есть лишь исключение, совершенно подобное тому, с которым мы встречались при изучении исторических взглядов Чернышевского: читатель помнит, что в этих взглядах, тоже идеалистических по своему существу, тоже встречались зачатки материалистического взгляда на историю. Поясним же теперь двумя примерами, какой характер должны были принимать политические обозрения Чернышевского под влиянием только что указанного нами и преобладавшего у него взгляда на отношение политики к главным задачам рабочего класса.

Первый пример. В январе 1862 года он в своем политическом обозрении вступает в спор с прусской либеральной "National Zeitung" по поводу внутренней политики Австрии. "National Zeitung" писала: "Судьба Австрии да послужит для других государств уроком, чтобы они не делали расходов, превышающих финансовую их силу. Причиною разорения Австрии служит безмерность расходов ее на войско". Чернышевскому не нравится это размышление "National Zeitung". Он сознается, что не имеет возможности опровергнуть данные, на которых оно построено.

Эти данные засвидетельствованы, "к сожалению", самим австрийским правительством, которое имело неосторожность "объявить цифру своего дефицита". Но, "к счастью", спор можно перевести в область принципов и на почву исторической необходимости. При таком его обороте окажется, что австрийское правительство право. Чернышевский рассуждает так:

Расходы на войско в Австрии действительно очень велики. Но, ведь иначе и быть не может: австрийская армия многочисленнее французской, а ее содержание обходится почти вдвое дешевле. Стало быть, нельзя обвинять австрийское правительство в излишней расточительности. Правда, можно сказать, что Австрия могла бы уменьшить свою армию. Но Чернышевский утверждает, что австрийское правительство решительно не в состоянии сделать это. Чтоб иметь возможность уменьшить армию, оно должно было бы отказаться от Венеции и удовлетворить требования венгров. Но какое же правительство отказывалось когда-нибудь добровольно от обладания какою-нибудь землею. Англия никогда не отказывалась от господства над Ирландиею; Пруссия — от господства над Познанью. "Значит, — заключает Чернышевский, — обскурантизм и деспотизм австрийского правительства остается тут не при чем: либеральное правительство точно так же старалось бы сохранить власть над Венециею" [62]. То же и насчет Венгрии. Советовать австрийскому правительству удовлетворить ее желаниям, это все равно, как если бы советовать купцу, чтоб он не брал торговой прибыли, или советовать землевладельцу, чтобы он не брал дохода со своей земли, или советовать "National Zeitung", чтобы она отказывалась от подписчиков. Даже более того: Чернышевский находит, что даже эти нелепые советы менее странны, чем советы, даваемые австрийскому правительству либералами. Австрийское правительство не может последовать этим советам [63].

Подобные доводы, приводившие к тому заключению, что деспотическое австрийское правительство поступает совершенно правильно, должны были поражать и в самом деле поражали очень многих читателей "Современника". Они производили впечатление даже не равнодушия к вопросам политической свободы, а прямого сочувствия обскурантам. Противники не раз обвиняли Чернышевского в таком сочувствии. Именно ввиду подобных обвинений он в конце своего мартовского политического обозрения 1862 года делает ироническое признание: "для нас нет лучшей забавы, как либерализм, — так вот и подмывает нас отыскать где-нибудь либералов, чтобы потешиться над ними". Но на самом деле он писал свои

парадоксальные обозрения, разумеется, не за тем, чтобы "потешиться" над либералами, и не за тем, чтобы защищать деспотические правительства. В их основе лежала та мысль, что при наличности данных общественных отношений дела не могут идти иначе, чем они идут, и что тот, кто желает, чтобы они шли иначе, должен направить свои усилия на коренную переделку общественных отношений. Поступать иначе значит только даром тратить свое время. Либералы вызывали насмешки Чернышевского именно тем, что они предлагали паллиативы там, где нужно было радикальное лечение [64].

Второй пример. В апреле того же года по поводу столкновения прусского правительства с прусскою палатою депутатов, Чернышевский опять как будто берет сторону абсолютизма в его борьбе с либерализмом. По его словам, либералы напрасно удивлялись тому, что прусское правительство не сделало им добровольной уступки, а предпочло волновать страну распущением палаты. "Мы находим, — говорит он, — что прусскому правительству так и следовало поступить" [65]. Это опять должно было поразить наивного читателя и показаться ему изменою делу свободы. Само собою понятно, однако, что и тут наш автор вовсе не ополчался на защиту деспотизма, а только хотел воспользоваться прусскими событиями для сообщения наиболее догадливым из своих читателей правильного взгляда на то главное условие, от которого зависит в последнем счете исход всех крупных общественных столкновений. И вот что говорит он на этот счет:

"Как споры между различными государствами ведутся сначала дипломатическим путем, точно так же борьба из-за принципов внутри самого государства ведется сначала средствами гражданского влияния или так называемым законным путем. Но как между различными государствами спор, если имеет достаточную важность, всегда приходит к военным угрозам, точно так и во внутренних делах государства, если дело не маловажно. Если спорящие государства слишком неравносильны, дело обыкновенно решается уже одними военными угрозами: слабое государство исполняет волю сильного, и этим отвращается действительная война. Точно так же и в важных внутренних делах война отвращается только тем, если одна из спорящих сторон чувствует себя слишком слабою, сравнительно с другой: тогда она смиряется, лишь только увидит, что противная партия действительно решилась прибегнуть к военным мерам. Но если два спорящие государства не так неравносильны, чтобы слабейшее из них не могло надеяться отразить нападение, то от угроз доходит дело и до войны. Обороняющийся имеет на своей

стороне очень большую выгоду, и потому, если он уже не слишком слаб, то не падает духом от решимости более сильного противника напасть на него" [66].

С этой точки зрения он и смотрел на то, что происходило тогда в Пруссии. Он защищал и хвалил прусское правительство, — необходимо заметить это, — единственно потому, что оно "действовало как нельзя лучше в пользу национального прогресса", разрушая политические иллюзии тех наивных пруссаков, которые, неизвестно на каком основании, воображали, что система истинно конституционного правления водворится у них сама собою, без борьбы со старым порядком. И если он не обнаруживал ни малейшего сочувствия к прусским либералам и даже потешался над ними, то это объясняется тем, что и они, по его справедливому мнению, хотели добиться своих целей без решительной борьбы со своими политическими врагами. Говоря о возможном исходе столкновения между палатою и правительством, он с большою проницательностью замечает, что "судя по нынешнему настроению общественного мнения в Пруссии, надобно полагать, что противники нынешней системы находят себя слишком слабыми для военной борьбы и готовы смириться при первой решительной угрозе правительства, что оно прибегнет к военным мерам" Так оно и вышло. Чернышевский был прав в своем презрении к прусским либералам. Они действительно хотели, чтобы конституционный порядок утвердился в Пруссии сам собою. Они не только не прибегли к решительным действиям, — за это их нельзя было бы винить, так как при тогдашнем соотношении общественных сил это было невозможно, — но в принципе осуждали всякую мысль о таких действиях, т. е. препятствовали, насколько это зависело от них, такому изменению общественных сил, которое позволило бы прибегнуть к таким действиям в будущем. Чернышевский не мог простить им это, как не простил и Лассаль. Замечательно, что именно в то время, когда Чернышевский осмеивал прусских либералов в своих политических обозрениях, Лассаль громил их в своих речах. И еще более замечательно, что в этих речах германский агитатор иногда теми же словами, как и Чернышевский, говорил о соотношении общественных сил, как об основе политического строя каждой данной страны. Лассаль имел во многих отношениях тех же учителей, что и Чернышевский. Естественно, что политическая мысль обоих работала в одном и том же направлении и приходила к результатам, отчасти совпадающим между собою. Мы потому говорим: "отчасти", что, отмечая большое сходство между взглядами Лассаля, с одной стороны, и Чернышевского, с другой, не следует закрывать глаза

и на различие между ними. Лассаль не ограничивается тем выводом, что конституция каждой данной страны служит юридическим выражением существующего в ней соотношения общественных сил. Он старается найти те причины, которыми определяется это соотношение, и находит их в общественной экономике. Относящиеся к этому вопросу речи Лассаля проникнуты материалистическим духом, чего совсем нельзя сказать, например, об его речи о философии Фихте или об его "Системе приобретенных прав". Чернышевский тоже не игнорирует вопроса о причинах, обусловливающих собою соотношение общественных сил, но в своем анализе он останавливается, дойдя до общественного самосознания, т. е. не переступает той границы, которая отделяет исторический идеализм от исторического материализма. В противоположность Лассалю, он в своих рассуждениях о прусских делах выступает гораздо более последовательным идеалистом, чем во многих других своих статьях политического или исторического содержания. Эта разница тоже должна быть целиком отнесена на счет "соотношения общественных сил". В Пруссии, как ни слаб был прусский капитализм сравнительно с тем, что он представляет собою в настоящее время, все-таки уже начиналось рабочее движение в новейшем смысле этого слова; а в России только начинало расцветать то движение разночинцев, которое называется обыкновенно движением интеллигенции. Под влиянием нужд рабочего движения даже идеалисты нередко оказываются вынужденными рассуждать по материалистически. Примеров такого влияния нужд рабочего движения можно не мало насчитать в современной Франции. Движение интеллигенции, наоборот, даже материалистов толкает иногда на путь чисто идеалистических рассуждений. Это особенно хорошо наблюдается в нынешней России.

Политические обозрения Чернышевского предназначались для "лучших людей", которым нужно было знать, чему они должны учить отсталую массу. Дело "лучших людей" сводилось, главным образом, к пропаганде. Однако, не исключительно к ней. "Простонародье", вообще говоря, не фигурирует на политической сцене. И то, что происходит на этой сцене, — тоже говоря вообще, — мало касается его интересов. Но бывают исключительные эпохи, в течение которых народная масса пробуждается от своей обычной спячки и делает энергичные, хотя нередко малосознательные, попытки к улучшению своей судьбы. В такие исключительные эпохи деятельность "лучших людей" более или менее утрачивает свой преимущественно пропагандистский характер и становится агитационной. Вот что

говорит Чернышевский о подобных эпохах:

"Исторический прогресс совершается медленно и тяжело… так медленно, что если мы будем ограничиваться слишком короткими периодами, то колебания, производимые в поступательном ходе истории случайностями обстоятельств, могут затемнить в наших глазах действие общего закона. Чтобы убедиться в его неизменности, надобно сообра-зить ход событий за довольно продолжительное время… Сравните состояние обществен-ных учреждений и законов Франции в 1700 году и ныне, — разница чрезвычайная, и вся она в выгоду настоящего; а между тем, почти все эти полтора века были очень тяжелы и мрачны. То же самое и в Англии. Откуда же разница? Она постоянно подготовлялась тем, что лучшие люди каждого поколения находили жизнь своего времени чрезвычайно тяжелою; мало-помалу хотя немногие из их желаний становились понятны обществу, и потом, когда-нибудь, через много лет, при счастливом случае, общество полгода, год, много три или четыре года, работало над исполнением хотя некоторых из тех немногих желаний, которые проникли в него от лучших людей. Работа никогда не была успешна: на половине дела уже истощалось усердие, изнемогала сила общества и снова практическая жизнь общества впадала в долгий застои, и по-прежнему лучшие люди, если переживали внушенную ими работу, видели свои желания далеко не осуществленными и по-прежнему должны были скорбеть о тяжести жизни. Но в короткий период благородного порыва многое было переделано. Конечно, переработка шла наскоро, не было времени думать об изяществе новых пристроек, которые оставались не отделаны начисто, некогда было заботиться о субтильных требованиях архитектурной гармонии новых частей с уцелевшими остатками, и период застоя принимал перестроенное здание со множеством мелких несообразностей и некрасивостей. Но этому ленивому времени был досуг внимательно всматриваться в каждую мелочь, и так как исправление не нравившихся ему мелочей не требовало особенных усилий, то понемногу они исправлялись; а пока изнеможенное общество занималось мелочами, лучшие люди говорили, что перестройка не докончена, доказывали, что старые части здания все больше и больше ветшают, доказывали необходимость вновь приняться за дело в широких размерах. Сначала их голос отвергался уставшим обществом, как беспокойный крик, мешающий отдыху; потом, по восстановлении своих сил, общество начинало все больше и больше прислушиваться к мнению, на которое негодовало прежде, понемногу убеждалось, что в нем есть доля правды, с каждым

годом признавало эту долю все в большем размере, наконец, готово было согласиться с передовыми людьми в необходимости новой перестройки, и при первом благоприятном обстоятельстве с новым жаром принималось за работу, и опять бросало ее, не кончив, и опять дремало, и потом опять работало" [67].

Политические обозрения Чернышевского имели целью именно показать "лучшим людям", что старое здание современного общественного порядка все более и более ветшает, и что необходимо "вновь приняться за дело в широких размерах". И, как это по всему видно, ему к концу первого, — т. е. досибирского, — периода его литературной деятельности стало казаться, что общество все больше и больше прислушивается к его мнению и все больше и больше соглашается с ним. Другими словами, он стал думать, что и в русской истории приближается один из тех благодетельных скачков, которые редко совершаются в истории, но зато далеко подвигают вперед процесс общественного развития. Настроение передовых слоев русского общества в самом деле быстро поднималось, а вместе с ним поднималось и настроение Чернышевского. Он, находивший когда-то возможным и полезным разъяснять правительству его собственные выгоды в деле крестьянского освобождения, теперь уже и не думает обращаться к правительству. Всякие расчеты на него кажутся ему вредным самообольщением. В статье "Русский реформатор" ("Современник", 1861 года, октябрь), написанной по поводу выхода книги Н. Корфа: "Жизнь графа Сперанского", Чернышевский подробно доказывает, что никакой реформатор не должен обольщаться у нас подобными расчетами. Враги называли Сперанского революционером. Этот отзыв смешит Чернышевского. У Сперанского, действительно, были очень широкие планы преобразования, но смешно называть его революционером по размеру средств, какими он думал воспользоваться для исполнения своих намерений. Он держался только тем, что успел приобресть доверие имп. Александра I. Опираясь на это доверие, он и думал осуществить эти планы. И именно поэтому Чернышевский называет его мечтателем. Он был человеком очень тонкого ума, но горячность его стремлений ввела его в ошибку. Мечтатели часто бывают смешны; но они становятся вредны обществу, когда обольщаются в серьезных делах. "В своей восторженной хлопотливости на ложном пути, — говорит Чернышевский, — они как будто добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль идти тем же ложным путем. С этой стороны деятельность Сперанского можно назвать вредною" [68].

Не поддается вредным увлечениям в политике только тот, кто

постоянно помнит, что ход общественной жизни определяется соотношением общественных сил. Тому, кто хочет действовать сообразно с этим основным положением, приходится иногда переживать тяжелую нравственную борьбу. Чернышевский старается предупредить на этот счет "лучших людей" своего времени ввиду приближавшегося, как он думал, скачка. Так, еще в январе 1861 года, разбирая одну книгу известного американского экономиста Кери, ничтожество которого, мимоходом сказать, разоблачается у него самым лучшим образом, он неожиданно переходит к известной еврейской героине Юдифи и горячо оправдывает ее поступок. Он говорит: "Исторический путь не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность: она — занятие благородное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя… Расширьте круг ваших соображений, и у вас по многим частным вопросам явятся обязанности, различные от тех, какие следовали бы из изолированного поставления тех же вопросов" [69].

В начале 60-х годов правительство вознамерилось несколько ослабить цензурные стеснения. Решено было написать новый цензурный устав, и печати позволили высказаться по вопросу об ее собственном обуздании. Чернышевский не замедлил выразить по этому поводу свой собственный взгляд, по обыкновению сильно расходившийся с обычным либеральным взглядом. Правда, Чернышевский сам едко смеется над теми людьми, которые полагают, что типографский станок имеет какую-то специфическую силу вроде белладонны, серной кислоты, гремучего серебра и т. п. "Наше личное мнение не расположено к ожиданию ненатурально вредоносных результатов от предметов и действий, в которых нет силы производить такие бедствия. Мы думаем, что для произведения общественных бед типографский станок слишком слаб. Ведь нет на нем столько чернил, чтобы, прорвавшись как-нибудь, затопили они страну, и нет в нем таких пружин, чтобы, сорвавшись как-нибудь и хлопнув по литерам, стрельнули они ими, как картечью". Однако Чернышевский признает, что бывают такие эпохи, когда печать может оказаться опасною для правительства данной страны не менее картечи. Это именно такие эпохи, когда интересы правительства расходятся с интересами общества и приближается революционный взрыв. Находясь в подобном положении, правительство имеет все

основания стеснять печать, потому что печать, наравне с другими общественными силами, готовит его падение. В таком положении постоянно находились почти все часто сменявшиеся французские правительства нынешнего века. Все это очень обстоятельно и спокойно изложено Чернышевским. О русском правительстве до самого конца статьи нет и речи. Но в заключение Чернышевский неожиданно спрашивает читателя, — а что если бы оказалось, что законы о печати действительно нужны у нас? "Тогда мы вновь заслужили бы имя обскурантов, врагов прогресса, ненавистников свободы, панегиристов деспотизма и т. д., как уже много раз подвергали себя такому нареканию". Поэтому он и не хочет исследовать вопроса о надобности или ненадобности специальных законов о печати у нас. "Мы опасаемся, — говорит он, — что добросовестное исследование привело бы нас к ответу: да, они нужны" [70]. Вывод ясен: нужны потому, что и в России приближается время "скачка".

В той же мартовской книжке "Современника", в которой была напечатана только что цитированная нами статья, появилась также полемическая заметка: "Научились ли?" по поводу известных студенческих беспорядков 1861 года. Чернышевский защищает в ней студентов от упрека в нежелании учиться, который делали им наши "охранители", и по пути высказывает также много горьких истин правительству. Ближайшим поводом к этой полемике послужила статья неизвестного автора в "С.-Петербургских Академических Ведомостях" под заглавием: "Учиться или не учиться?". Чернышевский отвечает, что по отношению к студентам такой вопрос не имеет смысла, так как они всегда хотели учиться, но им мешали стеснительные университетские правила. Студентов, — людей, находящихся в том возрасте, когда по нашим законам мужчина может жениться, принимается на государственную службу и "может быть командиром военного отряда", — университетские правила хотели поставить в положение маленьких ребят. Неудивительно, что они протестовали. Им запрещали даже такие совершенно безвредные организации, как товарищества взаимной помощи, безусловно необходимые при материальной необеспеченности большинства учащихся. Студенты не могли не восстать против таких порядков, так как тут дело шло о "куске хлеба и о возможности слушать лекции. Этот хлеб, эта возможность отнимались". Чернышевский прямо заявляет, что составители университетских правил именно хотели отнять возможность учиться у большинства людей, поступающих в студенты университета. "Если автор статьи или его единомышленники считают нужным доказать, что эта цель нисколько не имелась в

виду при составлении правил, пусть они напечатают документы, относящиеся к тем совещаниям, из которых произошли правила". Безыменный автор статьи "Учиться или не учиться?" направил свой упрек в нежелании учиться не только против студентов, но и против всего русского общества. Этим и воспользовался Чернышевский, чтобы свести спор о беспорядках в университете на более общую почву. Противник его допускал, что существуют некоторые признаки желания русского общества учиться. Доказательством этому служили, по его мнению, "сотни" возникающих у нас новых журналов, "десятки" воскресных школ. "Сотни новых журналов, да где же это автор насчитал сотни? — восклицает Чернышевский. — А нужны были бы действительно сотни, и хочет ли автор знать, почему не основываются сотни новых журналов, как было бы нужно? Потому, что по нашим цензурным условиям невозможно существовать сколько-нибудь живому периодическому изданию нигде, кроме нескольких больших городов. Каждому богатому торговому городу было бы нужно несколько хотя маленьких газет; в каждой губернии нужно было бы издаваться нескольким местным листкам. Их нет потому, что им нельзя быть… Десятки воскресных школ… Вот это не преувеличено, не то, что сотни новых журналов: воскресные школы в империи, имеющей более 60 миллионов населения, действительно считаются только десятками. А их нужны были бы десятки тысяч, и скоро могли бы точно устроиться десятки тысяч, и теперь же существовать; по крайней мере, много тысяч. Отчего же их только десятки? Оттого, что они подозреваются, стесняются, пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать".

Сославшись на существование "сотен" новых журналов и "десятков" воскресных школ, как на кажущиеся признаки желания общества учиться, автор разобранной Чернышевским статьи поспешил прибавить, что признаки эти обманчивы. "Послушаешь крики на улицах, — меланхолически повествовал он, — скажут, что вот там-то случилось то-то, и поневоле повесишь голову и разочаруешься"… "Позвольте, г. автор статьи, — возражает Чернышевский, — какие крики слышите вы на улицах? Крики городовых и квартальных, — эти крики и мы слышим. Про них ли вы говорите? Скажут, что вот там-то случилось то-то… — что же такое, например? Там случилось воровство, здесь превышена власть, там сделано притеснение слабому, здесь оказано потворство сильному, — об этом беспрестанно творят. От этих криков, слышных всем, и от этих ежедневных разговоров в самом деле поневоле повесишь голову и разочаруешься".

Обвинитель студентов нападал на их мнимую нетерпимость к

чужим мнениям, на то, что они в своих протестах прибегают к свисткам, моченым яблокам и тому подобным "уличным орудиям". Чернышевский возражает ему, что "свистки и моченые яблоки употребляются не как уличные орудия: уличными орудиями служат штыки, приклады, палаши". Он предлагает своему противнику вспомнить, "студентами ли употреблялись эти уличные орудия против кого-нибудь, или употреблялись они против студентов… и была ли нужда употреблять их против студентов".

Понятно, какое впечатление должны были производить подобные статьи Чернышевского на русское студенчество. Когда впоследствии студенческие беспорядки повторились в конце шестидесятых годов, то статейка "Научились ли?" читалась на сходках студентов, как лучшая защита их требований. Понятно также, как должны были встречать подобные вызывающие статьи гг. "охранители". "Опасное" влияние великого писателя на учащуюся молодежь все более и более становилось для них несомненным. Мы уже знаем, как было устранено это влияние.

Стоя на точке зрения утопического социализма, Чернышевский находил, что те планы, к осуществлению которых стремились его западные единомышленники, могли осуществиться при самых различных политических формах. Так говорила теория. И пока Чернышевский не уходил из ее области, он не обинуясь высказывал этот свой взгляд. В начале его литературной деятельности наша общественная жизнь как будто обещала дать некоторое, хотя бы только косвенное, подтверждение справедливости этого взгляда: у наших передовых людей явилась тогда надежда на то, что правительство возьмет на себя почин беспристрастного решения крестьянского вопроса. Это была несбыточная надежда, от которой Чернышевский отказался едва ли не ранее, чем кто-либо другой. И если в теории он и впоследствии неясно видел связь экономики с политикой, то в своей практической деятельности, — говоря это, мы имеем в виду его деятельность, как публициста, — он выступал непримиримым врагом нашего старого порядка, хотя его своеобразная ирония продолжала вводить многих либеральных читателей в заблуждение на этот счет. На деле, — если не в теории, — он стал человеком непримиримой политической борьбы, и жажда борьбы сказывается едва ли не в каждой строке каждой из его статей, относящихся к 1861 г. и, в особенности, к роковому для него 1862 году.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ
Политико-экономические взгляды Н. Г. Чернышевского

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Общие замечания. — Гипотетический метод

В исторических взглядах нашего автора случайности отводится вообще очень широкое место. Это мы видели в одном из предыдущих отделов.

Теперь мы скажем, что даже современный нам экономический строй представлялся Чернышевскому продуктом исторических случайностей. "По истории оказалось, — говорит он в цитированной уже рецензии на книгу Рошера, — что нынешние экономические формы возникли под влиянием отношении, противоречащих требованиям экономической науки, не совместимых ни с успехами труда, ни с расчетливостью потребления, словом сказать, представляют собою результат причин, враждебных и труду, и благосостоянию. Например, в Западной Европе экономический быт основался на завоевании, на конфискации и монополии". Никто не скажет, разумеется, что завоевания, конфискации, монополии не имели места в Западной Европе. Но ввиду решающего значения, приписываемого Чернышевским завоеванию, нам невольно припоминаются слова Энгельса: "Даже в том случае, если мы исключим всякую возможность грабежа, насилия и обмана, если мы допустим, что всякая частная собственность первоначально основывалась на личном труде ее обладателя и затем во все дальнейшее время только равные стоимости обменивались на равные, то тем не менее, с дальнейшим развитием производства и обмена, мы необходимо придем к современному капиталистическому способу производства, к монополизированию средств производства и существования в руках одного малочисленного класса, к пригнетению другого, составляющего огромнейшее большинство, класса до положения лишенных всякой собственности пролетариев, к периодической смене производительной горячки и торговых кризисов и ко всей современной анархии в производстве. Относя различные исторические формы экономического быта на счет завоевания и считая их противоречащими "требованиям экономической науки", наш автор естественно не мог придавать большой цены их изучению.

Знакомясь с так называемым историческим методом в экономической науке лишь по трудам таких его представителей, как Вильгельм Рошер и проч. Zitaten-Professoren, он относился к нему очень пренебрежительно и считал его плодом реакции против освободительных стремлений рабочего класса [71].

Отрицая исторический метод, наш автор пользовался в своих экономических исследованиях другим методом, который он называл гипотетическим. Мы характеризуем его собственными словами Чернышевского. "Этот метод состоит в том, — говорит он в своих замечаниях на первую книгу "Политической экономии" Милля, — что, когда нам нужно определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и приискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаруживал бы свой характер самым несомненным образом, приискивать задачи самого простейшего свойства. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он и в запутанной задаче, отложенной нами на время. Например, вместо многосложной задачи: были ли войны с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века полезны для Англии, берется простейший вопрос: может ли война быть полезна не для какой-нибудь шайки, а для многочисленной нации? Теперь, как же решить этот вопрос? Дело идет о выгоде, то есть о количестве благосостояния или богатств, об уменьшении или об увеличении его, то есть о величинах, которые измеряются цифрами. Откуда же возьмем мы цифры? Никакой исторический факт не дает нам этих цифр в том виде, какой нам нужен, то есть в простейшем виде, так, чтобы они зависели единственно от определяемого нами элемента, от войны… Итак, из области исторических событий мы должны перенестись в область отвлеченного мышления, которое вместо статистических данных, представляемых историею, действует над отвлеченными цифрами, значение которых условно и которые назначаются просто по удобству. Например отвлеченное мышление поступает так. Предположим, что общество имеет 5.000 человек населения, в том числе 1.000 взрослых мужчин, трудом которых содержится все общество. Предположим, что 200 из них пошли на войну. Спрашивается, каково экономическое отношение этой войны к обществу? Увеличила или уменьшила она благосостояние общества? Лишь только мы произвели такое простейшее построение вопроса, решение становится столь просто и бесспорно, что может быть очень легко отыскано каждым и не может быть опровергнуто никем и ничем… По термину "предположение", "гипотеза", самый метод называется

гипотетическим" [72]. Такого метода Чернышевский держится во всех своих экономических исследованиях, которые принимают, благодаря этому, совершенно особенный, до крайности отвлеченный характер. Известно, что главное экономическое сочинение нашего автора представляет собою частью перевод, частью изложение "Политической экономии" Милля, сопровождаемое очень обширными замечаниями и самостоятельными дополнениями. Читая это сочинение, интересно следить за тем, как принятый автором метод исследования постоянно увлекает его из области действительных, существующих экономических отношений в область отвлеченного мышления. В том, что касается существующих отношений, Чернышевский редко оспаривает Милля. Он большею частью довольствуется его анализом, который, как известно, оставляет желать очень многого по своей неясности и непоследовательности. Он не расходится с Миллем даже в таких существенных вопросах, как вопросы о стоимости, о цене, о деньгах, о законе рабочей платы и т. п. Милль совершенно прав в том, что касается существующего, говорит обыкновенно Чернышевский, но посмотрим, так ли должно быть, того ли требует здравая экономическая теория? "Предположим" и т. д. — следует обыкновенно блестящая критика существующих отношений, критика, опирающаяся, однако, исключительно только на совершенно отвлеченные соображения и предположения. Недостатки метода кидаются, таким образом, в глаза, и его, конечно, не одобрит ни один из современных научных противников капитализма, так как противники эти опираются теперь не на требования отвлеченной "теории", а на те внутренние противоречия существующего ныне строя, которые в своем дальнейшем развитии необходимо должны повести к его устранению.

Современная социалистическая литература чуждается утопии. Иногда приходится слышать, что в этом заключается важный недостаток ее. Но это не так. Утопии имели смысл лишь до тех пор, пока социалисты стояли на идеалистической точке зрения, пока они считали понятия и чувства людей главным источником существующих общественных отношений. Тогда подробно разработанный и привлекательно раскрашенный план "нормального" общественного устройства, способный убедить людей в выгодах предлагаемой им реформы и подействовать на их воображение, казался необходимым средством социалистической пропаганды. Теперь, когда социалисты знают, что "идеальное" есть отражение в человеческих головах "материального", они не верят более в магическую силу утопий.

Люди будут поступать не так, как приглашают их поступать утопии, а так, как заставит их поступать суровая экономическая необходимость. Чтобы принимать полезное и деятельное участие в ходе общественно-исторического развития, надо не соблазнять людей блестящими картинами "справедливых" общественных отношений, а понимать и разъяснять характер современных нам материальных условий человеческого существования. Если мы изучили эти условия, если мы умеем предсказать дальнейший ход их развития, то мы можем также предвидеть, в какую сторону будут изменяться понятия и чувства наших современников. А сообразно с этим мы можем направить и нашу практическую деятельность. Сила нашего влияния на дальнейший ход событий будет прямо пропорциональна ясности нашего понимания сущности современных нам экономических отношений. Наша "программа" должна быть особого рода философией, той философией, которая в понятиях и практических требованиях выражает предстоящий ход общественно-экономического движения. Социалисты должны быть акушерами нового общества, элементы которого развиваются внутри существующего буржуазного порядка. Но акушер представляет собою прямую противоположность утописту. Он не рассуждает о том, как должно было бы рождаться человечество. Он наблюдает то, что есть в действительности; он изучает механизм родов и, вполне подчиняясь его законам, пользуется ими для своей практической цели.

Таким образом социализм из утопического делается критическим. Социалистическое отрицание буржуазного общества становится в теснейшую связь с пониманием этого общества, т. е. с выяснением его исторического значения. Сообразно с этим классическая буржуазная экономия (т. е. та экономия, которая одна заслуживает названия науки) получает совсем другой смысл в глазах социалистов. Она представляется им тем, чем она была в действительности, т. е. не сплетением лжи и софизмов, сбивших с толку человечество, а учением о законах, управляющих экономической жизнью общества на известной ступени его развития. Теории буржуазных экономистов служат социалистам необходимым пособием при изучении того общественного порядка, который подготовляет условия социалистической революции. Не довольствуясь утопиями, Маркс начинает в сороковых годах свою критическую работу внимательным изучением буржуазной экономии. И с этих пор в истории экономической науки начинается новая эпоха. Диалектическая критика Маркса устранила односторонние, метафизические взгляды буржуазных экономистов, пополнила

пробелы и исправила ошибки их теорий и поставила политическую экономию на совершенно новое основание. Быстрые теоретические успехи социализма были в то же время теоретическими успехами экономической науки. Теперь политическая экономия стала наукой об экономическом развитии общества. Что касается буржуазного порядка, то она изучает его историю, его законы и показывает, как постоянное и неотвратимое их действие подрывает этот порядок и подготовляет материальные условия для нового общественного устройства. Иначе сказать, буржуазная политическая экономия изучала буржуазный порядок в его готовом законченном виде, который она считала неизменным. Современная нам политическая экономия изучает буржуазный порядок с точки зрения развития, с точки зрения его возникновения и уничтожения.

Чернышевский не оставил ни одного описания социалистического общества; только в одном из снов Веры Павловны, в романе "Что делать?", перед нами проходят роскошные картины будущей общественной жизни. Наивный г. Иванов-Разумник сделал из этого обстоятельства тот архикомический вывод, что Чернышевский только в названном романе, да и то из презрения к читающей публике, перешел на точку зрения утопического социализма. Оспаривать этот вывод здесь бесполезно. Мы уже знаем, что, если Чернышевский готов был признать своим "собственным" планом план то одного, то другого выдающегося социалиста-утописта, то это происходило единственно потому, что все планы этого рода казались ему тождественными в своих общих чертах. Нам известно также, что он смотрел на социальную науку вообще и на политическую экономию в частности глазами социалиста-утописта. А это значит, что для него, как и для всех других социалистов-утопистов, главная задача науки заключалась не в изучении объективного хода развития нынешнего общества, а в исследовании того, каким должно быть будущее общество. Он прямо высказывает это в заключительных строках своих "Очерков из политической экономии". — "Не успела войти в наши очерки та часть теории, которая, по нашему мнению, наиболее важна в науке. Критикою господствующих понятий нам удавалось приводить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей. Но мы не успели изложить, в каких главных подробностях должны некогда осуществиться эти принципы и какими переходными ступенями могут уже теперь люди приближаться к наилучшему устройству своих материальных отношений. Нам пришлось в этом отношении

довольствоваться неопределенными очерками, представленными у Милля в главе о вероятной будущности рабочих сословий. Мысли его верны, но слишком бледны. И мы очень жалеем, что не успели дополнить их очерками, более точными. Но что же делать!" [73] Анализ экономических явлений в современном обществе, изложение законов буржуазного хозяйства имели для Чернышевского второстепенное значение, обусловленное преимущественно полемическими целями: "критика господствующих понятий" должна была "приводить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей", оттенять эти принципы. Сообразно с этим, Чернышевский равнодушно относится к тем противоречиям, в которые впадает Милль при изложении важнейших политико-экономических теорий. Трудно представить себе, чтобы он при своем ясном уме мог не заметить этих противоречий, обратив на них некоторое внимание. Но ему до них было мало дела. Его досадовало не то, что Милль плохо понимает современную экономическую жизнь цивилизованных обществ, а то, что он слишком много занимается этой жизнью и слишком мало думает о требованиях "здравой теории", т. е. о принципах будущего общественного устройства. Чернышевский сравнивает Милля с человеком, который, решившись покинуть Петербург, не знает, куда ему следует направиться, в Берлин или в Казань, и, даже признав, наконец, что в Берлин ехать было бы разумнее, все-таки сворачивает на Казань. Это очень остроумное сравнение. Но оно характеризует только практическое отношение Милля к великому спору между пролетариатом и буржуазией. Теоретических ошибок английского экономиста оно вовсе не указывает, да и не имеет их в виду. Несмотря на всю неясность своих экономических понятий, Милль все-таки кажется Чернышевскому "достойным учеником Рикардо".

Под влиянием современного ему рабочего движения, Милль уже не смотрел на буржуазное общество, как на вечное и неизменное. Он допускал, что буржуазный общественный порядок может быть, пожалуй, заменен другим, более соответствующим интересам массы. О будущности "рабочих сословий" он высказывал даже мысли, которые казались верными социалисту Чернышевскому. Поэтому наш автор и выбрал его книгу для перевода на русский язык. Но "верные" мысли Милля были, во-первых, слишком "бледны", а во-вторых, он высказывал их только мимоходом, занимаясь почти исключительно "условиями быта и прогресса, принадлежащими обществу, основанному на частной собственности" (слова Милля). Поэтому Чернышевский решил снабдить перевод его книги дополнениями и примечаниями, излагающими более правильные принципы общежития. Таково

было происхождение главного экономического труда нашего автора.

Типическим образчиком отношения Чернышевского к спорным теориям буржуазных экономистов может служить следующее замечание его о государственных займах: "Разумеется, бывают разные роды займа, как бывают разные роды налога, и некоторые из них более обременительны для нации, чем другие. Но место не дозволяет нам здесьвдаваться в эти подробности, которые, впрочем, теряют значительную часть своей важности для теоретического исследования, если мы твердо убедимся в общей невыгодности самого принципа заменять налог займами. Теория говорит, что займов не следует заключать; после этого, какую степень серьезности могли бы иметь рассуждения о том, в каких обстоятельствах и в каком размере можно заключать займы?" [74]. Рассуждая таким образом, можно было равнодушно проходить мимо важнейших вопросов буржуазного хозяйства. Какую степень серьезности могут иметь наши рассуждения о стоимости, если мы твердо убедимся в общей несостоятельности современного обмена? Какую степень серьезности могут иметь споры о законе заработной платы, если теория говорит, что рабочая сила не должна быть продаваема на рынке? Читатель уже знает, что именно так рассуждали социалисты-утописты, и что такое отношение их к теориям буржуазной экономии было одной из главных ошибок утопического социализма, препятствовавших дальнейшему развитию общественной науки.

В 1866 году в английском журнале "Common Wealth" началось печатание ряда статей рабочего Георга Эккариуса, который задался целью подробно разобрать экономические учения Милля. Статьи Эккариуса появились в виде отдельной брошюры на немецком языке под заглавием: "Eines Arbeiters Widerlegung der national-ökonomischen Ansichten John Stuart Mill's". Эккариус был деятельным членом Международного Общества Рабочих и долгое время находился под сильным влиянием Маркса [75]. По его отношению к Миллю можно судить о том, как относятся к этому писателю современные нам социалисты, т. е. последователи Маркса. Эккариус нападал на Милля со стороны совершенно противоположной той, с которой нападал на него Чернышевский. Его возмущало не то, что Милль слишком мало говорил о будущем обществе, а то, что английский экономист слишком плохо понимал законы современного буржуазного порядка. Главный недостаток книги Милля заключается, по мнению Эккариуса, в том, что автор ее не сумел стать на историческую точку зрения, с которой все категории буржуазной экономии представляются преходящими, историческими категориями.

Эккариус старался осветить "реакционные стремления Миллевской экономии с рабочей точки зрения". Он мог относиться к Миллю только полемически. Излагать свои собственные взгляды в виде дополнения к теориям Милля было бы для Эккариуса невозможно и в логическом и в психологическом смысле: он слишком далеко, слишком резко с ним расходился. Откуда же эта разница в отношении к Миллю двух социалистов, писавших о нем почти в одно и то же время? Эти социалисты-современники по взглядам своим принадлежали к различным периодам истории социализма. Эккариус был марксист; Чернышевский держался взглядов домарксовой, утопической эпохи.

Предпринятая Чернышевским "критика господствующих понятий" по своим приемам и по своим результатам совершенно сходится с той критикой общественных "учреждений", которой так деятельно занимался, например, Фурье. Но что такое общественные учреждения? Это юридическая надстройка, возвышающаяся на данном экономическом базисе, характер которого определяется степенью развития общественных производительных сил. При данной степени развития производительных сил люди, занимающиеся производством, необходимо должны становиться в известные, определенные взаимные отношения. А этими взаимными отношениями производителей в процессе производства определяются, как мы знаем, все их общественные отношения, т. е., следовательно, и все общественные учреждения. Критиковать данное учреждение, значит стараться понять, какая степень развития производительных сил вызвала его к жизни, какая степень его упрочила и какая — приведет к его падению. Так смотрят на задачи своей критики современные социалисты. Даже в агитационных речах главными доводами против того или другого учреждения является у них указание его несоответствия с нынешними экономическими нуждами человечества. Но современные социалисты смотрят так потому, что теперь уже выяснена зависимость общественных учреждений от хода экономического развития. Для социалистов утопического периода зависимость эта была совсем еще неясной, а чаще всего они вовсе ее не подозревали. Поэтому они смотрели на "учреждения", как на нечто, вполне зависящее от воли людей, определенное более или менее разумным выбором со стороны членов данного общества. Поэтому же критика общественных учреждений сводилась для них к выяснению тех невыгодных сторон данных учреждений, которые в действительности являются только на известных ступенях экономического развития, а им казались совершенно

безусловными. В утопической критике отсутствует самый важный, т. е., исторический, элемент. Совершенно то же видим мы и у Н. Г. Чернышевского.

В первых двух главах второй книги своей "Политической экономи. Милль вдается в пространные рассуждения о частной собственности. Изложив взгляды английского экономиста, Чернышевский, по своему обыкновению, дополняет их собственными замечаниями. Но у него нет ни слова об историческом значении частной собственности. Он старается только показать, что частная собственность и связанный с нею принцип наследственности невыгодны, потому что ведут к неравенству имуществ. По его справедливому замечанию, частная собственность действует, как разрушительная революционная сила, обогащая немногих счастливцев и ведя к материальному порабощению большинства. Но если частная собственность и принцип наследственности действуют так всегда, "неотступно, каждый день и каждый час"; если невыгоды их так осязательны, то спрашивается, каким же образом возникли они в истории? На это Чернышевский отвечает так же, как отвечали все социалисты-утописты: по недостатку у людей здравого экономического расчета.

Недостатком расчета или влиянием злой воли, — насилия, завоеваний, — объясняет наш автор все вообще современное, несправедливое распределение продуктов. "Рутинные политико-экономы выставляют все части экономического быта одинаково независящими в своих чертах от соображений человека о лучшем устройстве человеческого быта. На самом же деле принципы только одной части экономического быта, именно производство, налагаются на человека с необходимостью физических законов, остальные же элементы экономического быта устраиваются уже самим человеком и вполне подлежат его власти" [76]. Если люди плохо распределяли до сих пор продукты своего производства, то это происходило потому, что они не знали истинных экономических принципов, или сами у себя отнимали фактическую возможность соображаться с ними. "Разве политико-экономическими принципами был устроен общественный быт при завоевании Римской империи варварами, или во времена феодализма, или даже в позднейшие, хотя бы в наши времена? — спрашивает Чернышевский. — Разве он еще не подчинен господству влияний, гораздо сильнейших, чем здравый экономический расчет? Разве из здравого экономического расчета велись войны при Наполеоне I, — войны, развязкой которых решен был экономический быт Европы? Разве по экономическому расчету завладела и хочет продолжать владеть Алжириею

Франция? Разве по здравому экономическому расчету упрочились и сохраняются поземельные отношения Англии?" [77]. Материальная, объективная возможность нормального устройства человеческих отношений существует с давних времен, а может быть существовала даже с самого начала истории. "В обществах, не то что цивилизованных, — говорит Чернышевский, — а даже во всех тех, которые успели выйти хотя из грубейшего дикарства, стали оседлыми, земледельческими, — не только в нынешней Англии, или в Германии, а даже в Англии IX века, в Германии X века, в нынешней Персии, в нынешней Малой Азии труд по своей внутренней успешности уже мог бы содержать общество в благосостоянии. А человеческая натура опять-таки невиновата, если дело выходит плохо, когда человек действует безрасчетно, наудачу: тут виноват только недостаток расчета" [78]. Таким образом вся экономическая история человечества объясняется, по мнению Чернышевского, как и всех социалистов-утопистов, простыми ошибками в "расчете".

Такой взгляд вел за собою то, что Чернышевский, как и Милль, считал возможным рассматривать законы производства совершенно независимо от распределения и от обмена. Изучать законы производства, значило — на языке Милля и Чернышевского — рассматривать его независимо от его общественных условий, т. е. независимо от тех взаимных отношений, в которых стоят производители продуктов. Поэтому весь вопрос о производстве сводится у них к вопросу об отношении человека к силам природы, т. е. к вопросу о более или менее целесообразном применении сил природы к нуждам человека, да еще к вопросу о некоторых технологических условиях успешности труда. А так как все важнейшие категории политической экономии — "капитал", "труд" и т. д. — выражают собою лишь взаимные отношения производителей, — и притом не в мастерской, а в общественном процессе производства, — то рассматривать производство независимо от его общественных условий значит добровольно затруднять себе путь к пониманию названных категорий. Ниже мы увидим это яснее. Мы увидим также, что по отношению ко многим категориям политической экономии наш автор разделял взгляды буржуазных экономистов [79].

Так как законы распределения, в противоположность законам производства, вполне зависят от воли людей, то в особенности в учении о распределении экономисты должны были бы, по мнению Чернышевского, излагать требования здравой теории. Школа Смита поступала иначе. Она довольствовалась исследованием существующих ныне законов распределения. Это и мешало

успехам экономической науки. Благодаря этому теория распределения выходит у школы Смита "не результатом строгого научного анализа, а просто изложением довольно безобразной рутины, материальным основанием которой служит факт завоевания, доныне владычествующей своими последствиями над экономическою сферою того положения вещей, нравственною поддержкою которому служит невежество массы" [80]; чтобы стать научной теорией, теория распределения должна была бы превратиться в учение о распределении продуктов сообразно требованиям разума и справедливости.

Метод исследования явлений вообще подсказывается тою точкой зрения, с которой смотрит на них исследователь. Маркс смотрел на общественные явления с точки зрения их внутреннего развития, с точки зрения присущей им диалектики. Поэтому он и держался конкретного, диалектического метода. Социалисты-утописты смотрели на общественную жизнь с отвлеченной точки зрения "здравой теории", т. е. с точки зрения того общественного устройства, которое казалось им нормальным. Поэтому они в своих исследованиях придерживались отвлеченного метода сравнения действительности с идеалом. Именно таков тот метод, который называется у Чернышевского гипотетическим. Читатель помнит, вероятно, как характеризовал свой метод Н. Г. Чернышевский. Чтобы правильно судить об экономических явлениях, мы должны, по его словам, переноситься "из области исторических событий в область отвлеченного мышления, которое вместо статистических данных, представляемых историей, действует над отвлеченными цифрами, значение которых условно, и которые назначаются просто по удобству". Таким образом метод Чернышевского сводится к отвлечению от всех конкретных условий данного явления. Но таким образом не может быть изучено никакое явление. Чернышевский полагает, что он, посредством своего метода, окончательно решил вопрос о том, "были ли войны с Франциею в конце прошлого и в начале нынешнего века полезны для Англии". С помощью очень несложных соображений, показывающих, что война всегда отвлекает производительные силы от полезного употребления, он решает, что "война вредна для благосостояния общества". Иначе и нельзя ответить на вопрос о полезности войны с отвлеченной точки зрения. Но историческая действительность вносит в это абстрактное решение очень существенные поправки. Она показывает нам, во-первых, что явление, вредное для всего общества, в его целом, может быть очень полезно для господствующего класса этого общества. А так как международная политика цивилизованных обществ всегда

зависела от их господствующих классов, то разгадки воинственности, проявленной Англией в конце прошлого и в начале нынешнего столетия, нужно искать в тогдашних интересах английской аристократии и английской буржуазии, а вовсе не в плохой способности англичан к экономическому расчету. Во-вторых, еще Джемс Стюарт (James Steuart) в своем замечательном сочинении "Inquiry into the Principles of political Economy", появившемся за десять лет до выхода книги Смита "О богатстве народов", справедливо замечает, что торговая страна может вести продолжительные войны и одерживать блестящие победы, не проливая ни одной капли крови своих собственных граждан. Все дело сводится в таком случае к более или менее значительной затрате денежных средств, с помощью которых торговая нация заставляет воевать за себя своих союзников или наемников. Выгодны ли для нее подобные затраты? Может быть — нет, может быть — да; все зависит от фактического хода и исхода войны, а не абстрактных соображений о том, что затраченные на войну деньги могли бы быть израсходованы с большей пользой для человечества. Если бы мы хотели спорить с Чернышевским, то мы сказали бы его собственными словами, что здесь, как и везде, все решается обстоятельствами времени и места. Но нам нет надобности спорить с ним, потому что теперь едва ли кому придет в голову отстаивать его метод. Теперь уже всякий согласится, что Чернышевский ошибался; спор возможен только относительно того, почему он ошибался, и почему ошибался именно в эту, а не в другую сторону. А это вполне удовлетворительно объясняется общей точкой зрения социалистов-утопистов на общественную жизнь человечества.

Мы уже видели, что в своей литературной пропаганде социалисты-утописты ставили себе совершенно определенную, хотя и очень одностороннюю задачу: им нужно было прежде всего, как выражается Чернышевский, "критикою господствующих понятий приводить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей". А это всего удобнее было делать с помощью отвлеченных расчетов, примерных математических выкладок. Еще Фурье очень любил такие выкладки, к которым сводится на деле весь гипотетический метод Чернышевского. Трудно открыть что-либо с помощью такого метода, но очень удобно, опираясь на него, разъяснять истины, открытые другим, и в сущности вовсе не "гипотетическим" путем, в особенности, когда эти истины имеют отвлеченный, математический характер, когда, — говоря словами нашего автора, — весь вопрос заключается только в том, "увеличилась или уменьшилась известная пропорция от перемены в цифре того элемента,

характер которого мы хотим узнать", или когда, — как выражается он же, — "больше будет, меньше будет, вот все, что нам нужно узнать, чему мы придаем важность". Социалистам-утопистам именно только и нужно было показать, что "больше будет" в рекомендуемом тем или другим из них идеальном обществе, а "меньше будет" при современном порядке. Для достижения этой цели нельзя было придумать приема доказательства более удобного, чем тот, к которому так охотно прибегал Чернышевский. Гипотетический метод — в том виде, как он понимал его — не имеет ровно никакого значения, как метод исследования, но на известной ступени развития социализма он был самым лучшим методом разъяснения (все равно, себе или другим) социалистических учений. Поспорить с ним в убедительности могли только свойственные Фурье сатирические приемы.

Чернышевский думал, что гипотетического метода держались самые знаменитые экономисты. Он приписывает его Давиду Рикардо. Рикардо действительно любил прибегать к "гипотезам". Но у него эти "гипотезы" были именно только приемом разъяснения понятий, а не методом изучения явлений. Для Рикардо критерием истинности той или другой теории служила окружавшая его буржуазная действительность. Для Чернышевского и его учителей требования отвлеченной теории решали все вопросы. Рикардо никогда не покидал реальной почвы. Чернышевский и все вообще социалисты-утописты не считали нужным держаться ее, по крайней мере, в "теории". Лорд Брум говорил о Рикардо, что он как будто смотрит на землю с другой планеты. О социалистах-утопистах можно сказать, что земля уходила из их поля зрения, уступая место другим, более привлекательным планетам.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Стоимость

I.

В буржуазном обществе разделение труда доведено, как известно, до очень высокой степени. Разделением труда гордятся буржуазные экономисты. И несмотря на это, роль и характер разделения труда в современном обществе оставались плохо выясненными вплоть до появления главных трудов Маркса. Дело в том, что буржуазные экономисты в большинстве случаев подходили к вопросу о разделении труда совсем не с той

стороны, на которую нужно было прежде всего обратить внимание. На разделение труда можно смотреть с различных точек зрения. "Если мы будем иметь в виду только самый труд, — говорит Маркс, — то мы можем назвать разделение общественного производства на его крупные роды, каковы земледелие, индустрия и пр. — разделением труда вообще; разделение этих родов производства на виды и разновидности — разделением труда в частности, а разделение труда внутри мастерской — разделением труда в отдельности" [81]. При изучении того, что они называли законами производства, буржуазные экономисты имели в виду преимущественно только разделение труда внутри мастерской, т. е. разделение труда "в отдельности". Но при буржуазном экономическом порядке разделение труда "в отдельности" не похоже на разделение труда "вообще" и на разделение труда "в частности". Другими словами, при этом порядке разделение труда внутри мастерской имеет совсем другой характер и другое экономическое значение, чем общественное разделение труда.

При общественном разделении труда каждый производитель, занимаясь изготовлением одного какого-нибудь продукта, производит не те предметы, которые нужны лично ему для удовлетворения его собственных потребностей, а те, которые нужны для других производителей, одновременно с ним занимающихся выделкой других предметов [82]. В этом заключается взаимная зависимость производителей. Но, с другой стороны, при буржуазном порядке вещей производители совершенно независимы один от другого. Средства производства составляют частную собственность производителей, точно так же как и изготовляемые с их помощью продукты. При таком положении дел обмен является единственной общественной связью между производителями. Только вывозя свой продукт на рынок и обменивая его на другие, производитель получает возможность удовлетворять своим собственным потребностям. Таким образом продукты буржуазных производителей становятся товарами. Товары обмениваются один на другой в известной пропорции: за данное количество товара А можно получить такое-то количество товара Б, товара В, товара Д и т. д. Каждого производителя естественно интересует прежде и больше всего вопрос о том, какое именно количество других товаров может он получить в обмен за свой собственный, иначе сказать, какова меновая стоимость его товара. А когда в обществе, основанном на товарном производстве, появляются ученые, занимающиеся исследованием законов экономической жизни этого общества, то вопрос о меновой стоимости получает огромное теоретическое

значение, он становится одним из основных вопросов буржуазной политической экономии. Посмотрим же и мы, чем определяются меновые отношения товаров.

Иван трудится над производством мебели, Семен трудится над производством сукна. Они обмениваются своими продуктами. За стул Иван получает 1 аршин сукна. У нас является, следовательно, равенство: 1 стул = 1 аршину сукна. Что же показывает это равенство? В каком смысле и почему стул может равняться аршину сукна? Ясно, что в этом случае сравниваются между собою не физические свойства этих предметов, не потребительная стоимость стула с потребительною стоимостью сукна, а какие-то другие свойства, независимые от только что названных. Какие же именно? Стул есть продукт труда Ивана; сукно — продукт труда Семена. Если стул приравнивается к 1 или 2 аршинам сукна, то это значит, что труд, необходимый на производство стула, приравнивается к труду, необходимому на производство 1-го или 2-х аршин сукна. Следовательно, отношение стула к сукну выражает собою лишь отношение труда Ивана к труду Семена. Выражая это в более общей форме, можно сказать, что меновые отношения товаров выражают собою взаимные отношения людей (их производительных деятельностей) в общественном процессе производства. Теперь далее: каким образом труд мебельщика может быть сравниваем с трудом суконщика? Ведь это совершенно различные виды производительной деятельности. Что общего между ними? Общее между ними то, что и тот и другой вид производительной деятельности, при всех своих различиях, сводится в сущности к одному и тому же: к известному расходу человеческой силы, к известной работе мускулов и нервов. Следовательно, равенство: 1 стул = 1 аршину сукна показывает, что на приготовление стула потрачено столько же человеческой силы, сколько — на приготовление аршина сукна. Итак, меновые отношения товаров выражают взаимные общественные отношения их производителей, или, — как говорит Маркс, — "меновая стоимость есть известный общественный способ выражения труда, употребленного на какую-нибудь вещь". А это, очевидно, означает, что труд есть единственный источник меновой стоимости, и продолжительность его служит ее мерилом. Но это становится очевидным только тогда, когда мы смотрим на вопрос о меновой стоимости с точки зрения общественных отношений производителей. Если же мы отвлечемся от взаимных отношений людей и станем искать ключа к пониманию меновой стоимости в свойствах обмениваемых вещей, то необходимо придем к самым нелепым выводам. Этим и объясняется то обстоятельство, что о

меновой стоимости написано невероятнейшее количество всякого вздора: просто вздора, вздора педантического, вздора красноречивого, вздора наивного, вздора благонамеренного и даже вздора, окрашенного некоторою склонностью к потрясению основ, как мы это видим у Прудона. Впрочем, лучшим представителям науки в вопросе о меновой стоимости удалось выяснить, по крайней мере, количественную сторону дела. Рикардо решительнее и определеннее всех других высказал ту мысль, что величина меновой стоимости предмета определяется количеством труда, нужного на его производство. Приближался к этой мысли и Адам Смит, но его сбило с толку распределение продуктов в современном обществе. Он думал, что в первобытном обществе (in early and rude state of society) меновая стоимость продуктов определялась единственно количеством труда, затраченного на их производство, а с тех пор, как явились капиталисты и лендлорды, дело происходит иначе [83]. "Адам определяет стоимость товара заключающимся в нем рабочим временем, но относит действительное существование такого определения стоимости к доадамовским временам" [84]. Как бы там ни было, после Рикардо вопрос о величине меновой стоимости мог считаться хоть приблизительно решенным. Нападок на учение Рикардо о стоимости было много, но серьезных возражений не сделал никто, да, разумеется, никто и не мог сделать.

Вот, например, против определения величины стоимости количеством труда возражали иногда, что в таком случае, чем менее ловкости имеет производитель, тем большую стоимость получает его товар, потому что тем более времени употребит он на его приготовление. Но это, разумеется, чистейшая нелепость. "Стоимостиобразовательным трудом считается только общественно-необходимое рабочее время. Общественно-необходимое рабочее время есть время, требующееся для создания какой-нибудь потребительной стоимости с помощью наличных общественных нормальных условий производства и среднею общественною степенью искусства и напряженности труда. Например, после введения парового ткацкого станка в Англии сделалась, может быть, достаточной половина того труда, какой был прежде нужен для превращения данного количества пряжи в ткань. Хотя английский ручной ткач употреблял для этого превращения то же количество рабочего времени, как и прежде, но продукт его собственного рабочего часа стал представлять теперь только половину общественного рабочего часа и упал потому в своей стоимости наполовину в сравнении с прежним" [85].

Мы видим, что это недоразумение очень легко устранимо. Но определение стоимости трудом вело иногда к другим недоразумениям, разрешить которые несколько труднее. Некоторые писатели рассуждали так: стоимость товара определяется трудом, употребленным на его производство; рабочее время есть внутренняя мера стоимостей. Зачем же все товары измеряют свою стоимость в особом товаре, называемом деньгами? Почему они не обмениваются непосредственно один на другой по количеству затраченного на них рабочего времени? Не происходит ли это вследствие какой-нибудь ошибки, какого-нибудь злоупотребления? И если — да, то нельзя ли поправить эту ошибку, устранить это злоупотребление? При поверхностном взгляде на дело казалось, что — можно. Отсюда и выросли проекты "организации обмена", организации, которая должна была лишить деньги принадлежащей им теперь "привилегии". Но достаточно понять свойственные буржуазному порядку отношения производителей, чтобы видеть, до какой степени несостоятельны подобные проекты.

Возьмем хоть того же английского ручного ткача, о котором говорит Маркс в вышеприведенной выписке. Вследствие введения парового ткацкого станка продукт рабочего часа ткача стал представлять только половину общественного рабочего часа, а потому и упал в своей стоимости на половину. Каким же образом совершилось это приведение индивидуального труда ткача к норме общественно-необходимого рабочего времени? Было ли оно сознательным действием людей? Не было и не могло быть — при том отсутствии всякой планомерности в общественном производстве, которое свойственно буржуазным отношениям. В буржуазном обществе производители работают независимо один от другого, каждый из них трудится, как хочет, как может и как умеет, на свой собственный риск и по своему собственному усмотрению [86]. Поэтому и отношение труда каждого из них ко всему общественно-производительному механизму определяется на рынке, по выражению Маркса, за спиною людей, действием слепой экономической силы, называемой конкуренцией. Но это еще не все. Каждый производитель старается, разумеется, создать такой продукт, который был бы кому-нибудь нужен, который представлял бы собою общественную потребительную стоимость. Если продукт его не удовлетворяет этому условию, то он не будет товаром, а труд, затраченный на него, не будет "стоимостиобразовательным" трудом. Но буржуазные производители не знают и не могут точно знать общественных потребностей ни с количественной, ни даже с качественной их стороны. Из этого и проистекают все те многочисленные

опасности, которые угрожают продуктам буржуазных производителей на рынке. Может быть, продукт данного производителя "есть продукт нового рода труда, который намеревается удовлетворить какой-нибудь новой явившейся потребности или сам хочет вызвать новую потребность. Какое-нибудь занятие, может быть, вчера только бывшее одним из многих занятий одного и того же производителя товаров, сегодня отрывается от этого целого, обособляется и именно потому посылает свой частичный продукт, как самостоятельный товар, на рынок. Обстоятельства могут быть зрелы или не зрелы для этого процесса обособления. Продукт удовлетворяет сегодня общественной потребности. Завтра, может быть, он вполне или частью вытеснится сходным родом продукта" [87]. Конечно, есть такие продукты, которые всегда нужны обществу и которые Маркс называет привилегированными членами общественного разделения труда. Производители таких товаров не могут ошибиться относительно качественной стороны общественных потребностей. Но знают ли они количественную сторону их? Известно ли всем им вообще, какое количество их продуктов нужно обществу? Известно ли каждому производителю в отдельности, какое количество приготовлено другими производителями, его соперниками? Нет, неизвестно, а потому только случайно может выйти, что они произведут как раз столько продукта, сколько его было нужно; а часто, очень часто этого продукта окажется или больше, или меньше, чем надо. Положим, что его произвели больше, чем следует. Как отразится это обстоятельство на дальнейшей судьбе нашего продукта? Его цена упадет, и это покажет, что слишком большая доля всей суммы общественного рабочего времени потрачена в форме производства нашего продукта. "Действие будет то же самое, как если бы каждый производитель употребил на свой индивидуальный продукт рабочего времени более, чем это было необходимо по общественным условиям производства" [88]. Наказанные падением цены их продукта, производители постараются вперед лучше сообразоваться с размером удовлетворяемой ими общественной потребности; они должны будут позаботиться о том, чтобы на производство их продукта тратилась как раз та доля всей суммы общественного рабочего времени, какая должна тратиться на это при существующих обстоятельствах. Положим, что под влиянием горького опыта они произведут затем слишком мало продукта. Действие будет обратное только что указанному: цена продукта поднимется, а возвышение цены заставит их производить более, чем они произвели, или привлечет к их делу новых производителей.

Таким образом колебание цен указывает на анархическое состояние буржуазного производства; но в то же время оно является регулятором его, и притом единственным и необходимым регулятором. Если бы цены не колебались и если бы каждый отдельный производитель мог, без дальних околичностей, обменивать свой продукт на другие, сообразно тому количеству времени, какое на него затратил, то существование буржуазного общества сделалось бы совершенно невозможным: оно тотчас же пало бы жертвой самой невероятной путаницы в производстве.

Продукты могли бы непосредственно обмениваться на другие продукты по количеству времени, затраченного на их изготовление, только в том случае, если бы общественное производство было организовано и велось по определенному плану. Тогда труд каждого отдельного производителя всегда имел бы общественный характер, потому что всегда создавал бы только нужные для общества продукты, только "общественные потребительные стоимости". Тогда труд каждого из них непосредственно имел бы "стоимостиобразовательный" характер. Но дело в том, что тогда обмен товаров на рынке отошел бы в область предания. Как распределялись бы тогда продукты — это вопрос другой. Распределение их соответствовало бы "высоте исторического развития производителей". Но несомненно, что продукты не делались бы тогда товарами, в купле-продаже их на рынке не было бы ни смысла, ни надобности. Невозможно говорить об "организации обмена" в таком обществе, в котором обмена не существует. Ясно, стало быть, что все рассуждения об обмене продуктов без посредства денег так же неприменимы к подобному обществу, как несостоятельны они по отношению к современному буржуазному порядку.

Свойственные буржуазному порядку общественные отношения производителей возникли тогда, когда производительные силы были уже достаточно велики, чтобы сделать необходимым широкое разделение труда в обществе, но еще не были достаточно велики для того, чтобы сделать необходимым общественное присвоение производительных средств и соответствующую ему планомерную организацию производства. При буржуазном порядке труд планомерно организован только внутри мастерской, общественное же разделение труда является делом случая и слепой экономической необходимости. Буржуазные экономисты очень гордятся планомерной организацией труда в мастерской. Но, когда заходит речь об организации всего общественного труда, они с ужасом говорят, что такая организация превратила бы все

общество в одну большую мастерскую.

Буржуазный порядок вещей содействует развитию производительных сил в небывалой прежде степени. Теперь они уже так развиты, что им не соответствуют более буржуазные отношения производителей. Теперь все более и более сказывается необходимость общественного присвоения производительных средств, т. е. устранение самих буржуазных отношений. И чем более растут производительные силы, тем более созревают для погибели буржуазные отношения. Бывшие необходимыми на одной ступени развития производительных сил, буржуазные отношения сделаются невозможными на другой, более высокой.

Но мы должны вернуться к вопросу о стоимости и, чтобы покончить с ним, просим у читателя еще одну минуту внимания.

Цена товара есть только денежное выражение его стоимости. Против этого никто не станет спорить. Но, с другой стороны, товарные цены постоянно колеблются, и поэтому товары в своем обмене постоянно отступают от того закона стоимости, в силу которого они должны были бы обмениваться по количеству труда, затраченного на их производство. Колебание товарных цен показывает, что отношение единичного труда всякого данного производителя товаров ко всему общественно-производительному механизму постоянно изменяется; что удельный вес этого труда то приближается к нормальному, то отклоняется от него в ту или другую сторону. Мы уже знаем, что иначе и быть не может в буржуазном обществе. А зная это, мы без труда ответим на вопрос: каким образом проявляется закон меновой стоимости?

Он проявляется лишь посредством постоянных "переворотов", посредством постоянных отклонений от нормы, посредством своей собственной противоположности. "Частные работы, исполняемые независимо друг от друга, но в то же время всесторонне зависящие друг от друга (потому что они суть члены естественного разделения труда), постоянно приводятся к своей общественной относительной мере тем, что управляющий ими закон природы, — т. е. рабочее время, общественно-необходимое для производства их продуктов, — насильственно прорывается сквозь случайные и вечно колеблющиеся меновые отношения продуктов, подобно, напр., закону тяжести, когда кому-нибудь на голову обрушивается дом" [89]. "Закон, управляющий стоимостью товаров, определяет, сколько может данное общество издержать на производство каждого особенного рода товаров из всего того количества рабочего времени, которым оно может располагать. Но это постоянное стремление различных сфер производства к устойчивому равновесию проявляется лишь, как реакция против постоянного нарушения этого равновесия" [90]. Смешны, потому,

те экономисты, которые думают опровергнуть закон стоимости ссылкою на колебание цен, между тем как посредством колебания цен он именно и проявляется.

II.

Как же смотрит на стоимость Д. С. Милль, взгляды которого излагал и дополнял Н. Г. Чернышевский?

У Милля была большая склонность к соглашению совершенно не согласимых между собою понятий. Поэтому даже верно понятые им теории сочетались в его голове с другими, тоже, пожалуй, верно понятыми, но прямо противоположными им теориями. В результате получалось нечто совершенно непостижимое. С величайшим трудом глотаете вы эту логически невозможную микстуру и воочию видите, какой ужасный народ господа эклектики. Уж лучше твердо держаться ошибочных взглядов, чем стараться примирить ошибочные взгляды с верными. Если бы Милль твердо и последовательно держался какого-нибудь одного ошибочного учения о стоимости, то это было бы, конечно, плохо, но сравнительно легко поправимо. Усвоив его рассуждение, читатель имел бы хотя и ошибочный, но все-таки определенный взгляд на стоимость. Со временем он мог бы ознакомиться с другим, тоже определенным и вдобавок еще верным взглядом на нее. Сравнивая эти два взгляда, он, при доброй воле, без большого труда мог бы добраться до истины. Но представьте себе, что Милль преподносит своему читателю смесь, где сначала на первый план выступает ошибочная теория, потом эта ошибочная теория как будто несколько стушевывается: проглядывает что-то похожее на истину; в заключение делается попытка привести истину к одному знаменателю со вздором, и получается какое-то среднее учение, в котором верное окончательно испорчено ложным, а ложное возведено в квадрат незаконным сожительством с истиной. Разбирайтесь, как хотите, — вы никогда не поймете, с полной ясностью, в чем дело. Учась политической экономии по Миллю, вы ровно ничему не научитесь, хотя будете думать, что вы знакомы со всеми главнейшими взглядами на данный экономический вопрос, так как все главнейшие взгляды излагались перед вами. В учении о стоимости, может быть, яснее чем где-нибудь видно, как трудно было Миллю дойти до ясных и определенных взглядов на вещи.

Милль знал, что, по учению Рикардо, труд является единственным источником стоимости товаров. Он не мог совершенно игнорировать великого экономиста. Но в то же время

он, по складу своего ума, не мог и согласиться с ним всецело. Поэтому он постарался переделать его учение на свой лад. "Читатель заметит, — говорит он, — что Рикардо выражается так, как будто количество труда, которого стоит производство предмета и доставка его на рынок — единственная вещь, определяющая стоимость товара. Но издержки производства сводятся для ка-питалиста не к труду, а к рабочей плате, и количество труда остается одинаково при высокой и при низкой рабочей плате". Что же? Это показывает, что Рикардо ошибался? Нет, он не ошибался: следуют рассуждения, которые должны, по-видимому, защитить теорию Рикардо. Ну, так, стало быть, Рикардо прав? Да, он прав, но только в том смысле, что труд есть главный элемент стоимости, а кроме него есть и другие, второстепенные. В конце концов, Милль благополучно приходит к следующему положению: "Если оставить в стороне случайные элементы стоимости, то предметы, количество которых может возрастать неопределенно, естественным и постоянным образом обмениваются друг на друга по пропорции количества рабочей платы, какую надобно употребить на их производство, и количеству прибыли, какая должна быть получена капиталистами, выдающими эту плату". Здесь нет уже и следа учения Рикардо о стоимости; оно бесследно скрывается в тумане эклектизма, который позволяет относить прибыль предпринимателя к издержкам производства. Прибыль предпринимателя есть часть стоимости, созданной неоплаченным трудом работника. Зависит ли величина этой стоимости от ее распределения между работником и предпринимателем? Она так же мало зависит от него, как величина урожая зависит от раздела жатвы между землевладельцем и половником-арендатором, или размеры шкуры убитого медведя — от взаимных отношений между охотниками, принимавшими участие в облаве. Всякий понимает, что, как ни дели медвежью шкуру, она в целом не будет ни больше, ни меньше, чем она была прежде. Но когда заходит речь о величине стоимости, то экономистам начинает казаться, что она, — хоть "немного", хотя бы только "отчасти", — зависит от обмена или от распределения. В этом случае экономистов сбивает с толку коммерческая точка зрения единичного предпринимателя. Единичный предприниматель в своих расчетах, действительно, имеет в виду "не труд", т. е. не трату человеческой силы, а издержки производства (которые, заметим мимоходом, сводятся вовсе не к одной только заработной плате) и прибыль. Но ведь мало ли что имеет, мало ли чего не имеет в виду единичный предприниматель! Ведь вот по собственному замечанию Милля слово "богатство" имеет два

значения: "оно имеет один смысл, применяясь к имуществу отдельного человека, другой смысл, применяясь к имуществу нации или человеческого рода". Может быть, и выражение "издержки производства" имеет "один смысл" в применении к отдельному предпринимателю, а "другой смысл", применяясь "к нации"? И если, действительно, выражение это имеет два смысла, то какой именно смысл должен иметь в виду экономист, рассуждающий о wealth of nations? Единичный предприниматель может иметь в виду даже штрафы, которые позволят ему уменьшить его расходы на рабочую силу. Неужели нам придется и штрафы отнести к "случайным" (отрицательным) элементам стоимости? Этого до сих пор, насколько мы знаем, никто еще не сделал. Но мы не видим, почему бы не сделать этого тем экономистам, которые не могут расстаться с точкой зрения единичного предпринимателя.

Нам заметят, пожалуй, что Милль не так уже далеко расходился с Рикардо, как мы думаем. Сам Рикардо признавал, что стремление прибыли к одному уровню во всех предприятиях видоизменяет действие его закона стоимости. Называя прибыль "элементом" стоимости, Милль, может быть, только иначе выражал мысль своего учителя. Но это не так. Нельзя сказать, что Милль только иначе выразил взгляд Рикардо на противоречие двух экономических законов. Он существенно исказил этот взгляд. Рикардо видел, что закон равенства прибылей противоречит закону стоимости, и постарался разрешить, как умел, это противоречие. Но он не отказывался от своего взгляда на стоимость. Он понимал, что, отказавшись от этого взгляда, он лишил бы себя возможности выяснить природу и происхождение самой прибыли. Милль поступил как раз наоборот. Из столкновения закона стоимости с законом равенства прибылей он выкроил какой-то средний закон стоимости, который совершенно в ложном свете выставляет как природу стоимости, так и природу прибыли. Указанное Рикардо противоречие двух законов отразилось в голове Милля в виде путаницы двух понятий.

Но допустим, что Милль прав; положим, что предметы обмениваются "по пропорции количества рабочей платы… и количеству прибыли" и т. д. Как согласить с этим взглядом уверенность Милля в том, что "стоимость — явление относительное"? Почему же — "относительное"? Разве "издержки производства" (как понимает их Милль) не могут служить внутренней мерой стоимости? Прежде для производства данного продукта нужно было два рабочих дня, за которые предприниматель платил, положим, 2 рубля. Его прибыль равнялась *a* руб. Стоимость продукта, по Миллю, была 2 руб. + *a*

руб. Теперь для производства того же продукта нужен только один день. Если уровень заработной платы остался без перемены, то при его выделке он заплатит рабочим только один рубль. На этот рубль он уже не получит а руб. прибыли, а получит, положим, только Ґ *a*. Значит, стоимость его продукта будет теперь равна 1 руб. + 1/2 *a* руб. Ничего не зная о меновом отношении своего продукта к другим товарам, он видит, однако, что стоимость его упала на половину. И вы все-таки скажете, что она — "явление" совершенно относительное? Для этого нет никакого логического основания даже в ошибочных взглядах Милля.

Если бы законы буржуазного хозяйства имели самостоятельный интерес в глазах Н. Г. Чернышевского, то он, конечно, понял бы их гораздо лучше и гораздо глубже, чем понимал их Милль. По характеру своего ума он всегда был, как небо от земли, далек от эклектизма. При некотором внимании к вопросу, он легко увидел бы, как неосновательно учение Милля о стоимости. Но его, как мы уже знаем, почти исключительно интересовали вопросы будущего общественного устройства. Поэтому учение Милля казалось ему удовлетворительным, хотя и неполным. Он с удовольствием оттеняет свое согласие с английским экономистом. "В теории распределения встречали мы такие отделы, — говорит он, — которые достаточно разработаны основателями господствующей теории и у Милля изложены удовлетворительно. Еще больше мы найдем подобных отделов в теории обмена" Приводя те семнадцать; положений, в которых Милль резюмирует свое учение о стоимости, наш автор замечает, что все они совершенно верны, но что их нужно дополнить другими, не менее важными положениями. И вот как дополняет он выводы Милля:

"XVIII. Все предшествующие выводы относятся исключительно к меновой ценности [91]. Она отделяется от внутренней, когда товаром бывает человеческий труд. Но такое состояние вещей не выгодно ни для самого работника, ни для общества, при низком качестве наемного труда сравнительно с трудом на самого себя.

"XIX. Если же труд не считать товаром, то меновая ценность совпадает с внутреннею, и понятия запроса, снабжения, стоимости производства получают точнейший характер, возводясь прямо к основным элементам экономической деятельности, к потребностям человека. Размер снабжения тут определяется количеством производительных сил; размер запроса — интенсивностью надобности производителя в продукте; стоимость производства определяется прямо количеством труда. Уравнение запроса и снабжения получается через расчет о том, по какой пропорции должны быть распределены производительные

силы по разным занятиям, для наилучшего удовлетворения надобностей человека" [92].

В этих двух дополнительных тезисах Чернышевского содержится много вполне верных мыслей. Но верные мысли частью не вполне точно выражены в них, частью сопровождаются утопическими взглядами на предмет.

Читатель понимает, что именно хочет сказать Чернышевский словами: "если не считать труд товаром". Под этим неудачным выражением скрывается вполне верный взгляд на отличительные признаки современного хозяйства. Конечно, характер этого хозяйства не изменится от того, будем или не будем мы "считать" труд товаром. Но если бы труд действительно перестал быть товаром, то буржуазное общество сделалось бы немыслимым. Буржуазное общество основано на эксплуатации класса производителей классом присвоителей; людей, выносящих свою рабочую силу на рынок в виде товара — людьми, покупающими этот товар и употребляющими его на производство других товаров; короче, оно основано на эксплуатации пролетариата буржуазией. Хотя общество товаропроизводителей и не есть непременно капиталистическое общество, но полного развития своего товарный способ производства достигает только тогда, когда превращается в капиталистический способ, т. е. тогда, когда труд становится товаром. Поэтому и выводы буржуазных экономистов относятся почти исключительно к капиталистическому обществу, основанному на продаже и покупке труда. Вопрос о меновой стоимости товаров имеет значение только там, где продукты становятся товарами. Чернышевский понимает, что товарное производство не есть альфа и омега экономического развития, что оно не существовало на низших ступенях этого развития и что оно перестанет существовать на более высокой. А когда перестанет существовать товарное производство, то, действительно, в основу сознательно организованного народного хозяйства ляжет "расчет о том, по какой пропорции должны быть распределены производительные силы по разным занятиям, для наилучшего удовлетворения потребностей человека".

Это не подлежит сомнению. Но это не выясняет нам законов товарного обмена. Зная, что продукты не всегда делались и не всегда будут делаться товарами, мы еще не знаем, как происходит обмен их, когда они являются в виде товаров, или, как выражается Чернышевский, когда меновая стоимость отделяется от внутренней. Что же такое меновая стоимость? Хотя наш автор и признает относящийся к ней анализ Милля вполне удовлетворительным, но, может быть, он все-таки смотрит на нее

несколько иначе?

"Есть прием, посредством которого очень легко усвоить себе понятие меновой ценности, несмотря на его высокую отвлеченность, — говорит Чернышевский [93]. — Что такое цена вещи, это ясно для каждого. Теперь: цена вещи и есть ее меновая ценность, выраженная в денежном счете. Замените именованные числа рублей и копеек отвлеченными числами, проще сказать, отбросьте эти слова — рубль и копейка, оставьте только цифры, при которых они стоят, и вы будете иметь меновую ценность вещи. Положим, что в известное время в известном месте четверть пшеницы стоит 5 рублей, за рабочий день плотнику платится один рубль, за кубическую сажень березовых дров 15 рублей. Это цены. Отбросьте теперь слово рубль, и у вас останутся меновые ценности, состоящие в цифрах 5, 1, 15. Имея только эти цифры, вы уже будете рассматривать не то, сколько денег нужно на покупку известной вещи, а то, в какой пропорции одна вещь обменивается на другую. Понятие о деньгах отвлекает ваше внимание от того факта, что четверть пшеницы (5) обменивается на 5 рабочих дней плотника (1) и на одну третью часть кубической сажени березовых дров (15). А вот в этом самом отношении, в этой пропорции и заключается сущность дела. Меновая ценность вещи есть покупательная сила вещи, степень власти к приобретению других вещей взамен за эту вещь. При нынешнем устройстве общества меновая ценность вообще совпадает с ценою, потому очень долго эти два понятия смешивались не только практикой, а даже и теориею. Но наука должна стремиться к разложению всякого сложного понятия на основные. Мы видим, что понятие цены составляется из двух понятий: меновая ценность и деньги. Потому наука должна отдельно исследовать каждое из этих двух понятий" [94].

Мы видим отсюда, что для Чернышевского, как и для Милля, стоимость товара есть нечто совершенно относительное, или, иначе сказать, понятие о стоимости предмета совершенно совпадает для него с понятием об его относительной стоимости. Но это последнее понятие крайне бессодержательно. Оно не выясняет не только природы стоимости, но даже и ее величины. "Четверть пшеницы (5) обменивается на 5 рабочих дней плотника (1) или на одну третью часть кубической сажени березовых дров (15)… В этой пропорции и заключается сущность дела". Положим, что это так. Но откуда же берется эта пропорция? Почему четверть пшеницы обменивается на 5, а не на 3, не на 6, не на 10 рабочих дней плотника, не на две трети и не на одну восьмую часть кубической сажени березовых дров? Ответа на эти неизбежные вопросы Чернышевский ищет в "основном законе

ценности".

"Если количество известного предмета может быть увеличаемо по произволу, — говорит он, — меновая ценность его определяется уравнением снабжения и запроса, то есть меновая ценность этой вещи имеет такую величину, при которой снабжение и запрос равны друг другу… От увеличения ценности запрос уменьшается, а снабжение возрастает, от уменьшения ценности бывает противное. Потому, если при известной высоте ценности запрос будет больше снабжения, — ценность предмета станет возвышаться, пока снабжение увеличится, а запрос уменьшится настолько, что оба эти элемента сравняются. Если же, наоборот, снабжение будет больше запроса, тот же результат будет произведен принижением ценности. Таков основной закон ценности" [95].

Итак, меновая стоимость вещи имеет такую величину, при которой снабжение и запрос равны друг другу. Этот мнимый ответ есть в сущности не более, как выраженный в утвердительной форме вопрос о том, чем определяется величина стоимости, когда запрос покрывается снабжением. Чернышевский сам чувствует, что его "основной закон" еще ничего не говорит на этот счет, и потому он делает оговорки. По его словам, "прямым образом и с физическою необходимостью" основной закон стоимости "действует лишь в немногих товарах, количество которых вовсе не может увеличиваться. Но искусственным образом может быть подводим под его прямое действие всякий предмет при монополии, если монополист имеет возможность производить или продавать не все количество товара, какое мог бы производить или продавать, а лишь то количество, при котором товар дает ему наибольшую сумму чистой прибыли, за вычетом издержек производства. А все остальные товары подводятся под силу уравнения запроса и снабжения косвенным путем, посредством элемента, называемого стоимостью производства" [96].

Таким образом основной закон стоимости получает теперь другой вид. Теперь оказывается, что меновая стоимость предмета определяется издержками его производства. Это несколько ближе к истине, хотя все-таки далеко от нее. Но почему же наш автор прямо не обратился к издержкам производства, почему он предпочел подойти к ним окольной дорогой запроса и снабжения? Неужели он не замечал, что, делая этот обход, он отклоняется в сторону Ж. Б. Сэя, к которому всегда относился, — и разумеется с полным правом на это, — очень презрительно? Формулируя "основной закон ценности", Чернышевский более думал о будущем общественном устройстве, чем о существующих

ныне экономических отношениях. Он принимал в соображение исключительно то, что, будучи понят надлежащим образом, закон "уравнения запроса и снабжения" может лечь и ляжет в основу социалистического общества.

"Что такое запрос, и что такое снабжение? — спрашивает себя наш автор. — Запрос — это известная энергия человеческих побуждений к приобретению предмета, — отвечает он; снабжение — это известная энергия человеческих побуждений к производству предмета. Таким образом все сводится к одному общему знаменателю — к энергии человеческих побуждений. Вот мы и нашли коренную форму всякого экономического расчета; она заключается в человеческих побуждениях, наклонностях и потребностях. Сообразно этому анализу, уравнение запроса и снабжения обозначает ни больше, ни меньше, как тот факт, что сила побуждений к производству предмета бывает соразмерна силе побуждений к пользованию предметом. Чем сильнее у человека надобность в продукте или влечение к нему, тем сильнее человек и обращается к производству его. Только и всего. А этот факт известен каждому из ежедневного житейского опыта" [97].

По отношению к потребностям продукты производства разделяются Чернышевским на три разряда: 1) предметы первой потребности, 2) предметы комфорта и 3) предметы роскоши. Пока нет достаточного количества предметов необходимости, общество, держащееся правильного экономического расчета, не будет тратить своих производительных сил на предметы комфорта; пока нет достаточного количества предметов комфорта, не будут производиться предметы роскоши. Так установится необходимое соответствие между "силой побуждений к пользованию предметом" и "силой побуждений к его производству", т. е. Между запросом и снабжением. Рутинные политико-экономы тоже признают, что "основная пружина и коренная норма всех экономических явлений заключается в потребностях человека". С этой истины начинается каждый курс политической экономии. Но в рутинных курсах она не проникает дальше первого параграфа. "Наше дело только в том и состоит, — говорит о себе Чернышевский, — что мы не забываем этого основного принципа и стараемся возводить к нему каждый вопрос, между тем как рутинная школа совершенно забывает о нем, заменяя его по каждому частному вопросу какой-нибудь рутинною иллюзиею" [98].

Следовательно, уравнение запроса и снабжения потому является основным законом меновой стоимости, т. е., иначе сказать, одним из основных законов всего буржуазного хозяйства,

что в социалистическом обществе производство будет основываться на правильной классификации предметов и потребностей. Такой способ решения спорных теорий буржуазной экономии как нельзя лучше характеризует утопическую точку зрения Чернышевского.

Так же характерны для его утопического взгляда на вещи и все остальные рассуждения его о меновой стоимости. Ему кажется, что "по сущности дела меновая стоимость должна совпадать с внутреннею и отклоняется от нее только вследствие ошибочного признания труда за товар [99], которым труду никак не следует быть. Поэтому возможность отличать меновую ценность от внутренней свидетельствует только об экономической неудовлетворительности быта, в котором существует разность между ними. Теория должна смотреть на раздельность меновой ценности от внутренней точно так же, как смотрит на невольничество, монополию, протекционизм. Она может и должна изучать эти явления со всевозможною подробностью, но не должна забывать, что она тут описывает уклонения от естественного порядка. Она может находить, что устранение того или другого из этих феноменов экономической жизни потребует очень долгого времени и очень значительных усилий; но как бы далек ни представлялся срок излечения от той или другой экономической болезни, не должна же она не представлять, каково должно быть здоровое положение вещей. Точно так и мы говорим об отделении меновой ценности от внутренней, как о феномене болезненном, отвергаемом теориею… Скоро ли могут произойти в быте и привычках какой-нибудь нации такие перемены, после которых труд перестанет быть товаром и меновая ценность совпадет с внутреннею, — это вопрос о будущем, историю которого с обозначением годов мы не беремся рассказывать". — Само собою разумеется, что подобного рассказа ни от кого нельзя требовать. Но можно спросить себя, как же представлял себе Чернышевский "совпадение меновой ценности с внутренней"? Взятое в буквальном смысле слова, подобное совпадение совершенно невозможно, если под внутреннею ценностью продукта понимать то, что называется теперь потребительном его стоимостью: меновая стоимость хлеба никак не может "совпасть" с его питательными свойствами, меновая стоимость касторового масла не может совпасть с его способностью производить всем известные явления в желудочно-кишечной области. Но дело в том, что выражение "внутренняя ценность" употребляется Чернышевским очень неразборчиво. "Чтобы предмет имел меновую ценность, — говорит он, — нужно быть ему годным на известное употребление, — по мнению

покупателя. Никто ничего не дает за то, что ему ни для чего не пригодно. На языке политической экономии это выражается так: меновую ценность имеют только те предметы, которые имеют внутреннюю ценность" [100]. Здесь под внутреннею ценностью он понимает потребительную стоимость предмета. Но иногда он выражается совсем иначе, называя внутреннюю ценность стоимостью (т. е. издержками) производства [101]. Эту-то "стоимость производства" он и имеет в виду, говоря о совпадении меновой ценности с внутреннею в социалистическом обществе. И мы должны обратить на нее большое внимание, если хотим уяснить себе его экономические взгляды.

Как станут определять стоимость производства в будущем обществе, — показывает следующий примерный расчет:

"Предположим семейство, состоящее, например, из 20 человек, сумма труда которых равна труду 10 работников. Полагая в год по 300 рабочих дней, мы будем иметь 3.000 рабочих дней. Предположим, что все предметы необходимости подведены под следую-щие четыре разряда:

"1) Пища, переведенная в. счет на пшеницу; пшеницы нужно семейству в год 60 четвертей; это количество производится трудом 1.500 рабочих дней.

"2) Одежда, переведенная в счет на аршины сукна; его нужно в год 100 аршин; они добываются трудом 500 дней.

"3) Топливо, в кубических саженях дров; нужно 10 саженей, добываемых трудом 500 дней.

"4) Жилище с принадлежностями, переведенное в счет тысяч кирпича: нужно в год 5 тысяч, добываемых трудом 500 дней.

"Все 3.000 дней идут на эти предметы необходимости; предметов комфорта некогда производить; они не имеют никакой ценности, потому что не существуют. Угодно ли вам знать ценность предметов необходимости? Вы видите сами, как она определяется:

Четверть пшеницы стоит	(1500 :	60) --	25 раб.	дней
Аршин сукна	(500 :	100) --	5 "	"
Кубическая сажень дров	(500 :	10) --	50 "	"
Тысяча кирпича . . .	(500 :	5) --	100 "	"

"Предположим теперь, что, благодаря усовершенствованиям, предметы необходимости стали производиться количеством труда, меньшим прежнего на одну пятую долю. Из 3.000 рабочих дней на эти предметы стало нужно только 2.400; остальные 600 дней могут (и почему же теперь не должны?) употребляться на

предметы комфорта. Подведем их для краткости под один разряд хорошей мебели, переложенной в счет диванов, положим, что диван производится 60 днями работы; счет ценностей будет:

Четверть пшеницы 20
Аршин сукна. 4
Куб. саж. дров. 40
Тысяча кирпича. 80
Диван …. 60 " [102]

Ограничимся этим, не следя за Чернышевским в его определении стоимости производства предметов роскоши. Читатель и сам видит, чем будет она определяться: совершенно тем же, чем определяется стоимость производства всех других предметов, т. е. числом рабочих дней, количеством труда, которого требует их приготовление.

Так будет в социалистическом обществе. Но разве не так же происходит дело теперь? Разве "стоимость производства" предмета не сводится теперь, как всегда сводилась и как всегда будет сводиться, к количеству труда, нужного на выделку данного предмета? Нет, отвечает Чернышевский. Во-первых, в настоящее время стоимость производства "слагается из меновой ценности труда, употребленного на предмет, и прибыли на этот труд" [103]. А во-вторых, теперь вообще совершенно неизвестно, сколько именно труда требуется для выделки того или другого предмета. "Спросите кого хотите, никто не умеет сказать вам, сколько рабочих дней нужно, чтобы производить обильное снабжение всех серьезных надобностей для известного числа людей. Только по постройке жилищ делаются сметы подобного рода архитекторами, да и тут счет не доводится до конца: считается, сколько рабочих дней должны употребить на постройку дома каменщики, столяры, кровельщики, работники, прямо трудящиеся над этим домом, а какого количества работ стоит ремонт орудий, ими употребляемых, и производство материалов постройки, этого никто не скажет: кирпич, лес, железо вносятся в смету не количеством рабочих сил, каких стоили, а своею рыночною ценою; ремонт орудий не составляет особенной статьи, а без всякого расчета входит в оценку рабочей платы. Стало быть, и по постройке жилищ не подведен расчет способом, какого требует наука… А по удовлетворению других надобностей домашнего быта ни о чем подобном еще и не думал никто, ни из экономистов школы Адама Смита, ни из людей, имеющих прямое влияние на общественные дела" [104]. В социалистическом обществе, с одной стороны, будет точно узнано количество труда, необходимое на производство любого предмета, и таким образом

явится объективная возможность безошибочного определения стоимости производства. А с другой стороны, социалистическое общество не будет знать ни продажи труда на рынке, ни предпринимательской прибыли: там не будет предпринимателей. Следовательно, "остается только коренное понятие о количестве труда" [105].

Все это относится к стоимости производства. Посмотрим теперь, как повлияет ее точное определение на меновую стоимость продуктов.

Здесь читатель заметит, что, по нашим собственным словам, Чернышевский считал невозможным существование обмена в социалистическом обществе. Действительно, он несколько раз очень определенно высказывался на этот счет. Но мы думаем, что определенным выражениям у него соответствовали в этом случае не очень определенные представления.

В его реформаторских проектах производительною единицею является большая рабочая община, — фаланстер Фурье или ассоциации Р. Оуэна или Луи Блана, — работающая не для сбыта своих продуктов па рынке, а для удовлетворения своих собственных потребностей. Внутри общины нет обмена. Но обмен продолжает существовать между общинами. "Как не быть и зачем не быть между ними обмена? Ведь происходит же обмен продуктов и между целыми странами, — тем больше в нем надобности и удобства между отдельными провинциями, городами, селами… Теория требует, чтобы в каждой группе производителей главная масса продуктов производилась на внутреннее употребление самой этой группы; а если затем некоторая часть продуктов обменивается, это ничему не помешает, — напротив, может быть очень полезно" [106]. На каких же основаниях будет совершаться этот обмен? "Меновая ценность не является различною от внутренней, внутренняя ценность прямо превращается в меновую без всякого увеличения или уменьшения" [107]. Таким образом в обмене продуктов между общинами у Чернышевского выступает что-то вроде "valeur constituée" Прудона, известная книга которого не осталась, очевидно, без сильного влияния на него.

В каком неясном виде представлялось Чернышевскому "совпадение меновой ценности с внутреннею", показывают следующие строки:

"Если меновая ценность должна совпадать с внутреннею, а внутренняя измеряется потребностями человека, то нетрудно дойти до следующих выводов, — рассуждает он. — Соразмеряться между собою прямым образом могут только потребности однородные, — например, разные виды потребностей,

относящиеся к физическому благосостоянию организма. Потому должны иметь меновую ценность относительно друг друга предметы первой необходимости. Но не должны быть сравниваемы прямо между собою потребности совершенно разнородные. Например, как вы будете определять отношение между потребностью еды и потребностью чтения или между потребностями в обуви и в музыке? Потому и продукты, удовлетворяющие разнородным потребностям, прямо не должны иметь меновой ценности относительно друг друга. Во сколько раз меньше или больше, чем сапоги, нужна человеку скрипка? Во сколько раз меньше или больше, чем жилище, нужна ему бронза? Это вещи несоизмеримые прямым образом". Пополнив затем свою классификацию потребностей и заметив, что "с экономической точки зрения" они делятся на потребности материального благосостояния, потребности умственной деятельности и потребности эстетического наслаждения, Чернышевский продолжает: "Потребности эстетического наслаждения никак не могут уже и сами по себе идти в сравнение с потребностями материальною благосостояния. Наслаждаться чем-нибудь изящным удобно человеку лишь тогда, когда его материальные потребности удовлетворены. Выражаясь, быть может, слишком сурово, но совершенно верно, надобно сказать, что эстетическое наслаждение годится собственно лишь на то время, которого уже ни на что другое не способен употребить человек или по отсутствию всяких надобностей, или истощению сил предшествующим трудом; оно всегда бывает или отдыхом, или праздностью. Но отдых и праздность, конечно, не должны иметь меновой ценности. Потому не следует иметь ее и предметам эстетического наслаждения. Разумеется, мы очень хорошо знаем, что они имеют ее теперь: за вход в театр собирается плата, картина или статуя продается. Но мы говорим, что этим оскорбляется самая природа подобных вещей… Деятельность, производящая предметы эстетического наслаждения, не должна иметь никакого другого вознаграждения, кроме удовольствия, чувствуемого занимающимся ею человеком. О меновой ценности не должно быть тут никакого помина…". С такой же точки зрения рассматривается и умственная деятельность, деятельность ученого и деятельность учащегося: их труд не должен иметь меновой ценности. "Но есть умственная деятельность другого рода, составляющая не самонаслаждение, а жертву для занимающегося ею. Это деятельность педагогическая… Педагог — такой же чернорабочий, как землекоп или портной. Его труд должен иметь экономическую ценность" [108].

Все это, надо сознаться, довольно неясно. Мы уже знаем, что

"внутренняя ценность" измеряется не "потребностями человека", а количеством труда, нужным на изготовление предмета. Вышеприведенные выкладки Чернышевского не оставляют места ни малейшему сомнению на этот счет. Но предположим, на этот раз, что внутренняя ценность измеряется потребностями человека. С точки зрения потребностей нельзя решить, "во сколько раз меньше или больше, чем сапоги, нужна человеку скрипка". Но ведь скрипка есть продукт производства. На ее выделку, как и на выделку сапогов, нужно известное количество рабочего времени. Почему же скрипка "не должна иметь меновой ценности" относительно сапогов? Для этого может быть только одно основание: в социалистическом обществе не будет обмена, а следовательно, и труд, затраченный на производство предметов, не будет выражаться в виде их меновой стоимости. Это совершенно достаточное основание. Но его достаточно для того, чтобы ни один продукт не имел меновой стоимости "относительно" других, какому бы роду потребностей они ни удовлетворяли. У Чернышевского же выходит иначе: "должны иметь меновую ценность относительно друг друга предметы первой потребности", но не могут иметь ее предметы, удовлетворяющие разнородным потребностям. Как бы ни подразделялись "с экономической точки зрения" потребности, ясно, что раз зашла речь о том общественном устройстве, при котором предметы имеют меновую стоимость, то их меновые отношения должны определяться вовсе не характером потребностей, удовлетворяемых этими предметами. Говоря, что предметы, удовлетворяющие разнородным потребностям, не могут иметь "меновой ценности относительно друг друга", Чернышевский в сущности высказывает только свое неодобрение подобному явлению: ему не хотелось бы, чтобы оно имело место в социалистическом обществе. Но экономическая невозможность явления и нежелательность его для человека того или другого образа мыслей — совершенно различные вещи, очень часто, впрочем, смешиваемые социалистами-утопистами.

Вообще, только что приведенные рассуждения Чернышевского сводятся к тому, что так называемая духовная деятельность должна находить свое вознаграждение в самой себе, — и еще, пожалуй, к тому, что не следует думать о приятном, когда нет необходимого. Это, конечно, верно. Но, поясняя эту верную мысль, Чернышевский окончательно затемняет вопрос об экономических последствиях "совпадения меновой стоимости предметов с внутреннею".

Повторяем, "система экономических противоречий" Прудона не осталась без сильного влияния на взгляды нашего автора. Если

Адам Смит относил, по замечанию Маркса, определение стоимости трудом к доадамовским временам, то Чернышевский, вместе с Прудоном, относит его ко временам лучшего будущего. А между тем мы уже знаем, что это определение соответствует не более и не менее, как современной нам некрасивой буржуазной действительности. Чернышевскому казалось невероятным, чтобы труд мог быть единственным источником стоимости в обществе предпринимателей, не заботящихся ни о чем, кроме прибыли, и обращающихся с "трудом" [109], как с простым товаром. Он говорил, как мы знаем, что количество труда, необходимое на приготовление продуктов, никому не известно в буржуазном обществе {Мы не возразили на это, полагая, что читатель и сам увидит ошибку Чернышевского. Во избежание недоразумений сделаем, однако, здесь несколько замечаний. Что экономисты и "люди, имеющие прямое влияние на общественные дела", не знают, "сколько рабочих дней нужно, чтобы производить обильное снабжение всех серьезных надобностей для известного числа людей" — это очень вероятно, но это и совершенно понятно: им нет необходимости знать это; однако каждый рабочий, каждый мастер, каждый директор фабрики или завода, если не каждый фабрикант и заводчик, хорошо знают, какое среднее количество времени нужно для выделки единицы продукта, производящегося в их мастерской. Они могут не иметь подобных сведений относительно материалов, обрабатываемых у них, или орудий труда, употребляемых ими в дело, но производители этих материалов и этих орудий хорошо осведомлены на этот счет. Таким образом, если вся сумма труда, употребленного на данный продукт, и неизвестна, то хорошо известны отдельные слагаемые, т. е. количества труда, прибавляемые к продукту на каждой ступени его производства. Прядильщику известно, во сколько времени можно приготовить фунт пряжи, ткачу известно, во сколько времени можно соткать ее, портной знает, сколько рабочих дней нужно ему, чтобы сделать из данной материи данный костюм и прочее. Сбывая свою пряжу ткачу, прядильщик должен принимать в соображение лишь то слагаемое, то количество труда, которое он сам прибавил к продукту, до остальных ему нет никакого дела.

Мы говорили, правда, что труд отдельного производителя может и не быть средним, общественно-необходимым, трудом. Но это решается конкуренцией: если X тратит на приготовление своего товара вдвое больше времени, чем нужно по общественным условиям производства, то соперничество других производителей того же товара тотчас же покажет ему, как сильно он отстал "от века". Замечательно, что разбираемую нами мысль Чернышевский

высказал именно в статье о конкуренции. Его внимание было поглощено соображениями о том, что производство возможно было бы и без конкуренции. Критикуя конкуренцию с утопической точки зрения, т. е. оттеняя ее невыгодные для общества последствия и вовсе не затрагивая вопроса об ее историческом происхождении и значении, Чернышевский, естественно, проглядел важнейшую сторону дела: ту роль, которую играет конкуренция в деле приведения меновой стоимости товаров к норме общественно-необходимого рабочего времени. Одной этой ошибки было бы достаточно, чтобы спутать все его экономические взгляды.

Заметим здесь также, что то соображение его, по которому меновая стоимость не может определяться количеством труда, нужным на производство каждой данной вещи (потому что это количество никому не известно теперь в точности), напоминает подобное же соображение Родбертуса. Убежденный доводами этого последнего, один немецкий архитектор решился исправить этот важный недостаток буржуазного общества и принялся высчитывать среднюю производительность труда рабочих, занимающихся строительным делом (каменщиков, плотников, столяров и т. д.). Нет надобности прибавлять, что эта затея архитектора-родбертусианца не имела никаких серьезных последствий.}.

Кроме того, Чернышевского сбивали еще и колебания товарных цен. Он знал, что "цена вещи именно и есть ее меновая стоимость, выраженная в деньгах". Но он знал также и то, что цены постоянно колеблются, и притом каждый производитель всеми правдами и неправдами старается получить за свой товар как можно больше, не стесняясь соображениями о так называемой "законной прибыли". Это, с одной стороны, заставило нашего автора признать, по примеру Милля, стоимость "явлением относительным", а с другой, — дало ему новый повод для нападок на буржуазное общество. "Чтобы оценка продукта делалась по его стоимости, — замечает он, — для этого нужно, чтобы некому было выигрывать от оценки предмета выше его стоимости, т. е. опять нужно, чтобы потребитель сам был и производителем. А при нынешнем экономическом устройстве это чистая невозможность". Та самая конкуренция, которая в действительности приводит товары к норме рабочего времени, кажется Чернышевскому главным препятствием, не позволяющим стоимости определяться трудом [110]. По его мнению, "коренной недостаток соперничества — тот, что нормою расчета берет оно не сущность дела, а внешнюю принадлежность его, не стоимость, а цену" [111]. Выясняя различие взглядов на стоимость,

свойственных Рикардо, с одной стороны, и А. Смиту и Мальтусу — с другой, Милль делает очень справедливое замечание: "Когда Рикардо и другие политико-экономы говорят, что стоимость вещи определяется количеством труда, они говорят не о том количестве труда, за какое обменивается вещь, а о том количестве, какое нужно на ее производство… Но, когда Адам Смит и Мальтус говорят, что труд — мера стоимости, они разумеют не тот труд, каким была или может быть сделана вещь, а то количество труда, какое обменивается или покупается за эту вещь". Чернышевский прибавляет к этому, что Адам Смит и Мальтус искали в труде "верного мерила не меновой, а внутренней ценности, или стоимости производства", и таким образом приближались "к истинному смыслу вопроса, который понят был их последователями, как вопрос о меновой ценности" [112]. Выходит, что Рикардо только вследствие плохого понимания им Адама Смита и Мальтуса искал причинной связи между трудом и меновою стоимостью! Это уже совершенно неправильное понимание истории политической экономии.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Деньги и денежное хозяйство

Мы подробно изложили и разобрали учение Чернышевского о стоимости, сопоставив его с современными научными взглядами на тот же предмет. Мы потому считали нужным сделать это, что учение о стоимости по справедливости считается краеугольным камнем науки о законах буржуазного хозяйства. Кто ошибается относительно этой простейшей категории буржуазной экономии, тот необходимо должен ошибаться и относительно других ее категории. Меновая стоимость выражает самое простое отношение производителей в общественном процессе производства. Другие категории, как, например, капитал, выражают собою уже гораздо более сложные и притом производные отношения. Поэтому правильное понимание их невозможно без правильного понимания стоимости. Смотря на буржуазную политическую экономию глазами утописта, — т. е. не находя нужным внимательно и хладнокровно изучать экономические законы буржуазного общества, которое представляет собою лишь печальное уклонение от "естественного порядка" и "противоречит всем требованиям теории". — Чернышевский, естественно, приходил к ошибочным выводам как насчет ныне существующих экономических отношений, так и насчет судьбы, ожидающей их в будущем. Сбивчивость его соображений о совпадении "меновой ценности с внутреннею" в

социалистическом обществе является логическим следствием ошибочности посылок, лежащих в основе этих соображений. В своей критике буржуазной действительности он счел возможным взять за исходную точку политико-экономические теории Милля. Неудивительно, что в своих планах относительно будущего он сблизился с Прудоном. Его учение о стоимости служит поразительным доказательством этого сближения. В других отделах своего главного экономического сочинения Чернышевский, несомненно, имеет очень мало общего с Прудоном. Но и там коренной недостаток той точки зрения, с которой он смотрел на общественную жизнь, очень сильно дает себя чувствовать. И там он, недостаточно критикуя свои посылки, приходит к ошибочным, утопическим заключениям.

Мы не станем долго останавливаться на его учении о "покупательной силе", т. е. о деньгах. Читатель, хоть немного знакомый с политической экономией, и сам понимает, что, разделяя взгляд Милля на меновую стоимость, Чернышевский ни в каком случае не мог пойти дальше его в уяснении экономической роли денег. И действительно, он согласен с Миллем во всем, что тот говорит о деньгах. Милль, подобно другим буржуазным экономистам, говорит о них много несообразностей. Чернышевский не замечает этих несообразностей. Он думает, что вопрос о деньгах почти совершенно исчерпан буржуазной экономией. "Господствующая теория очень ясно выставляет затруднительность прямого обмена продукта на продукт и необходимость такого общего орудия обмена всяких продуктов, каким являются деньги. Она превосходно объясняет свойства, нужные для хорошего орудия обменов, или для денег, и очень основательно доказывает, что лучше всех других продуктов и предметов годятся для исполнения роли денег благородные металлы. Все, что они говорили об этих сторонах вопроса, мы предполагаем известным читателю или предоставляем узнать из обыкновенных курсов политической экономии" [113].

При таком взгляде на деньги, нашему автору оставалась открытой только одна область критики, т. е. опять-таки утопическая критика буржуазных отношений: оттенение невыгодных сторон денежного хозяйства, указание несоответствия этого хозяйства с требованием "теории". На этот счет он делает несколько весьма метких замечаний, которые, однако, ввиду неудовлетворительности общего понятия его о деньгах, не могли не сопровождаться совершенно ошибочными соображениями. Он справедливо утверждает, что при естественном хозяйстве, по самой логике отношений, невозможно

такое экономическое подчинение человека человеку, какое возникает при денежном. По своему обыкновению он поясняет свою мысль примером.

"Представим себе, — говорит он, — отношение между человеком очень богатым и человеком очень зажиточным при так называемом, в противоположность "денежному", — "естественном" хозяйстве, в котором деньги не играют важной роли. В табунах киргиза Абдаллы 10.000 голов; у киргиза Юсуфа весь табун состоит из 100 голов. Какую экономическую власть над Юсуфом может иметь Абдалла своим богатством, если они кочуют в такой части степи, куда еще не проникло денежное хозяйство? Предположив Юсуфа человеком обыкновенного характера, мы не можем не сказать, что он не имеет ни малейшего расчета становиться в экономическую зависимость от своего богатого соплеменника. Что такое, особенно нужное для него, может дать ему Абдалла? Лошадей и кумыса у Юсуфа довольно, он не нуждается в этих предметах. А кроме них, ничего не может предложить ему Абдалла. Предположим теперь, что введено в этом племени денежное хозяйство. Пусть лошадь круглым счетом стоит 10 руб. Абдалла располагает суммою имущества на 100 тысяч. Юсуф имеет его только на 1 тысячу рублей. Каждому из ежедневного опыта известно, каково при денежном хозяйстве отношение небогатого человека к соседу, который в 100 раз богаче его. Это отношение зависимое. Из чего возникает зависимость? Из того самого, что деньги служат всеобщею покупательного силою, дают возможность удовлетворения не одной какой-нибудь потребности, как дает продукт, прямо служащий для потребления, а общую возможность удовлетворения всяким вообще наклонностям и желаниям. Человек может чувствовать, что ему нет нужды в том или другом предмете, что этот известный предмет был бы для него лишний: но он никак не может чувствовать уверенности, что ему никогда не понадобится ничего. А чтобы не желать денег, надобно иметь такую уверенность, и не только за настоящее или ближайшее будущее, а за всю свою будущность" [114]. Развивая далее эту мысль, Чернышевский говорит, что "только в деньгах приобретается человеком экономический источник совершенно праздного наслаждения". Это совершенно верно, в том смысле, что развитие денежного хозяйства, т. е. товарного производства, необходимо приводит на известной ступени своего развития к превращению в товар рабочей силы и тем самым к эксплуатации одного класса другим. Но экономические свойства "денег" означают не что иное, как взаимные отношения людей в общественном процессе производства. Между тем, Чернышевский,

по-видимому, склонен объяснять их свойствами того *материала,* из которого делаются деньги. Он рассуждает так: "Почти все предметы, прямо служащие для потребления, очень недолговечны. Значительным исключением из этого правила можно назвать только благородные металлы, материал, из которого делаются деньги, от которых довольно мало отличаются и золотые или серебряные слитки, хотя бы и не имели штемпеля, делающего их деньгами в строгом смысле слова (Чернышевский хочет сказать — монетой). Остальные важные в экономическом отношении предметы не имеют свойства долго сохраняться сами собой, — это свойство принадлежит только деньгам. Есть многочисленный разряд продуктов, которые не могут быть далее нескольких лет сбережены никакою заботливостью. Сюда принадлежит хлеб, во всех земледельческих странах самый главный по своей ценности продукт. Эти продукты сохраняются только воспроизведением, то есть посредством переработки продукта такою же массою труда, какая была нужна на первое производство. Другие предметы долго остаются целы, — например, каменные здания, — но требуют ремонта, который за несколько лет в сложности составит сумму труда, равную той массе его, которая требовалась на первоначальное производство предмета. Без этого они быстро теряют годность и ценность. Таким образом, говоря вообще, деньги отличаются от других продуктов тем, что продолжают существовать сами собой, без надобности в дальнейшем производительном труде, дают полное увольнение от него человеку, их имеющему, — между тем как сохранение всех других предметов требует продолжения работы, которою они первоначально приобретены".

Почти излишне доказывать неудовлетворительность подобных объяснений. Читатель, вероятно, видит их и без наших указаний. Он видит, что Чернышевский повторяет здесь ошибку многих и многих экономистов, приписывавших *вещам* те свойства, которые в действительности принадлежат *общественным отношениям.* Значение денег так же мало определяется физическими свойствами благородных металлов, как меновая стоимость товара определяется его вещественными особенностями. Физические свойства благородных металлов делают лишь то, что они оказываются более подходящими для роли денег. Точно так же подчинение человека человеку, экономическое порабощение одного класса другим происходит при денежном хозяйстве не оттого, что деньги не требуют для своего сохранения никакого труда со стороны своего обладателя, а оттого, что развитое товарное производство приводит, как мы уже сказали это выше, к превращению рабочей силы в товар, к ее

продаже и покупке, т. е. к ее *эксплуатации.* Только в силу такой эксплуатации деньги и могут служить "источником праздного наслаждения" не только для отдельных лиц, но и для целых классов; и, наоборот, без посредства такой эксплуатации деньги могли бы явиться источником "праздного наслаждения" разве лишь в том случае, когда производителю, трудом целой жизни, удалось бы скопить себе "малую толику" под старость. Но Чернышевский, конечно, имеет в виду не этого рода "праздное наслаждение".

Очень характерно для Чернышевского, державшегося утилитарного учение о нравственности, то обстоятельство, что, нападая на денежное хозяйство, он опасается, как бы не заподозрили его в излишней сентиментальности. "В признании принципа личной пользы за основное побуждение и за последнюю норму всей экономической деятельности человека мы не уступим ни одному писателю школы Адама Смита и идем гораздо дальше большинства рутинных политико-экономистов, которым предоставляем толковать вслед за моралистами о необходимости идеальных стремлений, — оговаривается он… — Мы находим, что расчет личной пользы есть один из главных руководителей человека, и рассуждаем только о том, что наиболее сообразно с личной выгодой человека, и желаем лишь того, чтобы люди стали расчетливее… Порядок дел, при котором над всеми господствуют деньги, мы находим неудовлетворительным не потому, что люди при нем своекорыстны, — они всегда будут да и должны больше всего думать о своей личной выгоде, — а просто потому, что при нем слишком плохо удовлетворяется потребность материального благосостояния у огромного большинства людей, что для этого огромного большинства он не выгоден" [115].

Каким именно экономическим порядком должно быть заменено, по мнению Чернышевского, невыгодное для большинства денежное хозяйство — это мы уже сказали, излагая его учение о стоимости. Больших размеров хозяйственная единица, собственными силами удовлетворяющая большую часть своих потребностей и обменивающая лишь незначительное меньшинство своих продуктов — таков идеал нашего автора. Но обмен этого меньшинства продуктов между отдельными хозяйственными единицами должен вестись посредством денег. "Иначе вестись ему слишком неудобно, и само по себе употребление денег или равнозначительных им общих знаков ценности — дело очень полезное. Восставать против них значит то же самое, что вооружаться против носовых платков, которые сами по себе тоже вещь превосходная и необходимая в порядочном обществе для дела, к которому предназначены. Мы

вовсе не желаем возвратить людей к тому состоянию, когда они обходились без посредства носового платка. Но совершенно иной вопрос то, хорошая ли вещь насморк, при котором роль носового платка становится очень велика. Мы полагаем, что человеку следует лечиться от насморка, и что когда насморк пройдет, носовой платок потеряет сам собою ту излишнюю занимательность, в которой виноват вовсе не он сам" [116]. Таким образом, по учению Чернышевского, социалистическая организация производства не устранит денег, а только сузит роль их, отводя ей надлежащие пределы.

Заметим еще мимоходом, что Чернышевский разделял то, долго господствовавшее между буржуазными экономистами, мнение, по которому цены товаров определяются количеством обращающихся в стране денег. В действительности происходит как раз наоборот: количество находящихся в обращении денег определяется ценами товаров. Но это уже слишком специальный вопрос, и мы не можем его здесь рассматривать [117].

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — Капитал

Перейдем теперь к учению Чернышевского о *капитале.*

Что такое капитал? Капитал есть общественное отношение производства, — говорит Маркс, — приводя таким ответом буржуазных экономистов в величайшее и, на этот раз, искреннейшее удивление {"Общественные отношения, при которых люди занимаются производством, *общественные отношения производства изменяются, следовательно, преобразуются с изменением и развитием материальных средств производства, производительных сил. Отношения производства, в своей совокупности, образуют то, что называют общественными отношениями, обществом, образуют общество, находящееся на определенной ступени исторического развития,* — общество с своеобразным, отличительным характером. *Античное* общество, *феодальное* общество, *буржуазное* общество представляют собою такие совокупности отношений производства, — совокупности, каждая из которых вместе с тем отмечает особенную ступень развития в истории человечества.

"*Капитал* есть также общественное отношение производства, а именно, *буржуазное отношение производства,* отношение производства в буржуазном обществе.

"Известное количество товаров, меновых стоимостей, превращается в капитал, выступая в качестве самостоятельной общественной *силы,* т. е. силы *одной части общества,* сохраняясь

и умножаясь при этом путем *обмена на непосредственную живую рабочую силу. Существование класса, не имеющего ничего, кроме способности к труду, есть необходимое предварительное условие существования капитала.*

"Только господство накопленного, прошедшего, овеществленного труда над непосредственным, живым трудом превращает накопленный труд в капитал.

"Отличительный признак капитала заключается не в том, что накопленный труд служит живому труду средством для нового производства, — а в том, что живой труд служит накопленному труду средством для сохранения и увеличения его меновой стоимости". *Карл Маркс,* "Наемный труд и капитал", стр. 29 и 31.}. Каким образом капитал может быть общественным отношением? — недоумевают они. Капитал, это — или деньги, или товар, или вообще средства производства; капитал, это — вещь, или вещи, а вовсе не "отношение". Буржуазные экономисты не хотят даже и спорить против такого определения, как спорят они, например, против определения величины стоимости товара количеством труда, нужного для его производства; они просто пожимают плечами, убежденные в том, что знаменитый социалист просто хотел поразить своих читателей неожиданным парадоксом {*Примечание к настоящему изданию* (изд. "Шиповник"). До какой степени трудно современным экономистам усвоить себе взгляд на капитал, как на общественное отношение производства, показывает недавно вышедшее в свет интересное сочинение д-ра *Вальтера Якоби:* "Der Streit um den Kapitalsbegriff, seine geschichtliche Entwicklung und Versuche seiner Lösung", Iena 1908. См. особенно стр. 115, на которой г. В. Якоби предлагает свое собственное определение капитала. Это определение грешит именно тем, что упускает из виду производственные отношения, сообщающие известного рода *"имуществу физического или юридического лица"* способность приносить *"доход"* своему обладателю. Г. В. Якоби слона-то и не замечает. Но надо сознаться, что заметить "слона" значило бы погрешить против "хорошего тона".}.

Посмотрим, однако, что означает этот мнимый парадокс.

Каковы признаки "капитала"? Всем известно, что самым главным отличительным признаком его служит его способность приносить "доход", периодически обрастать прибылью, подобно тому, как овца обрастает шерстью. Когда "капитал" не приносит дохода, он считается "мертвым капиталом", капиталом, утратившим душу, не соответствующим более своему истинному понятию. Спрашивается теперь, указывают ли буржуазные экономисты этот главный признак капитала, когда говорят, что

капитал есть накопленный труд, служащий средством для нового производства? Нисколько; а между тем это определение — самое распространенное и наименее несостоятельное. Говорим, *наименее несостоятельное* — потому что состоятельным признать его невозможно: хорошо определение, упускающее из виду главный отличительный признак предмета! Но если это определение несостоятельно и если мы знаем, почему оно несостоятельно, то какое же новое определение поставим мы на его место? Заметим прежде всего следующее в высшей степени важное обстоятельство: "капитал остается таким же капиталом, возьмем ли мы вместо шерсти хлопчатую бумагу, вместо ржи — рис, вместо железных дорог — пароходы, если только хлопчатая бумага, рис, пароходы, это тело капитала, имеют ту же меновую стоимость… что и шерсть, рожь, железная дорога, в которых он воплощался прежде. Тело капитала может постоянно изменяться, не причиняя этим ему самому ни малейшего изменения" [118]. И оно не только *может* измениться, не причиняя ему изменения, оно *должно* изменяться для того, чтобы капитал оставался капиталом. В процессе производства капитал является сначала в виде определенной суммы денег, которая и составляет первую фазу его превращений. Деньги употребляются затем на покупку необходимых для дела производительных средств; эти производительные средства составляют вторую фазу его превращений. Когда производительные средства находятся в наличности, начинается производство, в результате которого являются известные продукты — третья фаза превращения: продукты вывозятся на рынок для продажи, а с рынка капитал возвращается в карман своего обладателя опять в виде денег. Все эти метаморфозы так же необходимы для существования капитала, как для жизни животного необходим обмен веществ в его организме. И в каждой новой фазе своего превращения капитал остается таким же капиталом, каким был во всех предыдущих. Чем объясняется это его свойство? Тем, что всякий капитал представляет собою *известную меновую стоимость,* а для меновой стоимости решительно все равно, какой товар является ее носителем: "том сочинений Проперция и 8 унций нюхательного табаку могут быть одинаковой меновою стоимостью, независимо от различия потребительных стоимостей табака и элегий" [119]. — Но если всякий капитал непременно представляет собою меновую стоимость, то не всякая меновая стоимость есть капитал, так как не всякая меновая стоимость имеет способность обрастать "доходом". *Капитал есть меновая стоимость, ода-ренная способностью к совершенно, невидимому, произвольному возрастанию.* Входя в процесс производства в виде данной

величины *A,* она выходит из него в виде новой величины *A + a.* Мы уже говорили, что это свойство капитала служит его главным отличительным признаком. Теперь нам нужно посмотреть, откуда оно берется.

Мы уже знаем, что меновая стоимость есть определенная общественная форма труда, употребленного на производство вещи. Меновые отношения товаров выражают собою взаимные отношения производителей в общественном процессе производства. Но если это так, то и капитал, эта меновая стоимость, получившая новое свойство возрастания, не может представлять собою что-либо другое, кроме общественных отношений производителей. Все его свойства, как и все свойства меновой стоимости, должны вытекать из особенностей, характеризующих отношения производителей в процессе производства. В этом смысле Маркс и говорит, что "капитал есть общественное отношение производства", и именно отношение, свойственное буржуазному обществу, "буржуазное отношение производства".

Чем характеризуется это отношение? Тем, что в обмен на средства к жизни рабочий продает предпринимателю свою рабочую силу, которая и употребляет в дело запасенные ее покупателем производительные средства. Приобретенная предпринимателем рабочая сила составляет его собственность совершенно так же, как пряжа, машина или какое-нибудь другое "средство производства". Рабочий поступает под власть капитала. "Накопленный", овеществленный в средствах к жизни, труд господствует, таким образом, над живым трудом работника, и только это обстоятельство делает накопленный труд капиталом. С какою целью покупает капиталист рабочую силу — известно всем и каждому. В процессе производства работник создает своим трудом стоимость, превышающую расход на покупку его рабочей силы или, — что то же, — стоимость его заработной платы. Разность между новой, созданной работником, стоимостью и стоимостью его заработной платы называется *прибавочной стоимостью.* Эта прибавочная стоимость принадлежит предпринимателю и является источником того "дохода", который капитал приносит своему обладателю. Отсюда еще раз видно, что свойства капитала обусловливаются в действительности отношениями *людей,* а не какими-нибудь таинственными свойствами *вещей,* употребляемых на дальнейшее производство и называемых в политической экономии производительными средствами. Мы видим также, что будто бы парадоксальное определение: "капитал есть общественное отношение производства" — вполне соответствует фактическому положению

дела в буржуазном обществе. Если оно удивляет буржуазных экономистов, то это происходит единственно потому, что они, благодаря своим предрассудкам, не умеют пли не хотят проникнуть в сущность капиталистических отношений. Человеку, считающему буржуазный порядок самым лучшим и наиболее соответствующим "человеческой природе", не легко придти к тому заключению, что приятные и похвальные свойства капитала проистекают в сущности из эксплуатации одного общественного класса другим, эксплуатации ни мало не похвальной и вовсе не приятной, по крайней мере для одного из этих классов. Так объясняются нападки буржуазных экономистов на данное Марксом определение капитала с точки зрения того, что Кант называл психологической логикой. С точки же зрения формальной логики, они объясняются просто тем, что буржуазные экономисты видели только поверхность общественно-экономической жизни, а потому почти никогда не были в состоянии до конца проследить взаимную связь общественно-экономических явлений [120]. Так, например, мы уже знаем, что Милль считал возможным и даже нужным рассматривать "законы производства" совершенно независимо от общественных отношений производителей. Но при таком приеме исследования ему не оставалось ничего другого, как довольствоваться совершенно ничего не определяющим определением капитала. Он и довольствовался им. По его словам, "капиталом называются те продукты труда, которые служат средствами для нового производства". Всегда ли, служащие для нового производства, продукты труда создают *прибавочную стоимость* — это было не ясно для Милля, да и самый вопрос об этом едва ли становился перед ним, что называется, ребром.

Рассматривая "капитал" независимо от общественных отношений производителей, мы, как и следовало ожидать, не открываем в нем решительно ни одного из тех неприятных свойств, с которыми приходится считаться пролетариату. В качестве "продуктов, употребляемых для дальнейшего производства", капитал есть нечто не только совершенно безобидное, но и необходимое, полезное, "вечное" и "разумное". С этой точки зрения всякие нападки на "капитал" оказываются вопиющею нелепостью. Чернышевский придерживался Миллевского определения капитала. Но в то же время он, как социалист, не мог не признавать правомерности борьбы наемного труда с капиталом. Это было противоречием с его стороны, — противоречием, которое он разрешал таким образом: "Отсталая школа неистощима в панегириках капиталу, — говорит он, — прогрессивная — в проклятиях ему. Но читатель без труда

заметит, что тут идет дело не о том элементе производства, который называется капиталом в строгой науке, а собственно только о роли, какую при известных общественных условиях играют капиталисты" [121]. Это напоминает то различие, какое Родбертус пытался установить между капиталом "самим по себе" (Kapital an sich) и "историческим капиталом". Мы уже знаем, что в действительности характер и свойство капитала определяются именно тою экономическою ролью, которую капиталисты играют при общественных условиях, делающих их капиталистами. Отвлекаться от этой роли их значит добровольно закрывать глаза на природу капитала. Чернышевский и сам, по-видимому, чувствует, что принятое им определение капитала не вполне удовлетворительно. Ему хотелось бы заменить слово "капитал" каким-нибудь другим словом. Если он не сделал этого, то лишь потому, что не знал наперед, будет ли его книга "иметь в публике такое значение, чтобы могла утвердить право гражданства за столь большими нововведениями, как замена слова капитал каким-нибудь другим термином" [122]. Мы не знаем, конечно, какой новый термин употребил бы Чернышевский, но уже из предыдущего видно, что этот новый термин вряд ли выражал бы общественную природу капитала. Он нужен был нашему автору именно затем, чтобы придать более подходящее выражение для той абстракции, с помощью которой буржуазные экономисты сводили понятие о капитале к понятию о средствах производства.

ГЛАВА ПЯТАЯ
— Заработная плата

I.

Следуя за Миллем в его определении капитала, Чернышевский следовал за ним и в учении о *заработной плате.* Он совершенно согласен с тем, что "рабочая плата главным образом зависит от отношения между запросом и предложением труда или, как часто говорят, между населением и капиталом". Читатель, несколько знакомый с историей экономической литературы, знает, какую роль играло в ней это учение, известное под именем учения о "фонде рабочей платы". Оно было главным доводом в пользу солидарности интересов труда с интересами капитала. Когда растет капитал, растет также и фонд рабочей платы, т. е., та часть капитала, которая употребляется на наем рабочих, следовательно, увеличивается и спрос на труд, повышается заработная плата, — говорили вульгарные

экономисты, — поэтому быстрый рост капитала составляет необходимейшее условие благосостояния рабочего класса. Все, что вредит первому, приносит страшный вред второму. Сознающий свои интересы рабочий класс должен, именно ради этих интересов, заботливо охранять интересы капиталистов. Борьба рабочих против капитала, даже такая борьба, которая, чуждаясь разрушительных утопий, ограничивается требованием более высокой платы, есть вредная для самих рабочих и притом совершенно безнадежная борьба. К повышению заработной платы может повести только увеличение ее национального фонда, а подобного увеличения не достигнешь, конечно, посредством стачек и союзов сопротивления, которые, вредя капиталу, приводят к совершенно противоположному результату: уменьшают фонд рабочей платы и тем вызывают ее понижение. Развивая эту тему далее, можно, пожалуй, доказывать, что рабочий в интересах своего класса должен довольствоваться как можно более низкой заработной платой. В самом деле, положим, что в известной стране фонд рабочей платы равняется *а* рублей. Если в этой стране средняя плата работника равняется *б* рублям, то число рабочих, могущих найти занятие, будет равно *а: б.* Ясно, что если бы уменьшился знаменатель этой дроби, т. е. средняя заработная плата, — то возросла бы представляемая этой дробью величина, т. е. число нанимаемых рабочих. Если средняя заработная плата уменьшится на половину, то число могущих найти занятие рабочих станет вдвое больше прежнего. Следовательно, довольствуясь низкой платой, рабочий приносит пользу прежде всего своему же брату — рабочему. Возрастающее сознание интересов своего класса и товарищеские чувства должны были бы приводить рабочего именно к большей и большей умеренности относительно заработной платы. Если на деле происходит противное, то в этом виноваты разрушительные учения, к сожалению, имеющие слишком большое влияние на рабочий класс. — К таким выводам почти вплотную подходил сладкоречивый Бастиа.

II.

Учение о фонде рабочей платы придумано для укрощения рабочих. Каким образом Чернышевский мог не видеть его очевидной тенденциозности? Как мог он, при своем сильном логическом уме, не заметить свойственных этому учению вопиющих софизмов и бесстыдных натяжек? Ответ на эти вопросы заключается в указанном уже нами отношении социалистов-

утопистов к буржуазной экономии. Раз навсегда произнеся приговор тому порядку, при котором труд является на рынке в виде товара, Чернышевский мало интересовался законами, определяющими цену этого товара. Силы его логики были направлены исключительно на доказательство того положения, что труд не должен быть товаром [123].

Да и трудно было обнаружить несостоятельность буржуазного учения о "фонде рабочей платы" с помощью свойственного нашему автору "гипотетического" метода. Примерные арифметические выкладки являются главным орудием этого метода. Такие выкладки по необходимости донельзя отвлеченны. Делая их, мы отвлекаемся от всех тех реальных условий, при которых совершается изучаемое явление. А в них-то и все дело. Само учение о "фонде рабочей платы" есть не что иное, как приведенная в защиту буржуазии примерная арифметическая выкладка. Арифметика не раскроет софизмов этого учения. Наоборот, ошибочность его бросается в глаза тотчас же, как мы покидаем область отвлеченного мышления и спускаемся на почву действительности. Теория рабочего фонда говорит, что спрос на груд, а следовательно, и высота рабочей платы, зависит от размеров этого фонда. С отвлеченной точки зрения это кажется совершенно бесспорным. Но посмотрим на реальное положение дел. В данной стране в данное время существует известное количество средств производства, для приведения которых в действие нужно известное количество труда; какое именно — это зависит от степени развития техники: чем производительнее труд, тем меньшее количество его требуется для исполнения данной работы. Но при данном, определенном состоянии техники количество это является совершенно определенным. Спрашивается теперь, можно ли, при этих данных условиях, считать определенным то число рабочих, которые потребуются для употребления в дело средств производства? Вовсе нет, общее число их будет зависеть от того количества труда, какое удастся выжать предпринимателям из каждого из них в отдельности: чем больше труда будет выжато из каждого отдельного работника, тем меньшее число рабочих нужно будет для употребления в дело "капитала"; и наоборот, с уменьшением количества труда, выжимаемого из каждого отдельного работника, станет возрастать число "спрашиваемых" капиталистами "рук". А чем же определяется количество труда, выжимаемое из каждого отдельного работника? Само собою понятно, что оно определяется интенсивностью труда и продолжительностью рабочего дня. Вот мы и видим, что в действительности интересы труда вовсе не так солидарны с интересами капитала, как в этом

старались уверить нас буржуазные экономисты. Капиталисту выгоднее увеличивать продолжительность рабочего дня и интенсивность труда (конечно, не его собственного, а труда его работников), а рабочим выгоднее сокращать рабочий день и уменьшать интенсивность своего труда: поступая таким образом, они увеличивают спрос на "руки", а увеличение спроса на "руки" ведет к повышению заработной платы. Тут нет никакой солидарности интересов труда с интересами капитала, а *есть* прямая противоположность этих интересов, — противоположность, более или менее ясно сознаваемая обеими сторонами, совершенно независимо от каких бы то ни было "разрушительных" учений. Стараясь выжать возможно большее количество труда из своих рабочих, т. е. уменьшить потребное для них количество "рук", капиталисты вовсе не стесняются мыслью о том, что "национальный фонд рабочей платы" представляет собою, по словам их адвокатов, экономистов, определенную сумму стоимостей, которая должна будто бы целиком пойти на покупку рабочей силы. Капиталисты не боятся "сбережений", могущих остаться у них в случае сокращения издержек на рабочие "руки". Они умеют найти надлежащее употребление таким "сбережениям". Они или проживают их, или употребляют на расширение своих "предприятий", или, наконец, помещают их за границей.

Можно, пожалуй, заметить, что расширение национального производства и вывоз капиталов за границу выгодны для рабочего класса в том смысле, что они, здесь или там, увеличивают спрос на рабочую силу, Это так. Но соответствуют ли эти выводы тому, что сулит пролетариату теория "фонда рабочей платы"? Для расширения национального производства нужен не один только *переменный* капитал, т. е. капитал, употребляемый на покупку рабочей силы. Для этого нужен еще *постоянный* капитал, нужны средства производства. Таким образом, в случае расширения производства, "сбережения", сделанные капиталистами на счет заработной платы, вовсе не возвращаются целиком рабочему классу. Они возвращаются ему лишь частью, и притом частью, все более и более уменьшающеюся по мере того, как успехи техники увеличивают относительно размеры постоянного капитала. Притом же для расширения производства есть источник и помимо увеличения степени эксплуатации работника. Высшим классам стоит только сократить свое непроизводительное потребление, чтобы найти новые средства для расширения производства. Читатель знает, что называется теперь в науке прибавочной стоимостью. Это продукт неоплаченного труда работника, продукт того труда, который выжимается из него после того, как

он уже отработал стоимость своей заработной платы. Чем больше относительная величина прибавочной стоимости, тем меньше относительная величина заработной платы, и наоборот. Теория "фонда рабочей платы" ничего не говорит об этом обстоятельстве, а между тем всякому понятно, что оно сводит на нет всю эту теорию. Оно показывает, что "фонд рабочей платы" вовсе не есть неизменная величина. Его размеры зависят от относительных размеров прибавочной стоимости: увеличьте ее относительные размеры — уменьшится заработная плата, и следовательно, и ее "фонд"; уменьшите эти размеры — "фонд" увеличится вследствие увеличения заработной платы. Таким образом мнимый "естественный закон" буржуазной экономии опять-таки сводится к вопросу о степени эксплуатации рабочего.

Так представляется дело, когда мы смотрим на него с точки зрения реальных отношений между производителями и присвоителями, между пролетариатом и буржуазией. С этой точки зрения самый вопрос о продаже рабочей силы является совершенно не в том свете, в каком он являлся Чернышевскому. Чернышевский думал, что рабочая сила несоизмерима с теми продуктами, на которые она обменивается на рынке. Но это не так. Рабочая сила имеет меновую стоимость, как и всякий другой товар. Уже буржуазные экономисты выяснили, чем определяется стоимость товара — рабочей силы. Она определяется количеством труда, "необходимого для поддержания жизни рабочего и для продолжения его расы". Меновая стоимость рабочей силы совершенно соизмерима с меновою стоимостью всякого другого товара. Конечно, не много хорошего в том порядке вещей, при котором рабочая сила человека фигурирует на рынке рядом с другими товарами. Но, осуждая его, мы не должны же закрывать глаза перед его законами. Отрицая соизмеримость рабочей силы с другими товарами, мы ничего не изменяем в фактическом положении обладателя этой силы, но зато затрудняем себе *понимание* этого положения. Чернышевский желал, чтобы рабочая сила перестала быть товаром. Это было очень хорошо с его стороны. Но, движимый своим похвальным желанием, он стал отрицать факт, с констатирования которого должно начинаться научное исследование вопроса о заработной плате. Это было уже большой ошибкой с его стороны. Но в этой ошибке нет ничего удивительного. Его понятия о стоимости вообще были, как мы видели, запутанны, а вследствие этого ему естественно было ошибаться и по вопросу о стоимости рабочей силы в частности. Достаточно сказать, что он, вместе с Миллем, считал возможным излагать учение о заработной плате *прежде и независимо* от учения о стоимости.

III

Когда религиозного человека преследуют тяжелые и постоянные неудачи, он утешает себя надеждой на будущую жизнь. "Потерплю здесь на земле, бог вознаградит меня на небе", — рассуждает религиозный человек, и действительно терпит столько, сколько не смог бы вытерпеть, лишившись своей веры. Но примиряющая с тяжелой судьбой вера в будущую жизнь возможна и без религии. По крайней мере, так думали вульгарные экономисты. Когда эксплуатируемые и угнетаемые капиталистами рабочие начинали обнаруживать недовольство своей участью, они рассказывали им чудные сказки о *"прогрессе"*. По смыслу этих сказок выходило, что рабочему классу стоит только потерпеть немного в настоящем, чтобы обеспечить себе блестящее положение в будущем. "Прогресс непременно вознаградит их за все невзгоды, если они не замедлят его шествия революционными попытками. В своих панегириках прогрессу вульгарные экономисты часто и охотно ссылались на историю. Сравнивая прошлое с настоящим, они, разумеется, находили, что "прогресс" уже чрезвычайно много сделал для улучшения участи рабочего класса. Такой вывод предназначался для укрепления веры пролетариата в будущие благодеяния прогресса. Во всем этом было много шарлатанства, но не мало и простой наивности. Ограниченные, но признательные буржуа, веря во всемогущество своего благодетеля — прогресса, серьезно думали, что он может осчастливить рабочих, не нарушая интересов буржуазии.

Чернышевский хорошо знал, как мало цены имеют эти успокоительные рассуждения. Его не обманывали ни наивность, ни софистика вульгарных экономистов. Он подсмеивался над их оптимистическими уверениями и старался доказать, что, при нынешнем устройстве общества, экономический прогресс старается понизить заработную плату. И он, разумеется, совершенно прав в этом случае; но доказательства, приводимые им в пользу своего мнения, как всегда, слишком отвлеченны и потому не всегда убедительны.

Напомнив читателю, что, по словам Милля, высота заработной платы зависит, между прочим, от привычек и требований рабочего класса, он спрашивает, чем же определяется уровень требований и привычек работника? "Весь избыток этого уровня над мерою физической необходимости порождается только уважением работника к самому себе, чувством собственного достоинства в нем, как мы знаем из разбора законов

заработной платы у самого Милля. В чем же состоит результат экономического прогресса относительно общественного положения работников при нынешнем устройстве, отделяющем ренту и прибыль от рабочей платы? Коренная черта экономического прогресса с технической стороны — расширение производительной единицы по мере успехов сочетания труда; все отрасли производства постепенно принимают фабричный размер… От этого, соразмерно экономическому прогрессу, увеличивается пропорция наемных работников и уменьшается пропорция самостоятельных хозяев в рабочих классах. Теперь спрашиваем, существует ли резкое различие по степени самоуважения между человеком самостоятельным и человеком зависимым, между хозяином и наемником? Да, это различие очень резко, сомневаться в этом не может никто, наблюдавший жизнь. Если человек получает 1.000 руб. дохода от собственного хозяйства, он чувствует себя чем-то гораздо более почтенным и высоким, чем когда получает такую же плату от какого-нибудь хозяина… Стало быть, если мы возьмем работника-хозяина и другого работника, получающего такой же доход от рабочей платы, то в работнике-хозяине (при равенстве других условий) непременно будет больше самоуважения. А если так, плата наемного работника не удержится на уровне дохода, получаемого работником-хозяином: она сравнительно с ним упадет в пропорции, равной тому, насколько меньше находится самоуважение в наемном работнике… Но этою первою степенью не кончается дело… Надобно только начать падать отдельному ли человеку, целому ли сословию, в нравственных ли качествах, в благосостоянии ли, все равно, — раз начавшись, движение к худшему развивается уже само собою, как, наоборот, само собою развивается и всякое движение к лучшему, когда раз начнется. Раз научившись уменьшать свою требовательность, утрачивать часть своего самоуважения, рабочий класс пойдет путем уступок и понижения до последней крайности и остановится не раньше, как дошедши до невыносимого стеснения, если другие влияния не удержат его на этой скользкой дороге. Раз поставленный в необходимость привыкать к положению худшему прежнего, при замене своего независимого хозяйского дохода рабочею платою, работник легко допускает и дальнейшее уменьшение своего дохода посредством постепенного понижения рабочей платы" [124].

Эта аргументация кажется нам самым лучшим образчиком свойственных Чернышевскому отвлеченных приемов исследования; она представляет собою, так сказать, торжество "гипотетического метода". Все рассуждение здесь сводится к

одному силлогизму: величина рабочей платы зависит от степени самоуважения работника; работник начинает меньше уважать себя, когда становится *наемным* работником; следовательно, по мере развития системы наемного труда, рабочая плата понижается. Меньшая посылка этого силлогизма доходит до крайних пределов отвлечения ото всех конкретных условий жизни и развития привычек различных общественных слоев. Во-первых, верно ли то, что самостоятельный ремесленник имеет больше самоуважения, чем наемный работник? Может быть, это и верно для тех ступеней развития системы наемного труда, когда в работнике еще отсутствует классовое сознание. Но нельзя сказать, что в странах с развитым капиталистическим производством пролетарий отличается меньшим самоуважением, чем мелкий буржуа или мелкий ремесленник. Мы думаем даже, что в первом, наоборот, гораздо больше самоуважения, чем в этих последних. Но мы не будем спорить об этом. Допустим, что проникнутый сознанием своей экономической самостоятельности мелкий буржуа проявляет больше почтительности к своей собственной особе, чем пролетарий. Но спрашивается, — это почтительное отношение к самому себе, которое вовсе еще не есть истинное самоуважение, как влияет оно на уровень потребностей мелкого буржуа, на его standard of life? Свойственное мелкому буржуа "самоуважение" ведет его к "бережливости", к урезыванию расходов на себя, к скопидомству. Такое скопидомство может, конечно, поддерживать до известной степени его экономическую самостоятельность, но оно ни в каком случае не может поднимать уровень его потребностей. У мелкого буржуа есть только одна потребность: — потребность отстоять свое существование в виде мелкого буржуа. Ради удовлетворения этой потребности он готов дойти хоть до китайского отсутствия всяких других потребностей. Напротив, пролетарий, не имея в огромнейшем большинстве случаев ни малейшей надежды стать самостоятельным хозяином, самим положением своим избавляется от одного из главнейших побуждений к скаредности. При равном заработке пролетарий, наверное, будет позволять себе больше расходов, чем мелкий буржуа, т. е. будет отличаться более высоким уровнем потребностей. Вот почему мелкий буржуа всегда склонен упрекать пролетария в расточительности. Если бы с развитием капитализма работнику угрожала единственно только упоминаемая Чернышевским потеря самоуважения, то можно было бы с уверенностью сказать, что его заработная плата совершенно обеспечена от понижения. Но дело в том, что при развитии капитализма его ожидают другие беды, имеющие гораздо более реальный и, притом, не психологический, а

экономический характер. Мы сейчас увидим, какие это беды, но прежде обратим внимание на устанавливаемую Чернышевским пропорцию: "плата наемного работника не удержится на уровне дохода, получаемого работником-хозяином: она сравнительно с ним упадет в пропорции, равной тому, насколько меньше находится самоуважения в наемном работнике". Два члена этой пропорции целиком относятся к области психологии, другие два — к области экономии. Не говоря уже о том, что нельзя устанавливать математические отношения между психологическими явлениями, с одной стороны, и экономическими — с другой, мы заметим, что "самоуважение" и все подобные, — в сущности очень сложные и до бесконечности видоизменяющиеся чувства, — как для своего возникновения, так и для своего практического проявления, предполагают ту или иную общественную среду, которую и должна анатомировать политическая экономия. Взятые сами по себе, такие чувства еще ровно ничего не объясняют.

Если бы Чернышевский, не довольствуясь психологическими абстракциями, с бóльшим вниманием отнесся к законам экономического развития того общества, в котором труд является товаром, он увидел бы, что стремление заработной платы к понижению может быть доказано помимо всяких ссылок на самоуважение наемного рабочего. Он сам говорит, что "коренная черта экономического прогресса с технической стороны — расширение производительной единицы по мере успехов сочетания труда", и что "все отрасли производства постепенно принимают фабричный размер". Этой стороны дела ему и следовало держаться. Ему надо было посмотреть, как влияет постоянное развитие крупной промышленности на положение наемного труда в обществе. Ему следовало спросить себя, не ведет ли "экономический прогресс" к замене так называемого квалифицированного труда простым; более или менее обученного работника почти совершенно необученным; мужского труда — женским; взрослых людей — детьми. Ему следовало, далее, принять в соображение, что техническая сторона прогресса изменяет отношение между простоянным и переменным капиталом (при чем этот последний относительно уменьшается); что машина вытесняет рабочего, что в этом заключается новая причина уменьшения спроса на рабочую силу, а следовательно, — и рабочей платы. Оставаясь таким образом на твердой почве самых бесспорных экономических явлений, он не только придал бы более веса своим выводам о заработной плате, но и приобрел бы новые, в высшей степени ценные данные для оценки учения Мальтуса, которому он возражал очень остроумно, но в то же

время слишком отвлеченно. Впрочем, об этом после.

Каковы бы ни были соображения, с помощью которых Чернышевский доказывал, что при современном порядке вещей экономический прогресс ведет к падению заработной платы, — соображения эти казались ему неопровержимыми. И все-таки он не решался утверждать, что заработная плата действительно понизилась в течение последних веков. "История экономического быта разработана еще так плохо, — говорит он, — что трудно сказать, какие заключения более соответствуют истине: толки ли рутинных экономистов о великолепном возвышении заработной платы за последние столетия, или представляемые учеными прогрессивной школы доказательства, что средний уровень ее теперь ниже, чем был за сто, двести, за триста лет". Что же мешало ему согласиться с учеными прогрессивной (т. е. социалистической) школы, той школы, к которой он сам несомненно принадлежал, и с выводами которой, по-видимому, вполне совпадал его собственный вывод? От решительного заключения удерживало его здесь общее понятие о прогрессе, очень характерное для представителя русской передовой мысли шестидесятых годов.

Мы уже отметили сходство его взгляда на капитал со взглядом Родбертуса, различавшего "капитал сам по себе" от "исторического капитала". Нечто подобное этому различению существовало и в понятиях Чернышевского о прогрессе. Он как будто различал *прогресс "сам по себе"* от экономического прогресса. Если экономический прогресс стремится понизить заработную плату, то прогресс "сам по себе" препятствует осуществлению этого стремления. Вот как говорит об этом Чернышевский. "Может быть, что, несмотря на указываемую нами тенденцию, благосостояние рабочего класса в цивилизованных странах не понизилось, а возвысилось в последние столетия, благодаря силе обстоятельств, противодействующих понижающей тенденции. Ведь эти обстоятельства есть, и притом очень могущественные. Коренной источник их — развитие знания и улучшение понятий, цивилизация или общий дух того самого прогресса, который в одном из своих частных применений к быту, устроенному на несоответствующих ему основаниях, обнаруживает тенденцию, совершенно противоположную своему собственному существу. Благодаря прогрессу понятий и знаний законы и учреждения улучшаются. Ведь теперь закон не дозволяет никому и с нищим-бездельником обращаться так, как обращался в XVI веке каждый привилегированный с зажиточным поселянином-собственником. Подозрительного бродягу допрашивают во Франции или в Англии не в таких грубых

выражениях, как триста — двести лет назад говорили там с почтенным простолюдином, которому еще оказывали честь этим разговором. Мы не бог знает как восхищаемся этим и тому подобными успехами гуманности, потому что они все еще слишком малы и медленны. А все-таки, можно ли, не можно ли довольствоваться ими, они очевидны. Уважение к человеку, просто как человеку, независимо от его общественной роли, все-таки развивается законодательными реформами и смягчением нравов от распространения образованности… Мужчины менее прежнего грубо обращаются с женщинами, родители с детьми. А муж, который не бьет жену, уважает и самого себя больше, чем тот, который бьет ее. Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастает человеком, более сознающим свое достоинство. Таким образом, если работник, теряя положение хозяина, теряет часть уважения к себе, основанного на его общественной роли, и потому его доход подвергается влиянию понижающей тенденции, то, вообще говоря, с каждым поколением развивается в нем уважение к себе, как просто к человеку, и соразмерно тому обнаруживается тенденция прогресса возвышать его доход" [125].

IV.

Итак, экономический прогресс понижает заработную плату, а цивилизация, прогресс вообще (прогресс "сам по себе") возвышает ее. Чернышевский не знает, какая из этих двух сил преобладала в новой истории Европы, и потому не решается сказать, выше или ниже теперь заработная плата, чем была сто — двести — триста лет тому назад. Мы заметили. что взгляд Чернышевского на прогресс вообще очень характерен для него, как для представителя русской передовой мысли шестидесятых годов. И действительно, никогда у нас не говорили о прогрессе так много, как в шестидесятых годах, и никогда наши понятия о нем не были так отвлеченны, как в то время. Или нет, будем справедливее по отношению к великой эпохе шестидесятых годов; выразимся точнее: в то время у нас более, чем когда-либо, говорили о прогрессе, и потому тогда более, чем когда-либо, выступала наружу неясность наших о нем понятий. Чернышевский был самым замечательным литературным деятелем этой эпохи, вследствие чего у него заметнее и достоинства, и недостатки свойственного ей миросозерцания. Что такое прогресс вообще, независимый от экономического развития общества? "Развитие знаний и улучшение понятий", — говорит Чернышевский;

цивилизация смягчает нравы работника, смягчение нравов поднимает его самоуважение, а развитие в нем самоуважения ведет к возвышению его дохода. О самоуважении, как о факторе повышения заработной платы, мы скажем то же, что сказали о нем, как о факторе ее понижения. Для деятельного проявления и даже для самого существования его необходима общественная среда. Самоуважение не сдвинет с места индивидуального организма без посредства мускулов и нервов. Как бы ни "уважал" себя человек, но если он разбит параличом, он не в состоянии владеть пораженными органами. Неужели "самоуважение", не могущее сдвинуть руку человека без помощи известного анатомического аппарата, может влиять на его общественное положение без посредства общественных отношений или, — в данном случае, — *на его "доход"* без посредства экономических отношений? А если оно не может обойтись без их посредства, то о них необходимо было упомянуть, говоря о влиянии прогресса вообще на заработную плату. Правда, рассуждая об этих отношениях, мы вышли бы из области названного прогресса и вошли бы в область прогресса экономического. А так как мы знаем, что прогресс этого последнего рода стремится понизить заработную плату, то мы уже не могли бы ограничиться голым противоречием себе: не могли бы сказать, что он в то же самое время стремится ее возвысить. Подобное противоречие свело бы к нулю все наше исследование. Конечно, мы могли бы заметить, что, понижая заработную плату, экономический прогресс в то же самое время создает для рабочих возможность бороться против этого понижения путем рабочих союзов, стачек и путем классовой политической борьбы, налагающей некоторую узду на "бережливость" капиталистов. Это было бы вполне согласно с действительностью; но, говоря все это, мы оставались бы на почве фактических отношений и, вероятно, совсем позабыли бы о всяких психологических абстракциях, что, в свою очередь, было бы, конечно, очень полезно для нашего исследования.

Чернышевский утверждает, что современный общественный быт устроен на основаниях, не соответствующих прогрессу, но что, тем не менее, прогресс совершается вопреки этому быту. Не подлежит никакому сомнению, что буржуазный строй во многих и многих отношениях служит теперь препятствием прогрессу. Но он не всегда препятствовал ему, да и теперь еще, препятствуя ему в известных отношениях, он обусловливает его собою в других. Если бы это было иначе, если бы буржуазный строй всегда и во всех смыслах препятствовал прогрессу, то откуда же взялся бы и самый прогресс? Мы уже знаем ответ Чернышевского: прогресс создается развитием знаний. Но ведь есть же соответствие между

общественной жизнью и общественной мыслью, между устройством общества и состоянием знаний в нем. В обществе, совершенно не способствующем прогрессу, невозможен и прогресс знаний, невозможно и "улучшение понятий", невозможно и смягчение нравов. Вообще, наши понятия о прогрессе до тех пор останутся отвлеченными и, следовательно, ошибочными и односторонними, пока мы не научимся искать источника его во внутреннем развитии общественных отношений. Чернышевский же рассматривал прогресс, как особую историческую силу, независимую от логики общественных отношений и даже способную действовать вопреки ей. Русские люди не только долго не могли отделаться от этой ошибки, но усугубили ее разными "субъективными" соображениями о ходе прогресса. Вот почему и было бы совсем несправедливо приписывать эпохе шестидесятых годов наиболее ошибочные взгляды на этот счет.

Нам могут заметить, однако, что, выставляя самоуважение главной причиной изменения заработной платы в ту или другую сторону, Чернышевский не совсем упускал из виду и экономические отношения капиталистического общества. Вот, напр., что говорит он о влиянии промышленного прогресса на положение работника как потребителя. "При промышленном прогрессе мануфактурные продукты имеют тенденцию понижаться в ценности сравнительно с земледельческими продуктами: иначе сказать, ценность земледельческого продукта имеет тенденцию возвышаться сравнительно с одеждою и тому подобными предметами [126]. От дороговизны пищи развивается в простолюдине наклонность как можно больше урезывать свое продовольствие, и со временем эта скупость к самому себе относительно пищи доходит до чрезмерной степени. При известном промышленном развитии страны работники держат себя, можно сказать, впроголодь". Тут, действительно, мы имеем дело не с психологическими абстракциями. Тут указан чрезвычайно важный экономический факт, который, несомненно, сыграл очень важную роль в истории заработной платы. Но вместо того, чтобы проследить влияние этого факта на заработную плату в связи с другими экономическими условиями существования работника, наш автор тотчас же покидает почву экономии, чтобы опять перейти к психологическим соображениям. "Кто раз отказался от изобилия в пище, скоро привыкнет подчиняться нужде и во всех других отношениях, — рассуждает он. — Общий уровень его требований понизится. Сам себя он станет считать и общество будет считать его человеком, который должен урезывать все свои расходы, которому нужно только как бы то ни было жить, а не чтобы жить прилично. А мы

знаем из Милля, что размер рабочей платы определяется степенью требовательности работника. С понижением ее падает и рабочая плата. Этот теоретический вывод совершенно соответствует фактам" [127].

Он в самом деле совершенно соответствует им: заработная плата рабочих действительно постепенно падает, но причина ее падения лежит не там, где указывал ее Чернышевский. Она падает вовсе не потому, что рабочий считает себя человеком, осужденным на низкий заработок, а потому, что экономическая необходимость вынуждает его довольствоваться низким заработком. Если бы все дело сводилось к тому, кем и чем считает себя рабочий, то плата его наверное была бы очень высока, так как он во всяком случае считает себя человеком, которому нужно по возможности дорого продать свою рабочую силу. Все его горе заключается лишь в том, что по мере развития капитализма у него все менее и менее оказывается этой возможности. И происходит это по чисто экономическим, а не по психологическим причинам.

Некоторые из этих причин мы уже перечислили выше. Мы сказали, что промышленный прогресс ведет к *относительному* уменьшению переменного капитала, т. е. капитала, употребляемого на покупку рабочей силы. "С прогрессом накопления отношение постоянной части капитала к переменной изменяется таким образом: если первоначально оно равнялось 1:1, то затем оно равняется 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 и т. д., так что с возрастанием капитала вместо Ґ его общей стоимости превращается в рабочую силу прогрессивно только 1/3, 1/4, *1 /5, 1 /6, 1 /7* и т. д., в средства же производства превращаются 2/3, 3/4, *4 /5, 5 /6* и т. д. общей стоимости капитала. Так как *запрос на труд* определяется не размером всего капитала, а размером его переменной части, то, следовательно, он *прогрессивно падает с возрастанием всего капитала*... Он падает сравнительно с величиною всего капитала и притом в возрастающей профессии с возрастанием этой величины. С возрастанием всего капитала хотя и увеличивается переменная часть его, или соответствующая ей рабочая сила, но увеличивается в постоянно убывающем отношении... Это относительное уменьшение переменной части капитала, ускоряющееся вместе с его ростом и притом быстрее его роста, при взгляде на дело с другой стороны, кажется, наоборот, более быстрым абсолютным ростом рабочего населения сравнительно с ростом переменного капитала, или тех средств, которые дают работу работникам. Вернее же сказать, что капиталистическое накопление постоянно, и притом прямо пропорционально своей энергии и своему размеру, производит

относительно-излишнее рабочее население, т. е. население, излишнее сравнительно со среднею нуждою капитала в рабочей силе" [128]. Это излишнее рабочее население было очень удачно названо Ф. Энгельсом запасной промышленной армией.

Как же отражается, как *может* отражаться это изменяющееся отношение составных частей капитала на движении заработной платы? Само собой ясно, что *запасная* промышленная армия, только временами принимающая участие в процессе производства, оказывает *беспрерывное* давление на *действующую армию* в смысле понижения заработной платы. А раз это так, то стремление заработной платы к падению становится очевидным совершенно независимо от каких бы то ни было отвлеченных психологических соображений. Но оно становится очевидным именно только с той конкретной точки зрения, с которой смотрят на общественно-экономическую жизнь социалисты нашего времени. С абстрактной же точки зрения Чернышевского, — которой противостояла не менее абстрактная точка зрения вульгарных экономистов, — дело представлялось в другом виде. При недостатке фактических данных поневоле приходилось вдаваться в отвлеченные и потому произвольные догадки, характер которых определялся не сущностью дела, а складом ума, привычками мысли исследователя [129].

Говоря о влиянии экономического прогресса на заработную плату, Чернышевский, по примеру Милля, везде предполагает однообразный, ровный ход современной промышленности, не возмущаемый никакими пертурбациями. Такое предположение само является очень произвольной абстракцией. В действительности процесс производства в буржуазном обществе никогда не идет ровным ходом: он подвержен революциям, возвращающимся с правильностью астрономических явлений и оказывающим глубокое влияние на положение наемного работника. Современная промышленность поочередно переходит через фазисы процветания, застоя и кризиса, и так как эта смена фазисов давно уже стала законом капиталистической промышленности, то нельзя говорить о заработной плате, не принимая во внимание промышленных революций. На это обстоятель-ство обращал внимание Маркс еще в 1847 году, в своей "Речи о свободной торговле". В "Капитале" он говорит об этом очень подробно. "В конце концов, — читаем мы там, — общие колебания рабочей платы регулируются исключительно увеличением и сокращением промышленной запасной армии, сообразно смене периодов промышленного цикла. Они определяются, следовательно, не колебаниями абсолютного числа рабочего населения, а изменениями отношения, в котором

рабочий класс распадается на действующую и запасную армии, увеличением и уменьшением относительного размера излишнего рабочего населения, степенью, в которой оно то поглощается, то вновь освобождается. Для новейшей промышленности, с ее десятилетним циклом и с ее периодическими фазами, которые, сверх того, с возрастанием накопления, прерываются все чаще и чаще неправильными колебаниями, поистине был бы очень странным законом такой закон, который регулировал бы запрос и предложение труда не расширением и сокращением капитала, т. е. не его потребностью в рабочей силе — потребностью, с изменением которой рынок труда оказывается то относительно недостаточным, когда капитал расширяется, то опять переполненным, когда он сокращается — но который, напротив, ставил бы движение капитала в зависимости от движения народонаселения. Таково, однако, господствующее экономическое учение. По смыслу этого учения рабочая плата повышается вследствие накопления капитала. Повышенная рабочая плата дает толчок к увеличению рабочего населения; и это продолжается до тех пор, пока не переполнится рабочий рынок, т. е. пока капитал не сделается недостаточным сравнительно с числом рабочих. Когда наступает такое время, рабочая плата понижается, и тогда выступает на сцену оборотная сторона медали. Вследствие падения заработной платы рабочее население мало-помалу редеет, так что в сравнении с ним капитал снова делается избыточным, или, как объясняют некоторые, падающая заработная плата и соответственно усиливающаяся эксплуатация рабочих снова ускоряет накопление, а между тем низкая рабочая плата, в то же время, мешает возрастанию численности рабочего класса. Таким образом предложение труда снова делается ниже запроса на труд и т. д. Какой прекрасный метод движения для развитого капиталистического производства! Прежде чем повышение платы приведет к положительному возрастанию населения, способного к работе, успевает много раз миновать тот период, в течение которого ведется промышленный поход, и должна произойти промышленная битва" [130].

На все это мы не находим даже намека в исследовании Чернышевского о заработной плате. В своих рассуждениях о ней он вполне довольствуется "господствующим экономическим учением", которое принимает во внимание лишь общее отношение капитала данной страны к ее абсолютному рабочему населению. Собственно говоря, он очень хорошо знает, что современная промышленность идет вовсе не по гладкому пути. Он не забывает о кризисах; его взгляд на них гораздо глубже и вернее, чем взгляд Милля, поверхностность которого доходит в

этом случае до апогея. Но он не сопоставляет колебаний современной промышленности с движением заработной платы. Впрочем, эту же ошибку делали многие из его современников-социалистов. Знаменитый "железный закон заработной платы" Лассаля представляет собою лишь несколько иную формулировку того самого учения, которого держался Чернышевский. Лассаль оттеняет лишь другие стороны этого учения. Откуда взялась разница в формулировке одного и того же закона у двух замечательных людей, одинаково отрицательно относившихся к существующему буржуазному порядку? Из различий в окружавшей их общественной обстановке. Лассаль преследовал непосредственно агитационные цели, он обращался к рабочей массе и вследствие этого так формулировал господствовавшее экономическое учение, что буржуазным экономистам показалось, будто они слышат о нем в первый раз в жизни. Они закричали, что Лассаль искажает выводы науки; но ему не трудно было показать, что в его "железном законе" не было нового ничего, кроме эпитета "железный". Чернышевский не мог говорить с массой, он писал для "умных и добрых людей" из высших классов, и потому обращался более к их рассудку, чем к их чувству, более рассуждал, чем агитировал. Он не столько оттенял "железные" свойства закона заработной платы, сколько показывал общую несостоятельность того порядка вещей, при котором трудящийся продает свою силу за какую бы то ни было плату, высокую или низкую, подверженную колебаниям или медленно изменяющую свой уровень, сообразно общему ходу "прогресса".

V.

Какую задачу преследовал Чернышевский при своем анализе заработной платы, показывают, между прочим, заключительные слова этого анализа: "Порядочную кипу рекомендаций в пользу трехчленной системы распределения (т. е. распределения национального дохода между землевладельцами, капиталистами и наемными рабочими) доставил нам анализ одного из элементов этой системы (т. е. заработной платы). Посмотрим, что найдется в анализе двух остальных (т. е. прибыли и ренты)" [131]. Он именно стремился найти как можно более "рекомендаций" в пользу буржуазного общества, т. е. показать, как мало соответствует оно требованиям "теории". Проверять найденные экономистами законы буржуазного хозяйства ему не было надобности. В этом отношении он вполне мог удовольствоваться открытиями буржуазной экономии, так как сами эти открытия уже достаточно

хорошо "рекомендовали" буржуазное общество.

Зато в "рекомендациях" этому обществу наш автор положительно неистощим. Здесь он является во всеоружии своего полемического таланта, здесь на помощь ему приходит весь тот злой сарказм, силу которого так хорошо знали его литературные противники. "Очень милая вещь этот принцип трехчленного деления! — восклицает он. — Чем больше вы всматриваетесь в него, тем яснее обнаруживается прелестная соответственность его с коренными идеями экономической науки. Если муж работает один, он получает известную плату. Если жена вместо пустой траты времени на вздорные дрязги станет работать дельным образом, подобно мужу, она вместе с мужем будет получать плату не больше той, какая прежде давалась одному мужу. Если дети станут помогать родителям, положение родителей и детей ни мало не улучшится. Какое прекрасное поощрение людям к тому, чтобы занимался дельною работою каждый, кто в силах заниматься ею, — какое хорошее возбуждение к труду и какая справедливая сообразность вознаграждения с количеством труда!" [132]

Обращая против буржуазных экономистов превозносимый ими принцип разделения занятий, Чернышевский иронически указывает на то, что принцип этот не вполне еще применяется к заработной плате. "В плате, получаемой работником, есть много элементов, кроме того элемента, который следует назвать рабочею платою в точном смысле этого слова, — замечает он. — Во-первых, в плату наемному работнику входит обыкновенно страховая премия в большем или меньшем размере. В плате матросу есть доля, служащая вознаграждением за небезопасность его ремесла. В плате носильщику, дожидающемуся нанимателя на углу улицы или на рынке, есть доля вознаграждения за то, что он рискует иной день остаться без работы. Во-вторых, всегда есть в рабочей плате элемент вознаграждения за затрату капитала на подготовление работника к делу… Взрослый работник получает известную долю платы собственно потому только, что взрослые работники вообще должны затрачивать часть своей платы на воспитание детей. Тут как будто бы круговая порука поколений: каждое поколение в рабочие годы вознаграждается за затрату капитала предыдущим поколением на его воспитание… Если полагать совершенство экономического устройства в существовании отдельного класса людей для каждого элемента, участвующего в производстве, то не следует останавливаться на трехчленном делении продукта, а надобно принять деление гораздо многосложнейшее: каждый из трех главных элементов производства распадается опять на несколько элементов.

Страховая премия и вознаграждение за капитал — элементы, ставимые господствующей теорией под разряд прибыли [133]. Мы теперь видим, что они входят и в рабочую плату. Не следует ли желать, чтобы они отделились от нее, чтобы наемный работник получал именно только рабочую плату, плату в строгом смысле слова? Можно придумать такое устройство, при котором так и будет. Воспитанием детей и приготовлением молодых людей для специальных профессий может заняться особенный класс предпринимателей, которые и будут потом выручать затраченный на то капитал, отдавая приготовленных ими работников в наем на таком условии, чтобы работник отдавал им известную долю из получаемой платы. Не правда ли, такой порядок будет гораздо ближе соответствовать принципу разделения занятий, если принцип этот понимать в том смысле, в каком понимают его рутинные экономисты, т. е., что для каждого занятия должно быть отдельное сословие людей, уже ничем кроме того не занимающихся? А то посудите сами: наемный работник, кроме того что работает, воспитывает детей, — на что это похоже? Ведь одно занятие должно мешать другому, не правда ли?"

С такой же иронией говорит он и о выделении страховой премии из заработной платы. Он предлагает учредить особые компании, которые застраховывали бы работу для того работника, который согласится выделять им часть своей платы. "Иначе наемный работник все еще остается не собственно только наемным работником, а какою-то смесью работника с страхователем и предпринимателем. Полное разделение занятий еще не достигнуто. Оно, конечно, если осуществить его, то наемный работник переходит в состояние человека, закабаленного капиталисту, его воспитавшему, и капиталисту, его застраховавшему. Но этим не следует смущаться: так и нужно для удовлетворения рутинному взгляду на принцип разделения занятий. Рутинные политико-экономы не смущаются такими пустяками, как переход работника из положения более самостоятельного в менее самостоятельное. Но вот беда: последовательным проведением их взгляда на принцип разделения занятий уничтожается и класс наемных работников. Человек, закабаленный другому чем бы то ни было, принимает экономический характер невольника… Конечно, до этого еще не дошло, да и не дойдет, потому что начинается поворот к другому устройству, противоположному этой форме, которая превозносится господствующею теориею. Не успев дойти до полного развития, она будет вытеснена из науки и жизни принципом совершенно иного характера. Но если бы она не встретила этого противника, она сама себя уничтожила бы своим

развитием. Она привела бы к восстановлению невольничества под новым каким-нибудь видом" [134].

Заканчивая разбор взглядов Чернышевского на заработную плату, мы считаем нужным указать одну черту его воззрений, не отмеченную нами прежде. Наш автор нигде не касается вопроса о продолжительности рабочего дня и о фабричном законодательстве. Этот вопрос как будто совершенно не существовал для него. Практическая, повседневно ведущаяся борьба труда с капиталом, со всеми ее перипетиями и со всеми ее чрезвычайно важными историческими последствиями, едва ли интересовала его более, чем почти других социалистов-утопистов [135]. Он не говорил о ней даже там, где самый ход исследования подводил его к ней, можно сказать, плотную. Вот, например, он описывает, как пользуются предприниматели конкуренцией между ищущими занятий работниками для понижения заработной платы. "Положим, что труд вздорожал в Англии, — говорит он. — Наниматели труда ищут дешевых работников и вызывают в Англию немцев или бельгийцев. Это факт известный и неизбежный при трехчленном делении продукта. Каждый раз, как работники в известной отрасли промышленности потребуют возвышения платы, наниматели труда в Англии отвечают им: мы выпишем себе дешевых работников, — и действительно выписывают каждый раз, когда английские работники медлят отказаться от требований" [136]. Это верно. Английские капиталисты, подобно всем другим, действительно любят прибегать к указанному средству, как и вообще любят они заменять дорогие и требовательные "руки" — дешевыми и нетребовательными. Но уже английские Trade-Unions могли бы своим примером напомнить Чернышевскому, что в развитых странах работники принимают свои меры для противодействия капиталистической тактике. Сами по себе эти меры, разумеется, далеко не достаточны. Но они воспитывают рабочих, развивают их классовое сознание и тем подготовляют их будущую победу. В своем ответе Прудону Маркс уже в 1847 году подробно выяснил огромное историческое значение рабочих союзов сопротивления. Чернышевский обходил их молчанием в начале шестидесятых годов, накануне возникновения Международного Общества Рабочих, начавшего новую эпоху в истории пролетариата Старого и Нового Света. Тут мы опять видим неизбежное влияние на него среды, влияние отсталости русских общественных отношений.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
— Прибавочная стоимость

I.

"При трехчленном делении продукта, — говорит Н. Г. Чернышевский, — затраты на производство делает капиталист; за вычетом этих расходов остается ему из продукта доля, называющаяся прибылью. Она состоит из нескольких элементов. Часть ее служит капиталисту вознаграждением за то, что он обратил на производство свой капитал; эта часть называется в строгом смысле слова процентами на капитал. Из остающегося, за вычетом этих процентов, излишка прибыли часть служит вознаграждением за риск предприятия. Другая часть излишка служит вознаграждением за труд управления делом. Каждый из этих трех элементов прибыли очень часто отделяется от других. Капиталист имеет иногда наемного распорядителя, при котором сам уже вовсе не вмешивается в дело; этот распорядитель получает вознаграждение за ведение дела, а капиталисту остаются только проценты с капитала и страховая премия. Но часто предприниматель занимает на ведение дела капитал у другого капиталиста, которому и выделяет проценты, а сам получает только страховую премию и вознаграждение за управление делом, — если же имеет при этом наемного распорядителя, то одну только страховую премию. Чтобы велись промышленные дела при системе трехчленного деления продукта, прибыль должна иметь величину, достаточную на образование всех этих трех элементов прибыли в размере, какой нужен по состоянию данного общества в данное время. Но при разном состоянии общества величина каждого из трех элементов прибыли бывает очень различна" [137].

Несколькими страницами далее наш автор говорит, что поземельная рента есть "только излишек прибыли, остающийся в некоторых случаях по некоторым отраслям производства" [138]. Затем из его объяснений видно, что прибыль на торговый капитал также рассматривается им, как часть прибыли вообще.

Из всего этого следует, что под предпринимательскою прибылью он понимает собственно *прибавочную стоимость,* т. е. всю ту часть создаваемой работниками стоимости, которая под разными названиями распределяется между различными категориями присвоителей плодов чужого, неоплаченного труда. Поэтому мы, при изложении его взглядов, будем заменять слово прибыль более точным выражением: прибавочная стоимость.

Как подразделяется прибавочная стоимость между различными категориями предпринимателей, об этом Н. Г. Чернышевский распространяется очень мало. Только относительно поземельной ренты мы находим у него более

подробные объяснения. Что же касается других "элементов прибыли", то мы встречаем лишь некоторые общие замечания вроде того, что "в занятии более рискованном страховая премия стоит выше среднего уровня; в занятии особенно приятном вознаграждение распорядителю бывает ниже среднего уровня" [139]. Он даже не считает нужным объяснить, какие же это промышленные предприятия так приятны, что распорядители их довольствуются вознаграждением ниже среднего. Главное внимание его направлено на вопрос об уровне прибавочной стоимости. "Этот средний уровень сам то понижается, то возвышается", — говорит он. От чего же зависит его величина? Ответ на это он заимствует у Милля, полагая, что "трудами английских экономистов, в особенности Рикардо, вопрос этот превосходно разъяснен, и у Милля, достойного ученика Рикардо, он изложен как нельзя лучше" [140].

Как же, однако, изложен он у Милля? В приводимой Чернышевским выписке объяснения Милля начинаются указанием на происхождение прибавочной стоимости. "Человеку, незнакомому с наукой, представляется, будто бы прибыль коммерческого дела зависит от цен. Производитель или торговец получает свою прибыль, по-видимому, тем, что берет за свой товар больше, чем он стоил ему, и можно подумать, будто прибыль — результат покупки и продажи. Незнакомые с наукой люди полагают, что будто производитель получает прибыль только оттого, что есть покупщики на товар; будто бы запрос, покупщики, рынок товара, вот причины выгод, получаемых капиталистами, которые продажею своих товаров возобновляют свой капитал и увеличивают его массу. Но думать так, значит смотреть только на внешнюю поверхность экономического механизма общества".

Мы просим читателя припомнить, как определяет Милль меновую стоимость товара. "Если оставить в стороне случайные элементы стоимости, то предметы, количество которых может возрастать неопределенно, естественным и постоянным образом обмениваются друг на друга по пропорции количества рабочей платы, какую надобно употребить на их производство (по мнению Милля все издержки производства сводятся к рабочей плате), и количеству прибыли, какая должна быть получена капиталистами, выдающими эту плату" [141]. Иными словами: "общее правило таково, что предметы имеют тенденцию обмениваться друг на друга по таким ценностям, которые оплачивают каждому производителю стоимость производства с обычной прибылью". Что же это значит? Это значит именно то, что "производитель получает свою прибыль тем, что берет за свой

товар больше, чем он стоил ему", и что прибыль есть "результат покупки и продажи". Но ведь такой взгляд достоин только людей, "незнакомых с наукой"?! Да, так говорит Милль в главе о прибыли, а в главе о стоимости он высказывает как раз этот взгляд, недостойный людей науки. Как же разрешить такое странное, такое вопиющее противоречие? Логического разрешения для него нет и не может быть, а психологическое объяснение есть и состоит в том, что, как мы уже говорили выше, в голове Милля очень часто и очень мирно уживались самые противоречивые взгляды на один и тот же предмет.

Что причина прибавочной стоимости заключается не в обмене, это понятно само собой, так как обмен не создает ровно никаких стоимостей. Но отсюда вовсе еще не следует, что в исследовании о происхождении прибавочной стоимости мы можем закрывать глаза на законы обмена, т. е., следовательно, и на меновую стоимость товаров. "Причина прибыли та, — говорит нам Милль, — что труд производит больше, чем требуется на его содержание… Если капиталист возьмется кормить работников на условии получить продукт, то, кроме возвращения своей затраты, он получит несколько (sic) лишнего". Чего же именно "лишнего"? Продукта? Но ведь в своем непосредственном, вещественном виде созданный рабочими продукт несоизмерим с их "кормом". Как надо понимать нас, если мы скажем, что произведенный рабочими миткаль больше съеденного ими хлеба пли изношенной ими обуви? Хотим ли мы сравнивать аршины миткаля с пудами хлеба или с парами сапогов? Ясно, что для сравнения "корма" рабочих с созданным их рабочею силою продуктом нужно обратиться к *стоимости* того и другого. (Ниже мы увидим, что и сам Милль не считает возможным обойтись без этой апелляции к стоимости.) Следовательно, мы должны сказать, что прибавочная стоимость, или (как выражаются Чернышевский и Милль) прибыль, есть разность между стоимостью, созданной данной рабочей силой, и стоимостью "корма", который мы затратили на производство этой силы; а если мы захотим выразиться точнее, мы скажем, что прибавочная стоимость ("прибыль") есть разность между стоимостью, созданной данной рабочей силой, и стоимостью этой силы. Но, выражаясь так, мы опять приходим к вопросу о том, чем же определяется стоимость. Милль говорит нам, что она определяется издержками производства данного товара в соединении с прибылью, которую должны принести эти издержки предпринимателю. Пользуясь этим определением для разрешения интересующего нас вопроса о "прибыли" (прибавочной стоимости), мы приходим к следующему поучительному выводу: величина прибыли определяется

величиною стоимости того "лишнего", которое произвели работники сверх стоимости своего "корма"; а стоимость этою "лишнего", как и всякого другого товара, определяется издержками его производства и прибылью, которую должны принести эти издержки. Прибыль зависит от стоимости, а стоимость от прибыли. Это уже и само по себе мудрено; но еще более мудреным представится нам все дело, когда мы вспомним, что интересующее нас "лишнее" получается предпринимателем *сверх* сделанных им издержек, и, следовательно, ни о каких издержках его на производство этого "лишнего" не может быть и речи. Выходит, что, следуя определениям Милля, мы не только не попадаем на прямой путь для разрешения вопроса о "прибыли", но странствуем по такой логической кривой которую можно нашить *кривою двойной кривизны.*

Во всем исследовании Милля о "прибыли" верно лишь то, что для ее производства нужна известная степень производительности труда, позволяющая рабочим производить больше, чем необходимо для их содержания. Но если это показывает нам, — да и то сквозь густейший туман противоречий, — что "прибыль" производится неоплаченным трупом работников, то мы еще вовсе не видим, каким образом производство "прибыли" обусловливается механизмом буржуазного общества. В этом отношении Милль остался далеко позади Рикардо, который уже умел связать вопрос о производстве прибавочной стоимости с вопросом стоимости вообще. Чернышевский не замечает этих ошибок Милля Подкупленный его признанием относительно эксплуатации работника предпринимателем, он прощает ему как запутанность тех объяснений, которыми тот сопровождает это признание, так и другие нелепости, вроде того, что "во всем процессе производства, начинающемся материалом и орудиями труда и кончающемся готовым продуктом, все затраты состоят исключительно из рабочей платы", и что "вся та часть окончательного продукта, которая не составляет прибыли, служит возвращением капиталисту затрат, сделанных на рабочую плату". Чернышевскому кажется, что все это так и есть в действительности. Соглашаясь с Миллем по вопросу о происхождении прибыли, он не расходится с ним и в указании причин, от которых зависит ее уровень.

II.

По словам Милля, "выигрыш капиталистов зависит

исключительно от двух обстоятельств: во-первых, от величины продукта, иначе сказать, от производительной силы труда, и, во-вторых, от того, какую часть этого продукта получают сами работники, от пропорции между вознаграждением работников и всею суммою, ими производимой. Эти два элемента служат данными, которыми определяется вся сумма, разделяющаяся в виде прибыли между всеми капиталистами страны. Но величина прибыли (Милль хочет сказать — ее уровень), процентное ее отношение к капиталу, определяется только вторым из этих элементов, — тем, какую долю получает работник, а не суммою, разделяемою между работником и капиталистом. Если продукт труда удвоится, и работники будут получать такую же пропорцию из него, как прежде, т. е. если их вознаграждение также удвоится, то капиталисты, правда, получат вдвое больше прежнего, но так как они затратили вдвое больше прежнего, величина их прибыли не увеличится, а останется прежняя". Затем Милль замечает, что для определения уровня прибавочной стоимости ("прибыли") имеет значение, собственно, не рабочая плата, а стоимость труда, т. е. стоимость рабочей силы. "Дешевый труд может быть неуспешен… — говорит он. — Вознаграждение земледельческого работника на западе Ирландии не превышает половины самой низкой платы, какую получает английский работник, — платы дорсетширскому работнику. Но если по меньшему своему искусству и усердию ирландец в два рабочие дня исполняет работы не больше, чем английский работник в один день, то труд ирландца стоит не дешевле, чем труд англичанина, хотя сам ирландец получает гораздо меньше". Мы видим теперь, что сам Милль не считает возможным определить уровень прибавочной стоимости без апелляции к стоимости вообще. И, конечно, лучше поздно, чем никогда, но плохо то, что он ограничивается лишь соображениями о "стоимости труда", забывая о стоимости создаваемого трудом продукта. Одно из обстоятельств, от которых зависит, по его словам, общая сумма прибыли (прибавочной стоимости), есть "производительная сила труда". Это не точно. *Прибавочная* стоимость, как стоимость, по природе своей ничем не отличается от всякой другой стоимости. Эпитет — *прибавочная* указывает не на природу, а на происхождение ее. Это ясно без пояснений. Чем определяется стоимость данного товара? Количеством труда, нужного на его производство. Если это количество, вследствие технических усовершенствований, т. е. вследствие возрастания производительности труда, станет вдвое меньше, то уменьшится вдвое и стоимость товара. Величина стоимости данного товара обратно пропорциональна производительности труда в той отрасли промышленности,

которая производит этот товар. Следовательно, производительность труда еще не определяет нам размеров прибавочной стоимости. От нее зависит количество предметов, представляющих эту стоимость, но не величина самой стоимости. Чем же определяется, в таком случае, величина прибавочной стоимости? Да тем же, чем определяется величина стоимости вообще, то есть *грузом.* Труд, воплощенный в прибавочной стоимости, имеет лишь ту особенность, что он есть *неоплаченный труд,* — труд, присваиваемый предпринимателем *задаром.* Но это не изменяет природы труда: оплаченный или неоплаченный, он одинаково является единственным источником стоимости. Следовательно, размеры прибавочной стоимости зависят от того количества неоплаченного труда, которое удается предпринимателям выжать из рабочих. Если мы предположим, что количество этого труда остается неизменным, то величина прибавочной стоимости также останется без изменения, хотя бы производительность труда росла как нельзя более быстро.

"Если продукт труда удвоится, — уверяет Милль, — и работники будут получать такую же пропорцию из него, как прежде, т. е. если их вознаграждение также удвоится, то капиталисты, правда, получат вдвое больше прежнего, но, так как они затратили вдвое больше прежнего, величина их прибыли не увеличится, а останется прежняя". Все это рассуждение есть настоящий Гордиев узел всяческих запутанностей. О каком удвоении продукта говорит Милль? Это ясно из предыдущего: он говорит об удвоении продукта, происходящем вследствие возрастания производительности труда. Но если это возрастание происходило при прочих равных условиях, то оно не вело за собою ни малейшего изменения ни в величине прибавочной стоимости, ни в величине стоимости рабочей силы. Значит, чего же именно капиталисты "получат вдвое больше прежнего"? Если не прибавочной стоимости, то… чего же? Тех продуктов, на которые они обменивают свою прибавочную стоимость. Другими словами: при тех же размерах прибавочной стоимости, при том же количестве выжатого из рабочих неоплаченного труда, эти люди, по выражению Адама Смита, жнущие там, где не сеяли, получат возможность жить вдвое лучше прежнего точно так же, как ведущий естественное хозяйство помещик получил бы возможность жить вдвое лучше прежнего, если бы его крепостные, работая на него по-прежнему известное число дней в неделю, стали производить в эти дни вдвое больше, чем прежде. Но раз это так, то каким же это образом капиталисты ухитрятся затрачивать на производство вдвое больше прежнего? Не ясно ли, напротив, по всему смыслу нашего предположения, что стоимость

их затрат остается неизменной? Милль хочет сказать, что работники получат возможность жить вдвое лучше прежнего (для него ведь все расходы производства сводятся в последнем счете к затратам на покупку рабочей силы). Понимаемый таким образом, он, разумеется, прав. Но улучшение материального положения работников будет результатом увеличения производительности труда, а не затрат, делаемых капиталистами.

А может быть, говоря об увеличении продукта (т. е. всего вообще национального продукта), Милль имеет в виду увеличение его стоимости? В таком случае его гипотеза об увеличении производительности труда сводится к тому предположению, что работники данной страны произвели продукт, имеющий вдвое бóльшую стоимость. Остановимся на этом предположении [142].

Чтобы произвести вдвое большую стоимость, работники должны затратить вдвое больше труда. Это возможно при двух различных условиях: или 1) при удвоении числа эксплуатируемых работников, или 2) в том случае, когда работники, не увеличиваясь в числе, станут трудиться вдвое больше прежнего. Разумеется, возможен и третий случай: большее или меньшее увеличение числа работников, сопровождаемое большим или меньшим увеличением труда, приходящегося на долю каждого из них; но совершенно бесполезно рассматривать этот случай, так как он ничего не прибавит к пониманию предмета. Итак, посмотрим, что будет, если продукт, имеющий вдвое большую стоимость, будет произведен трудом вдвое большего числа рабочих. Милль предполагает, что с увеличением продукта не изменяется подразделение его на рабочую плату и стоимость: если прежде на прибавочную стоимость приходилась, скажем, половина всей суммы продукта, то и теперь будет то же самое. Следовательно, на заработную плату также будет приходиться теперь, как и прежде, половина продукта. Так как стоимость всего продукта увеличилась вдвое, то и та часть его, которая представляет собою заработную плату, будет иметь вдвое большую стоимость. Но эта вдвое большая стоимость делится между вдвое большим числом рабочих. Следовательно, заработная плата каждого из них в отдельности остается неизменной в смысле своей стоимости. А что же будет с капиталистами? Присваиваемая ими прибавочная стоимость будет вдвое больше прежнего; иначе сказать, они будут присваивать теперь вдвое большее количество чужого неоплаченного труда. Уровень прибавочной стоимости останется неизменным, но эксплуатация рабочего класса возрастет на сто процентов в смысле количества подвергающегося ей живого

материала. У Милля этот неизбежный вывод скрывается за рассуждениями о том, что хотя капиталисты получат вдвое больше, "но так как они затратили вдвое больше прежнего (т. е., купили вдвое больше рабочей силы), то величина (уровень) их прибыли не увеличится". Действительно, уровень прибавочной стоимости не изменится, если не изменится отношение ее к рабочей плате. Но что же такое — отношение ее к рабочей плате? Это именно и есть ее уровень. Значит, уровень ее не изменяется, если остается неизменным. Грешно было бы утверждать, что этим сказано очень много!

Теперь — другой случай. Прежнее число работников, трудясь вдвое больше прежнего, производит вдвое бóльшую стоимость. Отношение прибавочной стоимости к заработной плате не изменяется. Рабочие получают теперь вдвое бóльшую стоимость в виде заработной платы, капиталисты вдвое бóльшую прибавочную стоимость. Об этом случае Милль опять скажет нам, что так как капиталисты затратили вдвое больше, то они, и проч. и проч., словом, что уровень прибыли не изменится. Но ведь это мы знаем и без него, это стоит в условиях задачи. Нам интересно знать, к каким последствиям ведет в предложенном нами случае "увеличение продукта". Вдумаемся же в них внимательнее. Прибавочная стоимость создается неоплаченным трудом рабочих. Прибавочная стоимость в рассматриваемом случае оказалась вдвое больше, чем была прежде. Следовательно, гг. капиталисты выжали из рабочих вдвое большее количество неоплаченного труда. Число рабочих осталось без изменения. Следовательно, из каждого рабочего гг. капиталисты выжимают теперь вдвое больше дарового труда. Это очень немаловажное обстоятельство. Но Милль ни одним словом не намекает на то, что национальный продукт ростом своим, может быть, обязан увеличению именно этого рода "производительности" труда, т. е. увеличению выгодных сторон эксплуатации.

Маркс сказал бы, что Милль смешивает труд, как источник вещественного богатства, с трудом, как источником стоимости. Различение этих двух понятий существенно важно для объяснения самых коренных законов буржуазного хозяйства. Правда, только Марксу удалось вполне выяснить различие этих понятий; до него экономисты постоянно путались в них, незаметно для себя подставляя одно вместо другого. Но у Милля и в этом случае путаницы несравненно больше, чем у классических представителей буржуазной экономии.

Увеличение производительности труда играло очень важную роль в историческом увеличении уровня прибавочной стоимости. Удешевляя предметы, необходимые для существования

работников, оно тем самым уменьшало стоимость рабочей силы и давало продавцам этой силы, пролетариям, фактическую возможность довольствоваться все меньшею и меньшею долею национального продукта. Но само собой разумеется, что мы ничего не разберем в этом явлении, если будем путать понятие о вещественном богатстве с понятием о стоимости.

III.

Изложив учение Милля о "прибыли" и согласившись с ним, Чернышевский находит, однако, нужным сделать к нему пополнение, которое он считает очень важным. Сущность этого пополнения сводится вот к чему.

По учению Мальтуса, бедность рабочего класса происходит от излишнего размножения, оттого, что люди размножаются быстрее, чем средства их существования. Но можно представить себе такое положение дел: средства существования растут очень быстро, как и все вообще богатство страны; население размножается далеко не так быстро или даже совсем не размножается, а между тем заработная плата падает, рабочий класс все более и более беднеет. И такое положение дел непременно явится в том случае, если прибавочная стоимость станет расти быстрее, чем растет вся сумма национального продукта. В этом случае прибавочная стоимость, очень скоро поглотив весь прирост национального богатства, начнет делать все бóльшие и бóльшие захваты из той доли, которая достается рабочему классу. Следовательно, бедность рабочего класса будет происходить в этом случае не оттого, что продуктов мало, а оттого, что распределяются они слишком неравномерно, не от слабости производительных сил, а от неудовлетворительности распределения. На первый взгляд это положение дел представляется чисто гипотетическим. Но стоит только всмотреться в быт цивилизованных стран, чтобы видеть, до какой степени подобная гипотеза соответствует действительности. Во всех цивилизованных странах прибавочная стоимость "имеет постоянную тенденцию развиваться до того, чтобы захватывать как можно бóльшую долю из фонда рабочей платы; она стремится поглотить весь этот фонд и останавливается в таком стремлении лишь материальною невозможностью для работника существовать иначе, как при известной величине рабочей платы. Странно приписывать бедность рабочего класса его излишнему размножению, когда она объясняется совершенно другими причинами; странно размножению приписывать те бедствия,

которые совершенно достаточно объясняются современным распределением продуктов и необходимо из него вытекают. На эту сторону вопроса не обратил внимания никто из экономистов Смитовской школы, поэтому никто из них не умел правильно взглянуть и на учение Мальтуса.

Мы изложили мысль Чернышевского не теми словами, какими она изложена у него самого. Но мы вполне уверены, что передали ее правильно. И всякий, кто имеет хоть некоторое понятие о нынешнем состоянии экономической науки, скажет, что в общем нельзя не согласиться с нею. В настоящее время не может быть никакого сомнения в том, что бедность пролетариата обусловливается не *законами природы, а общественными отношениями.* Если бы рабочий класс совершенно перестал размножаться, то развитие капитализма все-таки привело бы к образованию относительного избытка населения и ко всем связанным с ним бедствиям [143]. Бедность современного пролетариата есть бедность совершенно особенного рода. Она развивается *рядом* с развитием национального богатства и *вследствие* его развития. Законы размножения людей не только не объясняют этой бедности, но, поскольку дело идет о размножении в существующем обществе, сами объясняются ею, так как количество рождений повсюду стоит в тесной связи с общественными отношениями, "абстрактные же законы размножения существуют только для животных и растений". Ничего этого действительно не подозревали экономисты Смитовской школы, по крайней мере, до Рикардо, у которого есть уже некоторое понимание причин относительного перенаселения в капиталистическом обществе. Таким образом, Чернышевский в общем прав. Но в подробном развитии его мысли заключается не мало ошибок.

IV.

Бедность рабочего класса зависит от того, что прибавочная стоимость захватывает все бóльшую и бóльшую долю национального продукта. Это так. Но от чего же зависит это верно указанное обстоятельство? От того, отвечает Чернышевский, что прибавочная стоимость имеет свойство расти по геометрической пропорции. "Каждому известно, с какою огромною силою растет капитал, когда проценты прилагаются к первоначальной сумме и снова дают на себя проценты". Следует таблица, показывающая рост капитала при различных величинах прибыли от 10 до 40 %. "Возможно ли коммерческому человеку получать по 40 % чистой

прибыли? — спрашивает Чернышевский. — Да, это очень возможно; иначе не было бы примеров тому, что, начав свои торговые обороты лет в 20 с какою-нибудь сотнею рублей, человек становится в 50 лет миллионером… Но не будем останавливаться на этих 40 %, не будем останавливаться ни на 35 %, ни на 30 %, ни на 25 %, ни даже на 20 %, — остановимся только на 15 % чистой прибыли… При этом проценте, который ниже обыкновенного, капитал в течение одного поколения возрастает в 66 раз. Спрашиваем теперь, бывало ли когда-нибудь, чтобы сумма богатств, принадлежащих нации, возросла в течение каких-нибудь 30 лет, — не говорим в 66 раз, а хотя в 30 раз, хотя в 20 раз?" На этот вопрос дается отрицательный ответ: национальное богатство не может возрастать в такой быстрой степени. Следовательно, прибыль постоянно поглощает все бóльшую и бóльшую, и бóльшую часть продукта, — заключает Чернышевский. Вот его собственные слова. "Мы знаем, что величина прибыли (следовало сказать: прибыль) есть остаток продукта за вычетом рабочей платы… Мы видим, что одна из двух долей продукта растет гораздо быстрее, чем вся сумма продукта. Это значит, что другая доля продукта уменьшается" [144].

Чтобы сделать свои доводы более наглядными, Чернышевский приводит новую таблицу, из которой видно, как будет изменяться по десятилетиям распределение национального продукта, — который первоначально равнялся 10.000, — если ежегодный процент его возрастания принять равным 6,15, а ежегодный процент прибыли — 10,5; причем прибыль первоначально составляет лишь десятую часть продукта, т. е. 1.000. Вот эта таблица [145].

Годы.	Сумма продукта.	Сумма прибыли.	Сколько из суммы продукта остается на рабочую плату.	Какую долю из суммы продукта составляет сумма прибыли.	Какая доля из суммы продукта остается на рабочую плату.
1-й 11-й 21-й 31-й 41-й 51-й 61-й	10.000	1.000	9.000	10%	90%
	18.171	2.714	15.457	15	85
	33.019	7.681	25.333	22	78
	60.000	20.000	40.000	33	67
	109.030	54.288	54.492	48	52
	198.120	147.360	50.760	74	36
	360.000	400.000	--40.000	111	--11

По поводу этой таблицы Чернышевский замечает, что представленный ею ход дел будет в сущности одинаков как в том случае, если население не размножается, так и тогда, когда оно

остается постоянным. "Разница лишь в том, что при неразмножающемся населении рабочая плата сначала возвышалась бы значительнее, чем при размножающемся" [146]. Чтобы понять это замечание, нужно помнить, чем определяется у него величина заработной платы: она есть частное, происходящее от деления фонда рабочей платы на число работников. Фонд же рабочей платы есть разность, происходящая от вычитания прибыли из годового продукта страны. Ясно, что число работников не влияет на величину прибыли, а между тем в этой величине все дело: фонд рабочей платы уменьшается единственно потому, что прибыль делает из него все бóльшие и бóльшие захваты. Для простоты расчета мы остановимся на том случае, когда население не размножается. Но прежде, чем приступить к каким-нибудь расчетам, мы просим читателя вдуматься в общий характер доводов нашего автора.

Откуда берется процент на капитал? Из прибавочной стоимости. Величина той части прибавочной стоимости, которая распределяется между капиталистами в виде процентов на их капитал, а следовательно, и высота процента, зависит от многих условий, в рассмотрение которых мы входить не станем [147]. Для нас важно лишь то, что возвышение процента, платимого по ссудам, еще не указывает на увеличение общей суммы прибавочной стоимости. Если бы в какой-нибудь стране обычный процент возрос с 3 до 6, то это, разумеется, не означало бы, что в этой стране удвоилась общая сумма прибавочной стоимости. Эта перемена могла произойти просто вследствие того обстоятельства, что изменилось распределение данной суммы прибавочной стоимости: в качестве процентов на капитал стала отделяться от нее вдвое большая часть, чем отделялась прежде. Это ясно. Пойдем далее. Если процент, платимый по ссудам, равняется в данной стране десяти, то значит ли это, что капитал этой страны увеличивается ежегодно на десять процентов? Если лица, получающие такой процент, проживают весь свой доход, и если, кроме того, все остальные части прибавочной стоимости (рента, предпринимательская прибыль, прибыль на торговый капитал) также проживаются своими получателями, то нет никаких оснований для роста национального капитала. Правда, приносимая им прибавочная стоимость может возрастать, несмотря на все это, просто вследствие того, что увеличится относительное количество дарового труда, высасываемого им из рабочих. Но мы не принимаем пока во внимание этого обстоятель-ства, мы предполагаем пока, что общая сумма прибавочной стоимости зависит единственно от общей суммы капитала, как предполагает это и Чернышевский. Итак, что же

будет у нас, если вся прибавочная стоимость проживается гг. присвоителями? Национальный капитал не будет возрастать, а следовательно, не будет расти и сумма прибавочной стоимости, каково бы ни было и как бы ни изменялось ее подразделение на процент, торговую прибыль и пр. … Но если часть прибавочной стоимости данного года присоединяется к капиталу следующего года, то, по нашему предположению, увеличится и приносимая им прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость второго года будет больше, чем прибавочная стоимость первого года? Каков же математический закон ее увеличения? Прибавочная стоимость второго года будет во столько раз больше прибавочной стоимости первого года, во сколько капитал второго года больше капитала первого года. А во сколько же раз капитал второго года больше капитала первого года? Этого мы не знаем, это зависит от того, как велика была присоединившаяся к капиталу второго года часть прибавочной стоимости. Положим, что прибавочная стоимость, получаемая присвоителями в конце первого года, равняется миллиарду рублей. Предположим, что этот наш миллиард рублей составляет 50 % *всего* национального капитала [148]. Предположим также, что весь этот миллиард рублей употреблен гг. присвоителями на непроизводительное занятие "прожигания жизни", и от этой колоссальной траты спасено только сто рублей, которые присоединены к национальному капиталу. Согласно нашему предположению прибавочная стоимость второго года должна будет увеличиться на пятьдесят рублей (пятьдесят % с нового капитала в сто рублей). Это значит, что прибавочная стоимость второго года будет во столько раз больше прибавочной стоимости первого года, во сколько миллиард + сто больше миллиарда. Если вам не лень прибегнуть к "математическому методу", то вы легко можете высчитать *процент* этого увеличения. Вы увидите, что он во много и много раз меньше того процента, который получается у вас при сопоставлении общей суммы прибавочной стоимости с общей суммой капитала. Этот последний процент равнялся *пятидесяти,* а тот первый процент будет равняться одной десятитысячной (0,0001). Что же это значит? Это значит, что при предположенных нами условиях процент ежегодного возрастания прибавочной стоимости вовсе не равен процентному отношению общей суммы прибавочной стоимости к общей сумме национального капитала. В каком же случае он может сравняться с ним? В том случае, если *вся* прибавочная стоимость данного года присоединяется к капиталу следующего года. Так ли это? *Мы увидим, что это несовсемптак,* но Чернышевский предполагает, что это так, *и мы не хотим пока вступать с ним в спор.* Но все-таки мы просим заметить наш

вывод: процент возрастания прибавочной стоимости равняется процентному отношению общей суммы ее к общей сумме капитала только тогда, когда вся прибавочная стоимость данного года присоединяется к капиталу следующего года. Держа в памяти этот вывод, обратимся к таблице нашего автора.

Что мы видим в ней? Мы видим, что прибавочная стоимость, первоначально равнявшаяся тысяче, по прошествии сорока лет равняется уже 147.360. При каком условии возможно такое возрастание? Именно при только что указанном условии, т. е. когда прибавочная стоимость целиком прилагается к капиталу. Но это значит, что капиталисты ничего не тратят на свою жизнь, и притом ничего не тратят в течение *сорока лет.* Чем же живут они, как поддерживают они свое грешное существование? Неизвестно; однако факт тот, что они не потратили на себя за это время ни одного атома прибавочной стоимости. Но чтобы не тратить на себя ничего в течение сорока лет, капиталистам нужно было не иметь никаких потребностей. А кто не имеет никаких потребностей, тому нет надобности и в эксплуатации рабочих.

А, впрочем, может быть, мы ошиблись? Посмотрим еще раз на таблицу Чернышевского. Первоначальная прибавочная стоимость равняется в ней одной тысяче. Значит, был же капитал, принесший эту тысячу. Как велик он был? Чернышевский ничего не говорит об этом. Но, предполагая, что ежегодный процент возрастания прибавочной стоимости равняется выраженному в процентах отношению общей суммы ее к общей сумме капитала, мы находим, что капитал, принесший прибавочную стоимость в одну тысячу, равен 9.523,8. Куда же девался этот капитал в нашей таблице? Очевидно, он перестал приносить прибавочную стоимость, потому что в таблице фигурирует лишь та прибавочная стоимость, которая получается вследствие роста (по сложным процентам) первоначальной прибавочной стоимости в одну тысячу. Значит капиталисты перестали употреблять его в производство. Что же они сделали с ним? Может быть он-то и поддерживал их существование за все те десятки лет, к которым относится расчет Чернышевского? Если это так, то позволительно спросить, как сохраняли и в каком виде потребляли этот, так сказать, умерший капитал его обладатели? Ведь очень значительную часть всякого "производительного капитала" составляют средства производства: сырой материал, орудия труда и т. п. Положим, однако, что капиталисты в течение десяти лет жили, потребляя те средства производства, с помощью которых рабочие создали первоначальную тысячу прибавочной стоимости. Тогда все-таки остается непонятным следующее обстоятельство. Принеся прибавочную стоимость в одну тысячу, капитал

устраняется из производительного потребления, в оборот пускается лишь эта тысяча единиц прибавочной стоимости. Следовательно, весь производительный капитал второго года равняется одной тысяче. А между тем, по смыслу таблицы выходит, что рабочая плата во втором году составит 9.510. Что такое заработная плата? Это часть капитала, переменная часть его, скажем мы, держась современной терминологии. Как же это так может быть, что переменный капитал, т. е. одна часть национального капитала, равняется 9.510 (см. таблицу), а весь национальный капитал в совокупности составляет лишь одну тысячу? Это явная несообразность. Но дело не ограничивается одной этой несообразностью. По смыслу таблицы прибавочная стоимость второго года равняется 1.105 единицам. Выходит, что капитал, равный тысяче единиц, принес 1.105 единиц прибавочной стоимости. Значит уровень прибавочной стоимости равняется уже не 10,5 %, а 110,5 % и что в третьем году у нас употребляется в дело уже капитал, равный 2.105 (т. е. 1.000 + 1.105). При таком ходе его возрастания он будет увеличиваться гораздо быстрее, чем предположено в таблице Чернышевского. Как же объяснить эту новую несообразность? Вероятно, мы опять ошибаемся. Вероятно, капитал второго года равняется *десяти* тысячам, т. е. что в него вошла воспроизведенная работниками стоимость заработной платы первого года (9.000) и созданная их трудом прибавочная стоимость. Если он приносит 10,5 проц. прибавочной стоимости, то к концу этого года он должен возрасти до одиннадцати тысяч пятидесяти единиц (11.050). Эти 11.050 единиц и будут составлять продукт этого года. Но по расчету Чернышевского выходит иначе. По его расчету оказывается, что продукт второго года равняется лишь десяти тысячам шестистам пятнадцати един. (10.615). Если из этой суммы продукта вычтем десять тысяч капитала, то на прибавочную стоимость остается лишь 6,15 проц. "прибыли". Но и это еще не все. Из таблицы Чернышевского мы видим, что заработная плата второго года равняется уже не 9.000, а 9.510. Заработная плата могла вырасти только на счет прибавочной стоимости. Вычтем же из этой последней ту сумму, на которую увеличилась заработная плата: 615–510 = 105. Итак, на "прибыль" у нас остается только 105 единиц. Но если капитал в 10.000 принес 105 единиц "прибыли", то это значит, что каждая сотня единиц приносит лишь 1,05 (одну целую пять сотых), т. е., другими словами, что наш капитал приносит лишь 1,05 процента. А это противоречит нашему предположению, по которому капитал приносит 10,5 проц. прибыли. Чтобы остаться верными этому предположению, мы должны принять, что продукт второго

года равняется 11.050 ед.; другими словами, что его стоимость равняется стоимости затраченного капитала в соединении с прибавочной стоимостью, или, как сказал бы Чернышевский, с прибылью, которая сама составляет 10,5 % капитала. Иначе и быть не может. Если мы говорим, что данный капитал принес 10,5 % прибыли, то это значит, что в стоимости продукта, во-первых, воспроизводится стоимость капитала, а во-вторых, — к этой воспроизведенной стоимости капитала прибавляется еще новая стоимость: "прибыль". Но если это так, то не может произойти и того несоответствия "между суммою продукта" и "суммою прибыли", на которое указывает таблица Чернышевского. А таблица эта затем и составлена, чтобы доказать неизбежность такого несоответствия. Мы видим теперь, что она разбивается о свою собственную логику, и притом разбивается, так сказать, с разных сторон и на различные лады: логика одной рубрики (положим, рубрики — "сумма прибыли") разбивает ее с одной стороны и на один лад, а логика другой (скажем, рубрики — "сумма продукта") — на другой лад и с совершенно другой стороны. Это показывает, что в самом основании таблицы лежат какие-то ошибки. И нетрудно найти эти ошибки.

V.

Как составлена таблица Чернышевского? Ежегодный процент возрастания продукта принят равным 6,15; ежегодный процент возрастания суммы прибыли — 10,5. Есть ли какая-нибудь связь между этими двумя рубриками? Ни малейшей. Продукт растет совершенно независимо от роста прибыли, а следовательно, и от роста капитала; прибыль, а следовательно, и капитал — совершенно независимо от роста продукта. Прибыль вычитается, правда, каждый год из продукта, но растет она сама из себя и сама по себе, по особому закону, объяснения которого мы напрасно стали бы искать в ходе национального производства. Чернышевский рассуждает так: если бы первоначальная тысяча единиц прибыли была положена в банк и приносила ежегодно столько-то процентов, при чем эти проценты постоянно прилагались бы к ней, то она росла бы вот каким образом; следовательно, закон ее роста найден, остается только ежегодно вычитать из продукта ее постоянно возрастающую сумму, чтобы определить для каждого данного года величину фонда рабочей платы. Рано или поздно фонд этот начнет очень быстро уменьшаться, так как продукт не может расти с тою же быстротою, с какой растет капитал. Таким образом "гипотеза"

возрастания прибыли построена без всякого внимания к конкретным условиям производства и воспроизведения капитала. Единственным основанием ее служит арифметическое правило сложных процентов. А так как величина "фонда рабочей платы" зависит от величины "суммы прибыли", то выходит, что и закон рабочей платы определяется в последнем счете тем же правилом процентов. Мы видим из таблицы, что в течение целых десятилетий фонд рабочей платы растет очень быстро. В сорок первом году он оказывается в шесть раз больше, чем был первоначально. Почему же он вырос так значительно? Просто потому, что возрастала та разность, которая получалась от вычитания суммы прибыли из суммы продукта. Капиталисты отсчитали себе то, что им следовало, а затем весь остаток отдали рабочим, не присвоив себе из него ни одной копейки. Арифметика решает весь вопрос, от нее зависит все *распределение* продукта; действительные отношения труда к капиталу совершенно исчезают из нашего кругозора. А от чего зависит рост продукта, чем определяется ход национального производства? Он определяется тоже арифметикой: продукт растет тоже по сложным процентам, но только процент его возрастания меньше процента возрастания суммы прибыли. Все дело изображается так, как будто у нас есть два банка, из которых один принял в виде вклада первоначальную сумму продукта, платя на нее по 6,15 % в год, а другой принял первоначальную сумму прибыли и платит за нее по 10,5 %. Нам остается только принять к сведению эти операции и смотреть, с какой удивительной быстротой *прибыль* догоняет и даже перегоняет продукт в своем росте. Но ведь капитал не может приносить прибыль иначе, как будучи употреблен на производство, а будучи употреблен на производство, он воспроизводит свою стоимость в стоимости продукта; а воспроизводя свою стоимость в стоимости продукта, и притом воспроизводя ее с известной прибылью, — т. е. всегда составляя лишь часть стоимости продукта, — он не может перерасти целое, не может иметь бóльшую стоимость, чем продукт. Отсюда следует, что, какова бы ни была в действительности "тенденция прибыли", она порождается не той причиной, на которую указывает Чернышевский. Это становится очевидным тотчас же, как только мы покидаем область абстракции и принимаем в соображение действительные условия воспроизведения капитала.

Но, позвольте, скажет читатель. Откуда же вы взяли, что стоимость капитала не может перерасти стоимость ежегодного продукта страны? Стоимость капитала не только *может,* но и непременно *должна* быть больше стоимости продукта. Капитал

подразделяется, как вам известно, на постоянный и на переменный капитал (заработная плата). Переменный капитал, действительно, целиком воспроизводится в стоимости продукта. Но что касается *постоянного* капитала, то он переносит на продукт *только часть* своей стоимости. Орудия труда, фабричные здания и тому подобные части тела постоянного капитала служат для производства в течение многих лет; их ежегодное изнашивание сравнительно не велико; поэтому не велика и та часть их стоимости, которая переносится на продукт данного года. Достаточно иметь хоть некоторое понятие об экономике капиталистических стран, чтобы знать, что годовой продукт любой из стран гораздо меньше общей суммы находящегося в ней капитала. И Чернышевский вполне прав, если имеет в виду этот всем известный факт, утверждая, что национальный капитал растет быстрее национального продукта.

Несомненно, что Чернышевский избежал бы многих ошибок, если бы принял в соображение существенное различие составных частей капитала. Однако он поступил как раз наоборот. В своих примерных расчетах он совершенно забыл о постоянном капитале. В этом случае его ввел в ошибку Д. С. Милль. По мнению Милля, во всем процессе производства "все затраты состоят исключительно из рабочей платы". Понятно, что, при таком взгляде на "издержки производства", стоимость всякого товара сводится к формуле: рабочая плата (издержки производства, как сказал бы Милль, переменный капитал, — скажем мы) + прибыль (т. е. прибавочная стоимость). В этой формуле не отводится определенного места для постоянного капитала, или, вернее, для переносимой на данный продукт части его стоимости. Чернышевский принял эту формулу без всяких поправок и оговорок, а она очень нуждалась в них. Когда Милль говорил, что в стоимость товара входят только два элемента: рабочая плата и прибыль, то под рабочей платой он, *по крайней мере иногда,* понимал не только плату рабочих, трудившихся *в данном году* над производством этого товара. Он имел в виду также и плату рабочих, приготовивших сырой материал и другие средства производства. А все эти средства производства могут представлять собою продукт труда предыдущего года или даже предыдущих лет. То же по отношению к прибыли. В формуле: *рабочая плата + прибыль* должна быть принимаема в соображение прибыль всех тех предпринимателей, через руки которых прошли средства производства в процессе своего изготовления. Понятая таким образом, формула эта выражает очень плохое понимание факта перенесения стоимости производительных средств на стоимость данного товара; но она

все-таки считается с этим фактом. Чернышевский же при составлении своей таблицы придал другой смысл этой формуле. Пользуясь ею, он под прибылью и под рабочей платой понимал плату и прибыль, получаемые участником производства только в том году, к которому относится его расчет. Это уже большая ошибка, хотя надо признаться, что не легко было избежать ее при ошибочном виде разбираемой формулы стоимости. Посмотрим же, к чему привела Чернышевского его ошибка.

VI.

Национальное богатство состоит из стоимостей. Общая сумма этих стоимостей может быть выражена в общей формуле стоимости. В этой общей формуле мы имеем только два "элемента": рабочую плату и прибыль, под которыми понимается плата и прибыль каждого данного года. Выходит, что национальное богатство каждой данной страны в каждом данном году равняется рабочей плате, полученной в этом году работниками, в соединении с прибавочной стоимостью, присвоенной эксплуататорами. При составлении своей таблицы Чернышевский везде принимает это равенство. Вся она построена на том соображении, что "сумма богатств нации" не может расти так же быстро, как растет "прибыль"; "сумма богатств нации" постоянно принимается равной "сумме продукта" данного года. Всякому известно, что "сумма продукта" данного года далеко не то же, что "сумма богатств нации". И тем не менее, эта ошибка Чернышевского не привела бы его к новым ошибкам, если бы он "сумму национального продукта" данного года не приравнивал к сумме "рабочих плат" и "прибылей" (прибавочной стоимости) этого года. Но из его формулы стоимости необходимо вытекало это новое равенство. Формула оставляет без внимания постоянный капитал. Следовательно, в стоимости национального продукта остается место лишь для "прибыли" и для рабочей платы. Вот почему и мы не принимаем в соображение постоянного капитала, делая те или другие выводы из посылок Чернышевского.

Но что такое рабочая плата? Это переменный капитал. Воспроизводится ли он в стоимости продукта? Без сомнения, воспроизводится. Если весь капитал страны сводится к оборотному капиталу, то может ли стоимость суммы продукта быть меньше суммы затраченного на ее производство капитала? Ни в каком случае. Стоимость "суммы продукта" будет равняться *сумме капитала + сумма прибыли.* Капитал всегда будет

составлять лишь часть стоимости продукта. Может ли часть перерасти целое? Не может. Значит не может быть и несоответствия между ростом капитала и ростом продукта или ростом "суммы богатства нации".

Нам могут заметить еще, что Чернышевский говорит собственно о росте "суммы прибыли", а не о росте капитала. Это так. Но ведь прибыль постоянно прилагается у него к капиталу, т. е. постоянно превращается в капитал. Прибыль одного года становится капиталом следующего года. Только при этом условии она и может в свою очередь становиться источником прибыли. А так как, кроме того, Чернышевский предполагает неизменный уровень прибыли, то ясно, что рост ее "суммы" тождественен с ростом капитала.

Принимаемая Чернышевским формула стоимости по прямому смыслу своему вовсе не доказывает противоположности интересов труда и капитала. Стоимость товара равняется рабочей плате + прибыль. Если рабочая плата низка, то у защитников капитала оказывается наготове очень хорошая уловка: чем выше прибыль, тем скорее растет или, по крайней мере, может расти капитал. А капитал целиком затрачивается на рабочую плату. Следовательно, чем выше прибыль, тем больше данных для возрастания фонда рабочей платы, т. е. для повышения заработной платы. Таким образом капитал оказывается чем-то вроде того копья, которое само исцеляло наносимые им раны: если рабочим трудно приходится теперь под ярмом капитала, то именно трудность-то современного их положения и несет в себе залог лучшего будущего. Излишне напоминать, что задача Чернышевского заключается именно в опровержении этих апологетических выводов. Но он мог опровергать их только при одном условии: именно, рассматривая принятую им формулу стоимости с самой отвлеченной и односторонней точки зрения. Формула грешит тем, что в ней отведено место только переменному капиталу. Это уже само по себе достаточно односторонне, и только благодаря такому одностороннему взгляду на капитал и можно утверждать, что весь прирост капитала идет на увеличение "фонда рабочей платы". Но, говоря, что весь прирост капитала идет на увеличение фонда рабочей платы, мы предполагаем *воспроизведение* капитала. Наши посылки абстрактны и односторонни. Представьте же себе, что мы делаем еще несколько шагов в смысле отвлеченности. Прежде мы оставляли без внимания постоянный капитал, т. е. одно из необходимых *условии* производства. А теперь мы оставляем без внимания весь вообще процесс производства и воспроизведения капитала. Во что обращается наша формула стоимости? От нее

отлетает последнее дыхание жизни; она становится мертвой абстракцией, которая не только не напоминает нам о движении действительного экономического процесса, но как бы приглашает совершенно позабыть о нем, ведя нас к новым и новым ошибкам. Стоимость товара, а следовательно, и национальное богатство, а следовательно, и "сумма продукта" = рабочая плата + прибыль, вот все, что говорит нам эта формула. Как создается национальный продукт? Этого не видно из нее, и мы, не углубляясь в вопрос, "предполагаем", что "сумма продукта" ежегодно растет на 6,15 %. Какие превращения переживает прибыль, прилагаемая к капиталу и в свою очередь становящаяся источником прибыли? Иначе сказать, при каких условиях прибыль становится капиталом? Этого опять не видно из нашем формулы, и мы, не углубляясь в вопрос, опять разрешаем его простым предположением о том, что "сумма прибыли" увеличивается быстрее суммы продукта, ежегодно возрастая на 10,5 %. Что такое "фонд рабочей платы"? Как относится он к капиталу? Представляет ли он собою часть капитала, весь капитал, или, может быть, его нужно рассматривать, как особую экономическую категорию? Наша формула основана на том предположении, что "все затраты состоят из рабочих плат", т. е., иначе сказать, что капитал и фонд рабочей платы — одно и то же. Но если рассматривать ее независимо от процесса воспроизведения, то она не напоминает даже и об этой, на самом деле, неверно выраженной связи между капиталом и "фондом рабочей платы". В этом случае наша формула говорит нам только то, что по мере увеличения "суммы прибыли" уменьшается "фонд рабочей платы". Это кажется очевидным уже без всяких предположений: для каждого данного года "сумма продукта" есть величина определенная, и потому, чем больше вычитаемое, прибыль, тем меньше разность, доля рабочего класса. Но мы уже предположили, что сумма продукта, уменьшаемое, растет медленнее вычитаемого. Ясно, что рано или поздно фонд рабочей платы должен сойти на нет, т. е. что возрастание прибыли ведет нас к "невозможному состоянию общества". Теперь нам остается только пояснить наши выводы примерными арифметическими выкладками, — и наше дело сделано: мы *доказали* то, чего не *заметил* ни один экономист Смитовской школы. Само собою разумеется, что наши пояснительные выкладки будут отличаться такою же отвлеченностью, как и весь наш анализ формулы стоимости: арифметика не может напомнить нам о конкретных условиях экономического процесса производства. И вот мы пишем один ряд цифр, показывающих рост продукта; возле него располагается другой ряд цифр, изображающих рост "суммы

прибыли". В основе каждого из этих рядов лежат только наши предположения; ряды эти не связаны один с другим никакою внутренней зависимостью; их взаимное отношение есть чисто внешнее отношение вычитаемого к уменьшаемому. В результате вычитания получится новый ряд цифр, изображающих разность, — "фонд рабочей платы", который опять-таки связан с другими рядами цифр одною арифметическою зависимостью, без всякого внимания к действительному ходу производства и воспроизведения. Но как бы то ни было, наша цель, по-видимому, достигнута, противоположность интересов труда и капитала доказана "математически"; буржуазные сикофанты опровергнуты. Однако какой прием употребили мы для их опровержения? В нашем распоряжении были известные посылки, очень односторонние и потому ошибочные. Мы признали справедливость этих ошибочных посылок, но для избежания вытекающих из них апологетических выводов мы сделали новую ошибку, мы представили ошибочный анализ ошибочной формулы стоимости. Мы боролись против абстракции посредством новой и еще большей абстракции. Неудивительно, что наши рассуждения оказываются неправильными; что составленная нами таблица поминутно разбивается о логику то одного, то другого из своих собственных рядов.

VII.

Что все рассуждение Чернышевского о росте прибыли основано на ошибочном анализе формулы стоимости, видно, между прочим, из следующего. По его словам, действительность расходится с "математическим законом"; "сумма прибыли" растет на самом деле не так скоро, как того можно ожидать на основании таблицы. И происходит это по причинам, лежащим "в натуре человека". Чем больше растет капитал любого "коммерческого предприятия", чем обширнее становится дело, тем больше выходят его подробности из-под прямого контроля хозяина. Все бóльшая и бóльшая часть надзора за ведением дела переходит в руки наемных распорядителей. "Кто же не знает, как ведется дело наемным распорядителем? Почти всегда небрежно и едва ли не в большинстве случаев недобросовестно… Но и в самом хозяине большей частью развивается небрежность соразмерно увеличению его капитала. По нашей поговорке, копейка рубль бережет; но скучно следить за копейками тому, у кого прежние рубли разрослись в тысячи… Процент прибыли уменьшается с увеличением имущества, на которое идет прибыль.

Это — факт, до такой степени всеобщий, что в Англии уже никто не станет спорить, если вы скажете: процент прибыли, получаемой коммерческим человеком с его капитала, обратно пропорционален размеру его капитала… Но это еще не все. Пока благосостояние человека растет до степени, сообразной с его разумными нуждами, человек становится все рассудительнее и рассудительнее. Но есть размер средств, превышающий силу обыкновенного человеческого благоразумия. Каждый знает, верна ли поговорка: с жиру бесится… Очень не редки примеры людей, глупеющих по мере своего обогащения… Но если часто встречаются и примеры противоположного, если остаются до конца бережливы и благоразумны люди, разбогатевшие собственными усилиями, то редко уже бывают таковыми их дети: то, что накоплено отцом, проматывается сыном, — это обыкновенная история" [149].

Можно было бы сделать немало возражений на все эти доводы. Но мы не спорим с Чернышевским, а стараемся выяснить его взгляды. Поэтому мы просим читателя обратить внимание лишь на общую мысль нашего автора. Она сводится, если мы не ошибаемся, к тому, что "сумма прибыли" не растет со всею возможною для нее быстротою единственно по вине самих предпринимателей, или, если вам угодно, по вине человеческой природы, которая не может быть иною при данных обстоятельствах. Рост "суммы прибыли" замедляется вследствие того, что по мере обогащения буржуазии растут всякого рода непроизводительные затраты. Это верно. Но припомним нашу таблицу. Она показывает, что чем больше "сумма прибыли", тем меньше фонд рабочей платы. Непроизводительные затраты замедляют рост "суммы прибыли", следовательно, они замедляют и уменьшение фонда рабочей платы. Следовательно, непроизводительные траты, роскошь и мотовство буржуазии полезны для рабочего класса: чем больше мотовства, тем больше шансов для роста или, по крайней мере, для менее быстрого уменьшения фонда рабочей платы. Это ли хотел сказать Чернышевский? Склонен ли он был оправдывать роскошь высших классов соображениями о благе рабочих? Решительно нет. В его сочинениях можно найти немало хороших страниц, которые посвящены доказательству прямо противоположного взгляда. Но ведь, — не правда ли? — говоря, что мотовство высших классов полезно рабочим, мы делаем совершенно верный вывод из таблицы Чернышевского? Стало быть, он опять впадает в противоречие с самим собой? И да, и нет. Ему просто не пришла в голову мысль о возможности сделанного нами вывода, а не пришла по той простой причине, что он при составлении своей

таблицы забыл обо всех действительных отношениях производства, помня только то, что, *раз дана сумма продукта,* доля рабочего класса будет тем больше, чем меньше прибыль, и наоборот. Попробуйте забыть о воспроизведении капитала при анализе формулы: сумма продукта = рабочая плата + прибыль. Вы и сами скажете, что от каких бы причин ни уменьшалась сумма прибыли, рабочему классу выгодно ее уменьшение. Ведь вопрос о мотовстве высших классов есть именно вопрос о *воспроизведении капитала в более ими менее широких размерах.* Упустив из виду воспроизведение, вы естественно упускаете из виду и вопрос об экономическом значении мотовства. А когда вы вспомните о воспроизведении капитала, то вспомните и о вредном значении мотовства, буржуазного и барского "прожигания жизни". Тогда вы не скажете, что от каких бы причин ни происходило уменьшение "суммы прибыли", оно во всяком случае выгодно рабочим. Вы будете помнить, что если "сумма прибыли" уменьшается вследствие уменьшения размеров национального капитала, то ее уменьшение при прочих равных условиях означает уменьшение суммы продукта. Рост этой суммы продукта перестанет представляться вам в том абстрактном виде, в каком его изображает таблица Чернышевского. Вы сейчас же увидите, что между ростом продукта и ростом капитала существует тесная связь, нимало не выражаемая внешним отношением уменьшаемого к вычитаемому

Но какая же именно связь? Что касается этого вопроса, то ваш ответ на него определится опять-таки вашими понятиями о производственных отношениях и об условиях воспроизведения капитала. Если на эти отношения и на эти условия вы смотрите глазами, например, Милля, то вы и скажете об этой связи то же, что говорил Милль. А если вы смотрите на них как-нибудь иначе, то вы по необходимости разойдетесь с Миллем. Но и в том и в другом случае для вас будут совершенно бесполезны здесь те выводы, к которым вы пришли, позабыв о воспроизведении капитала. Обязанные своим происхождением неуместной абстракции, они, вероятно, будут позабыты вами тотчас же, как только вы покинете область односторонних отвлеченностей и хоть одной ногой станете на реальную экономическую почву.

По крайней мере, так случилось с Чернышевским. В главе "Прибыль" он противопоставляет капитал "фонду рабочей платы" и утверждает, что чем быстрее растет капитал, тем более прибыль стремится поглотить рабочую плату, и что это происходит одинаково как при размножающемся, так и при неразмножающемся населении. То же говорит он в главе "Рента". Но перейдя к вопросу о *"влиянии экономического прогресса на*

рабочую плату", он высказывается уже совсем в другом духе. "Если бы при возрастании капитала население не возрастало, — пишет он, — то стала бы возвышаться рабочая плата; следовательно, прибыль стала бы составлять все меньший и меньший процент на затраченный капитал, потому что прибыль — остаток из продукта за вычетом рабочей платы… Эта тенденция прибыли к понижению задерживается или непроизводительною растратою капитала, или перенесением капитала в другие страны, или улучшениями производительных процессов. Непроизводительною растратою капитала (напр., от праздной роскошной жизни или от коммерческих кризисов) уменьшается размер капитала, значит, уменьшается и рабочая плата; а если рабочая плата уменьшается, то, конечно, увеличивается остаток продукта, составляющий прибыль. Перенесением капитала за границу точно так же уменьшается сумма его, остающаяся в стране. Наконец, улучшениями производительных процессов понижается стоимость производства, а ее понижение при нынешнем быте обыкновенно влечет за собою понижение рабочей платы, если же рабочая плата уменьшается, то возрастает остаток продукта, получаемый капиталистом за вычетом рабочей платы" [150].

Итак, чем более растет капитал, тем более увеличивается, при прочих равных условиях, и фонд рабочей платы. Если бы вы, припомнив вышеприведенную таблицу, возразили на это, что быстрый рост капитала означает также и быстрый рост "суммы прибыли", а следовательно, и уменьшение "фонда рабочей платы", то Чернышевский указал бы вам на понижение *уровня* прибыли, вследствие которого *сумма* ее может остаться неизменной, несмотря на увеличение размеров национального капитала. Необходимость понижения уровня прибыли доказывается ссылкой на то обстоятельство, что прибыль есть "остаток из продукта за вычетом рабочей платы", подобно тому, как необходимость уменьшения размеров фонда рабочей платы доказывалась тем соображением, что рабочая плата есть остаток из продукта за вычетом прибыли. Все это очень затрудняет понимание мыслей Чернышевского. Вы спрашиваете себя, каков же окончательный вывод его: стремится, или же не стремится "сумма прибыли" поглотить рабочую плату при быстром росте капитала и при неразмножающемся населении? Это затруднение, которое испытал, вероятно, всякий, кто внимательно читал "Очерки из политической экономии", разрешается очень просто. В главе, посвященной вопросу о прибыли, он позабывает о воспроизведении капитала, а в главе, посвященной вопросу о влиянии экономического процесса на рабочую плату, он

вспоминает о нем и, вводя этот новый элемент в свои рассуждения, он, естественно, приходит к новым выводам. Но, вспомнив о воспроизведении капитала, он вовсе не отказывается от своей формулы стоимости. Он только рассматривает ее в движении, между тем как прежде рассматривал ее в абстрактном, неподвижном виде. Он покидает область абстракций и потому приближается к правильному взгляду на дело. Но он не совсем покидает ее: его формула стоимости сама представляет собою не более, как ошибочную абстракцию. Поэтому, хотя он и анализирует ее теперь с более правильной точки зрения, он все-таки приходит к совершенно ошибочному выводу. В действительности рост национального капитала далеко не всегда сопровождается увеличением спроса на рабочую силу. Спрос этот зависит не от общей "суммы" капитала, а от величины переменного капитала, т. е., именно того капитала, который идет на покупку рабочей силы. Если с увеличением общей суммы капитала уменьшается переменная часть его, то спрос на рабочую силу падает. Статистика западноевропейских стран, в особенности в Англии, неоспоримо доказывает, что на известной ступени развития капитализма рост капитала совершается параллельно с ростом относительно излишнего рабочего населения. Собственно говоря, Чернышевский вполне допускал возможность такого явления, да и не мог не допускать ее, так как она была доказана еще Рикардо. Чернышевский придерживается подразделения капитала "на оборотный, потребляемый и воспроизводимый одною операциею производства, и основной капитал, служащий целому длинному ряду производственных операций". По смыслу этого подразделения выходит, что капитал, называемый теперь переменным, или, как говорил Чернышевский, "продовольствие работников", составляет значительную или даже "главную часть оборотного капитала". С развитием машинного производства часть оборотного капитала переходит в — основной, а "это значит, что та сумма продовольствия, которая ежедневно потреблялась и воспроизводилась работниками, берется из их потребления, чтобы впоследствии воспроизводиться лишь гораздо меньшими частями" [151]. Отсюда уже совершенно ясно, что рост капитала может, смотря по обстоятельствам, вести как к увеличению, так и к уменьшению "фонда рабочей платы". Но Чернышевский не делает никаких выводов из этого чрезвычайно важного соображения. По поводу его он ограничивается замечанием: "Без вреда для работников может поступить в основной капитал только тот излишек ежегодных новых сбережений, какой остается за полным воспроизведением прежнего оборотного капитала, с прибавкою процента,

соответствующего приращению населения страны" [152]. Это сказано им при разборе взглядов Милля на "труд и капитал, как элементы производства". В учении же о распределении, которое рассматривается им совершенно независимо от производства, он, как мы видели, забывает не только об *отношении* основного капитала к оборотному, но и о *самом существовании* как основного капитала, так и той части оборотного, которая не идет на покупку рабочей силы. Там весь капитал сводится у него к "продовольствию рабочих". Поэтому там не может быть и речи об изменении относительной величины составных частей и капитала. Но даже и там, в учении о распределении, он не сводит в одно целое своих взглядов на прибавочную стоимость. В главе о прибыли он делает к буржуазному учению о ней известное уже нам пополнение, которое считает очень важным. А в главе о влиянии экономического прогресса на рабочую плату он совершенно забывает об этом пополнении и повторяет те самые взгляды экономистов на движение прибавочной стоимости, которые, казалось, были окончательно опровергнуты "пополнением".

VIII.

Иначе и быть не могло. Теория стоимости недаром считается краеугольным камнем науки о хозяйстве буржуазного общества. Не имея ясного понятия о стоимости вообще, Чернышевский не мог подвергнуть основательной критике учение вульгарных экономистов о *прибавочной* стоимости. Возможность такой критики исключалась уже просто отношением его к буржуазной экономии. Возражая вульгарным экономистам, он в то же время целиком и без всякой проверки принимал многие основные "теоремы" буржуазной экономии, при чем и теоремы эти он брал не у классиков буржуазной экономии, а у исполненного противоречий Милля. К теориям Милля он и делал свои пополнения. В основе пополнений часто лежали очень важные и остроумные мысли, свидетельствующие как о замечательном, редком уме Чернышевского, так и о горячих симпатиях его к рабочему классу. Но, развивая эти мысли, Чернышевский не переставал, — и не мог перестать, — быть утопистом. Сделанные им пополнения имеют совершенно утопический характер. В дальнейшем изложении, сталкиваясь с основными теоремами, они скоро утрачивают всякое влияние на рассуждения Чернышевского, так что в *последующих главах* ему поневоле приходится повторять выводы буржуазных экономистов, по-видимому так блистательно, с такою горячностью, иронией и остроумием опровергнутые в *предыдущих.* Как много вредил ему при всем этом его абстрактный *гипотетический* метод, позволяющий рассматривать экономические явления вне их взаимной жизненной связи, одно после другого и одно независимо от другого, мы уже говорили не раз. Трудно открыть что-либо при помощи такого метода, заметили мы в первой главе. Теперь прибавим, — и читатель, надеемся, согласится с нами, — что, употребляя этот метод, легко наделать множество самых неожиданных ошибок. Пополняя Милля, Чернышевский, в своем пристрастии к "математическому" методу, дошел до самых бестелесных абстракций, устранив из своих соображений все реальные отношения производства. Он опирался на одну арифметику и вдался, можно сказать, в какой-то экономический пифагореизм, ища в "математических законах" причин *экономических явлений.* Но математика не может указать, да и не претендует на указание *причин* общественной жизни или природы. Она только помогает нам определить количественную сторону действия этих причин. Сила света обратно

пропорциональна квадратам расстояний. Объясняет ли математика причину этот явления? Нет, она только помогает формулировать его закон, предоставляя физике отвечать на те "почему?", которые могут возникнуть в голове любознательного человека. Когда физика пытается сказать свое "потому", математика опять очень услужливо является ей на помощь, но опять-таки и здесь предоставляет последнее слово физике. Так же поступает она и с политической экономией, если речь идет о каком-нибудь экономическом явлении. Математика — очень почтенная, очень полезная и очень услужливая наука. Но не надо злоупотреблять ее услужливостью, не надо задавать ей такие задачи, которых решить она не может. Если вы вздумаете предъявлять ей неосновательные требования, она жестоко отомстит за это, заведя вас в такие дебри абстракции, из которых трудно и выбраться без своевременной помощи той науки, к области которой относится заинтересовавшее вас явление. Да и не одна математика отличается подобной мстительностью. Она глубоко коренится в характере всех прочих наук. Вот, например, людям, занимавшимся философией истории, приходила иногда мысль сводить к законам физиологии, — частью физиологии растительных процессов, а больше всего физиологии нервной системы, — решение вопроса о влиянии природы на развитие общественных отношений. И что же вышло? Умные люди, вроде Монтескье, наговорили массу страшного, чисто ребяческого вздора, который, правда, и до сих пор повторяется по временам тоже весьма толковыми людьми, но на самом деле только мешает решению в высшей степени важного научного вопроса. И нельзя удивляться появлению этого вздора. Стали задавать физиологии исторические задачи, к которым она не имеет и не может иметь никакого прямого отношения; стали применять ее *"потому"* к совершенно неподходящим случаям, ну и получились нелепости, от которых дай бог поскорее отделаться общественной науке. Это в порядке вещей.

IX.

Математическая возможность данного явления вовсе еще не ручается за то, что оно возможно в природе или в общественной жизни. Чернышевский прекрасно знал и очень остроумно доказывал это. Вот что говорит он по поводу книги немецкого писателя Зюсмильха, на которую ссылался Мальтус. "Зюсмильх, между прочим, просил Эйлера составить таблицы возрастания числа людей при разных пропорциях рождений и смертностей.

Эйлер брал разные цифры и при одних — период удвоения выходил очень длинный, при других, разумеется, очень короткий, от 600 слишком лет до 7 с небольшим лет. Разумеется, можно было бы вычислить периоды еще более короткие. Иное дело, если спросить, какой процент возрастания допускается самим устройством человеческого организма. Можно ли положить, чтобы в действительности люди, при каких бы то ни было условиях, могли размножаться по ежегодной профессии приращения в 10 % или в 8 %, или хоть в 5 %? Но Зюсмильх не спрашивал об этом Эйлера; он только просил его составить таблицы удвоения по сложным процентам, при разных величинах процента, в том роде, как мог бы просить его рассчитать, сколько пищи в день понадобится человеку при различных величинах его роста, от 1 фута до 20 сажен. Эйлер сказал бы, сколько пищи понадобится человеку, имеющему рост в 10 сажен, имеющему рост в 11 сажен и т. д. Словом сказать, Эйлер решал тут задачу в том роде, какие очень часто попадаются в руководствах к математике или к физике. Например: во сколько времени достигнет до солнца ядро, летящее с быстротою, какую имеет в первую секунду полета; или: что будет с куском железа, постепенно опускаемым в колодезь, прорытый до центра земли? Математик очень правильно отвечает, что ядро долетит до солнца во столько-то времени, кусок железа дойдет до степени красного каления во стольких-то верстах ниже поверхности земли, до белого — во стольких-то, наконец, расплавится в стольких-то верстах. При этом математику нет никакого дела разбирать, существует ли предполагаемый колодезь, существует ли пушка, брошенное которою ядро могло бы полететь дальше немногих верст: подразумевается само собою, что математика только группирует цифры, вовсе не ручаясь за их действительность. Но вообразим себе, что прочитал решение таких задач человек, забывший или не знавший, что надобно подразумевать это. Вообразим себе, что ему показалось, будто бы автор алгебраического руководства не просто сгруппировал цифры, а прямо говорит, будто все эти выводы могут осуществиться на самом деле. Какие поразительные теории могут родиться в голове такого человека! Он предложит, например, раскалять железо не кузнечными печами, а просто опусканием на 20 верст под поверхность земли, или отбить ядром кусок луны, чтобы этот кусок упал на землю, и тогда мы знали бы, из чего состоит луна. Вот нечто в этом самом роде случилось с Мальтусом. Увидев цифры Эйлеровых таблиц, он прямо так и подумал, что население может удваиваться в 25, в 20, в 15, в 10 лет и даже еще быстрее, как написано в таблицах Эйлера у Зюсмильха. Если бы у него

голова не была вся занята мыслью отыскать аргумент против теории Годвина [153], он, конечно, не сделал бы такой опрометчивой ошибки; но в таблицах Зюсмильха (Эйлера) он увидел нужный ему аргумент, имя Эйлера ручалось за верность вычислений, чего же больше?" [154]. Это все очень хорошо, но, оставляя пока в стороне вопрос о том, что и как случилось с Мальтусом, мы заметим, что именно нечто в этом роде случилось и с Чернышевским. Пополняя учение Милля о прибавочной стоимости, он именно только "группировал цифры", совершенно забывая об экономической действительности. И случилось это в значительной степени по той же причине, которою вызвана была, по его словам, опрометчивая ошибка Мальтуса: Чернышевский имел в виду исключительно только полемическую цель, руководствовался одним только желанием оттенить невыгодные стороны существующего порядка. Математика ручалась, по-видимому, за справедливость всех его расчетов. Он и удовольствовался этим ручательством. А как и отчего совершается действительное движение прибавочной стоимости, об этом справиться он и не подумал.

Разбор учения Мальтуса предшествует у Чернышевского исследованию о прибыли. Таким образом он *повторяет* ту ошибку, в которой упрекает Мальтуса, и повторяет уже после того, как она была им самим указана. И мы увидим, что он не только в исследовании о прибыли повторяет эту ошибку. Главное возражение его Мальтусу было построено на подобной же математической абстракции.

Чернышевский не хочет забавлять читателя "курьезными расчетами", доказывающими, что "если бы Адам положил в банк одну копейку, то ныне каждому из нас пришлось бы получить из банка массу золота, гораздо большую, чем какая могла бы поместиться в шарообразном мешке, диаметром своим равняющемся всему поперечнику солнечной системы до орбиты Нептуна" [155]. Почему же нет? Потому, что слишком бросается в глаза экономическая нелепость этого расчета. Но в применении к фактам новейшей экономической жизни совершенно подобный же расчет не кажется Чернышевскому нелепым и принимается, как нечто совершенно основательное. А между тем, вся разница заключается здесь *просто во времени.* "Чтобы соображение наше могло справиться с цифрами, какие будут получаться у нас, — говорит Чернышевский, приступая к составлению своей таблицы, — мы должны ограничить расчет времени, соответствующим деятельности одного поколения, тридцатью годами" [156]. Но неосновательный расчет остается одинаково неосновательным, как бы ни был короток тот промежуток

времени, к которому он относится. При длинном промежутке сами цифры, своею ни с чем не сообразною величиною, напоминают нам о действительности. При коротком промежутке они не делают этого, оставляя нас в заблуждении относительно правильности наших рассуждений. В этом вся выгода (или невыгода) коротких промежутков.

Во всем расчете Чернышевского единственная ссылка на экономическую действительность заключается в указании того обстоятельства, что некоторые отдельные капиталы чрезвычайно быстро растут "по геометрической прогрессии". "Начав свои обороты с какою-нибудь сотнею рублей, человек становится в 50 лет миллионером". Но современному читателю едва ли нужно напоминать, что рост отдельных и в особенности *торговых* капиталов может быть причинен изменениями в *распределении* национального дохода и вообще национального богатства, не сопровождаясь при этом возрастанием общей суммы национального капитала, а следовательно, и общей суммы прибыли. Рост же национального богатства буржуазных стран нельзя объяснить иначе, как условиями *воспроизведения* капитала.

Чернышевский предполагает в своей таблице, что "сумма продукта" равняется первоначально десяти тысячам, а через шестьдесят лет разрастается до 360.000. И такой рост ее предполагается одинаково возможным как при размножающемся, так и при неразмножающемся населении, т. е. при неизменяющемся числе работников. Что же изображают собою различные цифры, относящиеся к рубрике: сумма продукта? Они не могут выражать ничего, кроме стоимости этой суммы. Но ведь стоимость создается трудом. Если стоимость товара *A* в 36 раз больше стоимости товара *B,* то это значит, что на производстве товара *B* нужно в 36 раз меньше труда, чем на производство товара *A*. Если при неизменяющемся числе работников стоимость продукта их труда становится в 36 раз больше, чем была прежде, то это значит, что каждый работник вкладывает теперь в продукт в 36 раз больше труда, чем вкладывал первоначально [157]. А это ни в каком случае невозможно без увеличения интенсивности труда и продолжительности рабочего дня. Чернышевский ничего не говорит ни о том, ни о другом. Даже более. Как и у Милля, как и у Рикардо, как и у множества других экономистов, продолжительность рабочего дня и интенсивность труда всюду безмолвно принимаются у него за величины постоянные [158]. Но при неизменной интенсивности труда и при неизменной продолжительности рабочего дня стоимость продукта данного числа работников остается неизменною. Как же не заметил этого Чернышевский? Дело в том, что он и сам едва ли ясно сознавал,

что такое имеет он в виду, говоря о росте "суммы продукта": *стоимость продукта, или же представляемое им вещественное богатство?* Да с той отвлеченной точки зрения, на которую он стал при составлении своей таблицы, не видно было и надобности в строгом различении этих существенно различных понятий.

Еще одно, — последнее, — замечание. Когда Чернышевский упрекает экономистов Смитовской школы в том, что они не заметили свойства прибыли расти по сложным процентам, он неверно выражает свою собственную мысль. В его таблице "сумма продукта" растет тоже по сложным процентам. Если, тем не менее, прибыль поедает в ней весь продукт, то это происходит единственно потому, что процент ее возрастания больше процента возрастания продукта. Значит, дело не в прогрессии, а в *знаменателе* прогрессии. Можно бы и не говорить о таких мелочах. Но мы еще увидим, что неточность *выражений* нашего автора нередко вела за собою вовсе уже не мелочные последствия, причиняя ошибки в его *рассуждениях*.

X.

Однако, повторяем, совершенно справедлива та основная мысль, которую хотел доказать Чернышевский. С развитием капитализма рабочая плата действительно составляет *все меньшую и меньшую часть национального продукта.* Теперь это доказано самым убедительным образом, но доказано, разумеется, не арифметикой, а статистикой. К статистике и должны обратиться те, которые захотели бы убедиться в справедливости наших слов [159]. А кто, не сомневаясь в сущности этого явления, захотел бы найти удовлетворительное объяснение его, тот должен был бы взглянуть на вопрос об относительном росте прибавочной стоимости с точки зрения изменяющихся условий воспроизведения капитала, с точки зрения отношений рабочих к капиталистам. "Прибыль" (прибавочная стоимость) стремится "поглотить рабочую плату" потому, что с развитием капитализма отношения эти все более и более изменяются в пользу предпринимателей. "Быстрый рост капитала является, по отношению к наемному труду, наивыгоднейшим из всех условий" [160]. Рабочий прежде и чувствительнее всех платится за всякий застой в историческом развитии капитализма. А между тем "рост капитала вызывает несравненно более быстрое возрастание конкуренции, т. е. ведет к несравненно более быстрому относительному уменьшению источников заработка и средств

существования для рабочего класса" [161]. Рост общей суммы капитала сопровождается уменьшением переменной его части, и это происходит в то время, когда, даже независимо от роста народонаселения, увеличивается предложение рабочей силы: рядом со взрослыми рабочими на "рынке труда" являются дети, рядом с мужчинами — женщины. Соперничество между продавцами рабочей силы страшно понижает ее цену, которая падает теперь ниже ее стоимости. Капиталисты блаженствуют. Руки и дешевы, и сговорчивы. Эксплуатация рабочих увеличивается в неслыханной степени. А на ней основывается обогащение капиталистов. Вместе с ростом эксплуатации растет и уровень прибавочной стоимости, которая составляет все бóльшую и бóльшую долю национального продукта. И это еще не все. Мы сказали, что цена рабочей силы падает ниже ее стоимости. Но если бы этого и не было, если бы капиталист покупал рабочую силу по ее действительной стоимости, то и тогда было бы неизбежно относительное уменьшение доли рабочего класса в национальном продукте. Развитие капитализма сопровождается увеличением производительности труда. С увеличением производительности труда удешевляется содержание работника, а так как стоимость рабочей силы определяется стоимостью этого содержания, то вполне ясно, что с увеличением производительности труда должна увеличиваться та доля *национального продукта,* которая остается у капиталиста за вычетом стоимости рабочей силы. Таким образом по мере развития капитализма отношения производства все более и более изменяются к выгоде капиталистов и к невыгоде работников. Следовательно, если "прибыль поглощает рабочую плату", то причина этого лежит в отношениях людей, а не в качествах вещей и не в отвлеченных свойствах той или другой экономической категории. Говоря, что прибыль имеет свойство увеличиваться в той или другой прогрессии, мы только выражаем известным образом экономический факт, который не перестает требовать от нас своего объяснения. Некоторые буржуазные экономисты ограничивали свои рассуждения о меновой стоимости указаниями на то, что предметы имеют способность обмениваться друг на друга в известной пропорции. Таким образом меновая стоимость оказалась одним из свойств вещей. Чернышевский ищет причины относительного уменьшения рабочей платы в свойствах прибыли, т. е. в свойствах одной из экономических категорий. Но экономические категории сами выражают собою не что иное, как взаимные отношения людей, или целых классов людей, в общественном процессе производства. Экономиче-ская наука только тогда и стала на правильную точку зрения, когда

поняла это и занялась исследованием тех взаимных отношений, которые скрываются за мнимыми качествами вещей и за таинственными свойствами экономических категорий. Но необходимость этого, в высшей степени важного, шага в развитии экономической науки еще не подозревали ни Д. С. Милль, ни его переводчик и критик Н. Г. Чернышевский.

Вернемся к вопросу о прибавочной стоимости. Мы сказали, что по мере развития капитализма увеличивается ее *уровень*. Чернышевский, пытавшийся доказать ту же самую мысль в главе о прибыли, в последующих главах утверждает, что следствием промышленного прогресса бывает *понижение прибыли*. "В передовых странах прибыль вообще довольно близка к minimum'у, а по достижении этого minimuma'а перестает возрастать капитал и наступает так называемое неподвижное состояние" [162]. Таков окончательный вывод нашего автора. Мы уже говорили, что вывод этот противоречит действительности. Но для того, чтобы со всех сторон выяснить себе взгляд Чернышевского, мы должны сопоставить учение его о прибыли с его же учением о поземельной ренте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ — Поземельная рента

1.

В учении о поземельной ренте Чернышевский, по-видимому, строго держится взглядов Рикардо. Он зло смеется над Кэри, пытавшимся опровергнуть теорию знаменитого английского экономиста [163]. Но излагая и защищая учение Рикардо, Чернышевский не забывает и главной своей цели: оттенения невыгодных сторон существующего экономического порядка. Он замечает, что в виде ренты землевладелец присваивает себе продукт неоплаченного труда. "Если угодно, вы можете доказывать, — говорит он, — что рента не входит в издержки производства, что она не составляет лишнего расхода, а выражает собою только экономию труда в лучших условиях сравнительно с трудом в менее хороших условиях. Положим, что все это так; но как бы то ни было, рента составляет долю продукта; если она отделяется от рабочей платы, это значит, что у человека, занимающегося производством, остается ровно настолько меньше продукта, насколько выделяется из продукта рента" [164]. Это, разумеется, совершенно справедливо. Но когда, почти непосредственно вслед за этим, Чернышевский говорит, что

"рента подобно прибыли имеет тенденцию захватывать все бóльшую и бóльшую долю из продукта", и что таким образом "рента играет относительно прибыли и рабочей платы точно такую же роль, какую прибыль играет относительно рабочей платы", — то он опять обнаруживает значительную неясность своих экономических понятий. В самом деле, в своем исследовании о прибыли Чернышевский имел в виду не собственно предпринимательскую прибыль, а всю вообще прибавочную стоимость. Он сам оговаривается, "что рента тут в счет не идет, потому что она сама только излишек прибыли, остающийся в некоторых случаях по некоторым отраслям производства". И действительно, поземельная рента составляет лишь часть прибавочной стоимости. Но если это так, то замечание Чернышевского о росте ренты приходится выразить следующим образом: достающаяся землевладельцу часть прибавочной стоимости играет относительно всей вообще прибавочной стоимости и рабочей платы точно такую же роль, какую прибавочная стоимость играет относительно рабочей платы: рост одной части прибавочной стоимости, *поземельной ренты,* приводит к уменьшению той доли продукта, которая, *за вычетом ренты,* остается *на всю вообще* прибавочную стоимость и на рабочую плату. Это явная несообразность, происхождение которой может быть объяснено только тем, что в главе о поземельной ренте Чернышевский словом "прибыль" обозначает уже не всю вообще прибавочную стоимость, а собственно так называемую предпринимательскую прибыль, т. е. опять-таки лишь одну часть прибавочной стоимости. В таком случае мысль его становится, по-видимому, совершенно понятной. Однако и это не совсем так. Если в главе о ренте Чернышевский под прибылью понимал только прибыль предпринимателя, а не прибавочную стоимость вообще, то он не имел права уподоблять тенденцию ренты тенденции предпринимательской прибыли, так как к этой последней ведь не имеют прямого отношения рассуждения его о росте прибавочной стоимости. Ясно, что Чернышевский, связывая со словом "прибыль" совершенно различные понятия, незаметно для себя, — а потому и без всяких оговорок, — переходит от одного из них к другому, чем вносит запутанность как в изложение, так и в самое исследование предмета. Ввиду подобной неточности его выражений невольно является мысль, что, может быть, он вовсе не противоречит сам себе, когда, рассуждая "о влиянии экономического прогресса на рабочую плату", приписывает прибыли "тенденцию к понижению": может быть, он разумеет там не всю вообще прибавочную стоимость, а лишь доход предпринимателей. Чтобы устранить это сомнение,

напоминаем подлинные слова нашего автора. "Если бы при возрастании капитала население не возрастало, то стала бы возвышаться рабочая плата; следовательно, прибыль стала бы составлять все меньший и меньший процент на затраченный капитал, потому что прибыль — остаток продукта за вычетом рабочей платы. А если бы население размножилось, надобно было бы увеличиваться количеству пищи, то есть надобно было бы земледелию спускаться на земли менее плодородные, земледельческий труд становился бы менее успешным и опять-таки стала бы уменьшаться доля, остающаяся у предпринимателя за вычетом расхода на содержание работника" [165]. Если мы не ошибаемся, в этих строках под словом "прибыль" принимается *прибавочная стоимость вообще,* т. е. та доля продукта, которой Чернышевский приписывал свойство расти в геометрической прогрессии. Но если бы, против ожидания, нужно было понимать здесь слово "прибыль" в смысле дохода предпринимателя, то и тогда наш автор все-таки противоречил бы сам себе. Понижение прибыли оказывается здесь неизбежным даже в том случае, когда население не размножается, запрос на пищу не увеличивается, земледелие не переходит на менее плодородные участки и потому поземельная рента не возрастает. Причиной понижения прибыли является здесь единственно только увеличение спроса на труд и возвышение заработной платы, которое признается неизбежным следствием роста капитала, между тем как раньше Чернышевский доказывал, что даже при неразмножающемся населении рост капитала означает не падение уровня прибыли, а уменьшение фонда рабочей платы.

II.

Но что понимает Чернышевский под выражением уровень прибыли? Ввиду того, что со словом прибыль у него соединяются два различных понятия, само выражение *уровень прибыли* имеет у него двойственный смысл: иногда оно означает отношение к капиталу всей суммы прибавочной стоимости, а иногда только отношение к нему собственно предпринимательской прибыли. Это понятно само собою. Но спрашивается, о каком именно капитале говорит Чернышевский? Если в каждом данном процессе производства все издержки предпринимателя "сводятся к рабочим платам", то весь капитал превращается в то, что называется теперь переменным капиталом. Значит, под выражением уровень прибыли наш автор, по крайней мере, иногда, понимал совершенно то же самое, что и теперь

понимается под ним: отношение прибавочной стоимости к стоимости рабочей силы. *О таком* "уровне прибыли" можно категорически сказать, что он не только не понижается, но постоянно возвышается с ходом экономического прогресса. Если же, говоря об "уровне прибыли", Чернышевский припоминал, что в действительности далеко не все издержки предпринимателя сводятся к рабочим платам, если он принимал в соображение постоянный капитал, то в таком случае приходится заметить, что понижение "уровня прибыли" может прекрасно уживаться с возрастанием степени эксплуатации работника. Чтобы пояснить это, прибегнем и мы к "гипотезе". Положим, что и постоянный, и переменный капитал равняются у нас каждый десяти единицам; прибавочная стоимость тоже равняется десяти. Общая сумма капитала относится к прибавочной стоимости как 20 к 10. Следовательно, "уровень прибыли" равняется (10:20) 50 %. Положим далее, что наш капитал растет, при чем рост его сопровождается изменением относительной величины его частей; постоянный капитал равняется теперь 35 един.; переменный по-прежнему — 10, а прибавочная стоимость возросла до 15. "Уровень прибыли" равен теперь (15: 45) 331/3 %. Он, как видите, понизился, но степень эксплуатации труда испытала огромное увеличение: прежде рабочие, получая в виде платы 10 единиц стоимости, создавали своим неоплаченным трудом тоже 10 единиц для предпринимателей. Степень эксплуатации труда равнялась (10: 10) 100 %. Теперь же она равняется (15: 10) 150 %. Капиталисты получают теперь относительно гораздо бóльшую долю годового продукта. Но так как процентное отношение этой доли к общей сумме капитала значительно уменьшалось, то можно подумать, что не "прибыль стремится поглотить" теперь рабочую плату, а, наоборот, рабочая плата поглотила часть прибавочной стоимости. Чернышевский упустил из виду возможность такого сочетания обстоятельств.

Что касается поземельной ренты, то, по смыслу теории Рикардо, она растет единственно вследствие перехода земледелия на менее и менее плодородные участки. Но переход земледелия на менее плодородные участки при прочих равных условиях означает возрастание стоимости содержания работника, т. е., иначе сказать, возрастание стоимости рабочей силы. Возрастание же стоимости рабочей силы равносильно уменьшению доли эксплуататоров в национальном продукте, а следовательно, уменьшению степени эксплуатации труда и уровня "прибыли" (прибавочной стоимости). Чернышевский был бы совершенно прав, если бы сказал, что рост поземельной ренты, причиняемой переходом земледелия на менее плодородные

участки, сопровождается относительным уменьшением прибавочной стоимости. Но он говорит совсем не то. Из его слов выходит, что рента растет одновременно с относительным увеличением прибавочной стоимости, но растет скорее, чем эта последняя, вследствие чего очень быстро уменьшается доля продукта, достающаяся предпринимателям и работникам вместе взятым; Но такой ход дела противоречит его собственным посылкам, т. е. той самой теории Рикардо, которая лежит в основе его рассуждений о влиянии роста поземельной ренты на распределение национального продукта.

Впрочем, здесь надо оговориться. Многие буржуазные экономисты считали постепенное уменьшение производительности земледельческого труда, сопровождающее рост народонаселения и капитала, совершенно бесспорным явлением. Чернышевский только условно допускает такое уменьшение. Он думает, что оно непременно имело бы место, если бы не происходило улучшений в земледелии. Но такие улучшения постоянно совершаются, а этим задерживается рост поземельной ренты. "Общая формула всякого прогресса, — говорит нам автор, — состоит в том, что он уменьшает силу неравенств [166]. В применении к земледельческому производству каждое усовершенствование, возвышая успех дела в лучших обстоятельствах, обыкновенно еще значительнее возвышает его в обстоятельствах, менее хороших, а во всяком случае устраняет надобность вести дело в обстоятельствах, бывших самыми худшими. Например, если от замены сохи хорошим плугом на земле первого сорта будет родиться 12 четвертей вместо прежних 10, то на земле пятого сорта будет в большей части случаев родиться вместо прежних 6 четвертей но 8, а 9; а во всяком случае от значительного увеличения продукта с этих первых пяти сортов земли отстранится надобность возделывать землю шестого сорта, которая возделывалась прежде, давая только 5 четвертей. Таким образом низшая норма успешности дола, норма, определяющая ренту, значительно облегчается" [167].

Есть еще другая сила, задерживающая, по мнению Чернышевского, возрастание поземельной ренты. Сила эта заключается "в самой чрезмерности стремления ренты возрастать: рента идет к поглощению прибыли и рабочей платы, т. е. к низвержению трехчленного деления продукта, к замене его формою устройства еще менее удовлетворительною, — формою, при которой и предприниматель и работник потеряли бы самостоятельность, сделались бы принадлежностью землевладельца, частью его собственности. Прибыль идет при этой системе к подчинению работника капиталисту, а рента идет

к подчинению работника и капиталиста вместе землевладельцу. Само собою разумеется, что такая ретроградная тенденция отражается на производстве уменьшением его успешности, т. е., рента при трехчленном делении ведет не только к уменьшению доли продукта, остающейся на рабочую плату и прибыль, но и к уменьшению самой суммы продукта, т. е., ведет к уменьшению населения; а при уменьшении населения, конечно, прекращается надобность возделывать последний из возделывавшихся прежде сортов земли, а от этого рента подрывает сама себя. Эта тенденция ренты уменьшать сумму продукта, конечно, борется с силою прогресса, стремящеюся увеличить его, и в новые времена сила прогресса стала уже настолько велика, что одерживает постоянный перевес, и действие ренты в новой истории является не уменьшающим продукт, а только уменьшающим его увеличение" [168].

III.

В главе о ренте Чернышевский только мимоходом касается вопроса о мнимом уменьшении производительности земледельческого труда. Подробнее рассматривает он его при разборе учения Мальтуса о народонаселении, а также в главе о влиянии экономического прогресса на рабочую плату. Главный довод его против Мальтуса сводится к тому, что уменьшение производительности земледельческого труда, причиняемое переходом земледелия на худшие участки, в сущности очень ничтожно, и что даже во времена самого мрачного средневекового застоя земледельческие усовершенствования легко могли пересилить действие этой причины. Мы еще вернемся к этому доводу Чернышевского, а пока остановимся лишь на следующих соображениях его. Количество труда, нужное на производство продуктов, уменьшается как в мануфактурной промышленности, так и в земледелии. Но в земледелии оно уменьшается не так быстро, как в мануфактурной промышленности. Поэтому стоимость земледельческих продуктов увеличивается сравнительно со стоимостью мануфактурных товаров. Спрашивается, почему же земледелие отстает от мануфактурной промышленности? "Земледельческое искусство и знание растут медленно, а распространяются еще медленнее", — говорит Милль, Чернышевский справедливо замечает, что "этот очень справедливый ответ вовсе еще не ответ, а только новый вопрос". "Отчего же земледельческое искусство и знание растут медленно, а распространяются еще медленнее?" — спрашивает

он. Известно, что "земледельческое производство составляет процесс гораздо более многосложный, чем какая-нибудь фабрикация; натурально, что задача об усовершенствовании простейшего дела требует меньших соображений, чем усовершенствование дела более запутанного. Но ведь и это еще не ответ. Если одна задача труднее другой, то следовало бы ожидать, что гениальнейшие умы займутся первою, предоставив вторую умам второстепенным". Но гениальные умы, как бы сговорившись, обходят вопросы земледелия. "Всем готовы заниматься гениальные люди: живописью и математикой, историей и медициной, а земледелием теперь занимается только один из них — Либих, и то занимается так себе, почти что только в свободное время от других трудов; а до Либиха не укажете вы ни одного великого ученого по теории земледелия. Это явление Чернышевский старается объяснить указанием на тесную связь, существующую между развитием науки и интересами господствующих классов. "Те классы, интересами которых направлялась до сих пор наука, не нуждаются в хлебе, — говорит он. — Любознательность, общая им со всеми людьми, направляла человеческую мысль к отвлеченным наукам; в практических знаниях направляла она ее к усовершенствованию всех дел, по которым недостает чего-нибудь нужного высшему или среднему классу. Мы выучились как строить корабли, дома, ткать материю; удивительных успехов достигли эти искусства, потому что без очень высокого развития их чувствует неудобство в жизни человек богатый или зажиточный. Но и при самом младенческом состоянии земледелия дурна ли, или недостаточна его пища? — слава богу, он ест вкусно и сытно. Разумеется, каждый должен заниматься своим делом, думать о своих надобностях. Усовершенствование земледелия нужно только простолюдину. Пока простолюдины не имели никакого значения в истории, они одни с своим невежеством и хлопотали о земледельческих улучшениях. Появление Таэра, который первый рационально занялся сельским хозяйством, недаром совпадает с концом прошлого века, когда простолюдины сделали попытку заявить свои права в истории. Либих, который первый из великих ученых занялся земледелием, не случайно явился современником так называемых утопистов" [169].

По поводу этого "коренного ответа" Чернышевского на вопрос об отсталости земледелия приходится сказать почти то же, что говорили мы обо всех других пополнениях его к учениям буржуазных экономистов. Ответ этот очень остроумен. Давая его, наш автор обнаруживает гораздо более верный взгляд на историю науки и вообще на движение мысли, чем те будто бы глубокие

мыслители, по мнению которых наука и мысль развиваются сами из себя и сами для себя, независимо от влияний жизни и без всякого отношения к экономическим интересам общества. Но остроумный ответ Чернышевского все-таки сделан без достаточного внимания к конкретным экономическим отношениям, и потому ни в каком случае не может быть признан "коренным ответом". Это все-таки еще очень абстрактный, односторонний и потому ошибочный ответ. Известно, что в настоящее время хлопчатобумажная промышленность составляет одну из самых важных отраслей производства в капиталистических странах. Но какие же классы одеваются в хлопчатобумажные изделия? Бедные; богатые предпочитают другие изделия. Прусские юнкера старательно занимаются выделкой картофельного спирта. Для кого предназначается этот полезный продукт? Конечно, не для богатых классов: те предпочитают другие напитки. Да и вообще, можно ли сказать, что современная промышленность рассчитывает преимущественно на богатых и зажиточных потребителей, что она занимается исключительно производством предметов роскоши и комфорта? Далеко нет. Современная промышленность, во-первых, имеет в виду нужды самого производства: такова железоделательная, машиностроительная и каменноугольная промышленность; во-вторых, стараясь обеспечить себе возможно больший рынок, она имеет в виду прежде всего народные массы, т. е. тех самых бедняков, о которых она совершенно забывает, по мнению Чернышевского. Эта погоня за массовым сбытом существенно отличает ее от промышленности, например, народов Востока, которая, действительно, имеет в виду почти исключительно только потребности высших классов, так как низшие классы, живущие там при условиях натурального хозяйства, удовлетворяют свои нужды собственными изделиями. В значительной степени так же было и в античном мире, и вот почему Плутарх, описывая механические изобретения Архимеда, извиняется за него перед читателем, говоря, что знаменитый математик обратился к такому, недостойному философа, занятию единственно для защиты от римлян своего отечества. В Греции и Риме склад общественных отношений, действительно, направлял человеческую мысль почти исключительно к отвлеченным наукам. Но теперь дело изменилось коренным образом. В капиталистическом обществе интересы самих эксплуататоров направляют человеческую мысль на технические изобретения, которые не имели бы никакого практического смысла, если бы могли применяться только к производству предметов роскоши и комфорта. Да и какое дело капиталисту до того, кем

потребляются изделия его работников, богачами или бедняками? Занимаясь выделкой дрянного, гнилого ситца, фабрикант с таким же успехом служит интересам своего кармана, как тот или другой предприниматель, приготовляющий роскошные серебряные изделия. Этого совершенно достаточно для хлопчатобумажного короля. "Деньги не пахнут". И посмотрите, кто больше пользуется или, по крайней мере, кто имеет бóльшую возможность пользоваться техническими изобретениями, фабрикант, изготовляющий продукты массового потребления, или же предприниматель, выделывающий предметы роскоши? Вы увидите, что для промышленности, удовлетворяющей нужды бедняков, сделано в техническом смысле гораздо больше, чем для промышленности, производящей предметы роскоши. Почему же это так? Потому ли, что гг. техники очень заботятся об интересах бедняков? Нет, просто потому, что, как мы уже сказали, промышленность первого рода несравненно важнее теперь для самих предпринимателей, чем промышленность второго рода [170]. Она дает тон, потому ей усерднее и служит наука.

Но, в таком случае, отчего же земледелие отстало от мануфактурной промышленности? Отчасти потому, что земледелие гораздо сложнее фабричного производства, главным же образом потому, что земледелие развивалось при других отношениях производства, чем мануфактурная промышленность. Успехи техники шли рядом с успехами капитализма. Они обусловливались, вызывались к жизни именно этими последними успехами. Где же получил начало, где прежде всего развился и окреп капитализм, в городе или в деревне? Известно, что в городе. Вернее сказать, известно, что капитализм овладел прежде всего такими отраслями производства, которые, при отделении города от деревни, составляли принадлежность горожан. Мануфактурная промышленность раньше земледелия приняла капиталистический характер, испытала поощрительное влияние конкуренции. Неудивительно, что она далеко обогнала земледелие.

Международный обмен действовал в том же направлении. Когда Англия заводила торговые сношения с Россией, она могла предложить ей только мануфактурные изделия. Земледельческих продуктов было достаточно в России, несмотря на всю ее отсталость. Но развитие вывоза мануфактурных изделий из Англии способствовало расширению их производства, привлекало к мануфактурной промышленности новые капиталы и новые таланты. Так создавались для этой промышленности новые условия успеха. Наоборот, земледелие передовых стран, поскольку оно не прибегало к покровительственному тарифу,

терпело от ввоза земледельческих продуктов из отсталых стран, область сбыта суживалась для него, а этим, по крайней мере, в некоторых случаях, задерживались его успехи. По отношению к отсталым странам, высылающим на международный рынок свои земледельческие продукты, обмен действовал как революционный двигатель, расшатывая и ломая их исстари унаследованные общественные порядки. Этим подготовлялась почва для развития капитализма в отсталых странах. Но и там, благодаря господству феодальных или крепостнических отношений в деревне, мануфактурная промышленность представляла обыкновенно более удобств для приложения нарождающегося капитала [171].

Стараясь объяснить медленное распространение земледельческих знаний, Чернышевский горячо нападает на тех "рутинистов", которые говорят, что крестьянин — враг нововведений, что он любит держаться старины. "Это один из сотни тех глупейших афоризмов, — восклицает он, — упорное существование которых в книгах и в мыслях образованного общества принуждает думать, что вот именно оно, образованное и прогрессивное общество, до безумия любит сохранять всякую нелепость, которая засядет в него". По мнению Чернышевского, дело не во вражде крестьян к улучшениям, а просто в их бедности. "У человека очень бедного, разумеется, нет средств ни к чему, в том числе и к производству земледельческих улучшений" [172]. Ни мало не желая защищать "образованное и прогрессивное общество", мы все-таки заметим, с своей стороны, что одною бедностью крестьян отсталость их еще далеко не объясняется. Промышленные рабочие тоже бедны, а между тем они гораздо больше и легче крестьян увлекаются всякими "нововведениями". Отсталость крестьянина объясняется общею отсталостью тех экономических условий, среди которых он живет. Человек есть продукт окружающей его общественной среды. Чернышевский часто повторял и прекрасно доказывал это положение. Но он не всегда умел надлежащим образом воспользоваться им при исследовании того или другого общественного явления. Вот почему, — как мы уже видели, — материализм Чернышевского заметен гораздо более в его "антропологических", чем в его исторических воззрениях, т. е. заметен более в его взглядах на отдельного человека, чем во взглядах на целое общество.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
— Закон народонаселения. — Мальтус

I.

Вопрос о народонаселении тесно связан с именем Мальтуса. Люди, мало знакомые с историей политической экономии, обыкновенно полагают даже, что Мальтус был первым, выдвинувшим его в науке. Это очень большая ошибка. О народонаселении писали гораздо *раньше* Мальтуса и, — что всего важнее, — писали *гораздо основательнее его.* Совсем не задаваясь целью исчерпать здесь всю существовавшую до Мальтуса литературу этого предмета, мы припомним, как смотрели на него некоторые писатели XVIII века.

Франклин, в небольшой статье "Observations concerning the Increase of Mankind" [173] и т. д., говорит, что как растения, так и животные, не исключая человека, способны размножаться с поразительной быстротой, и что, если бы земля "была свободна от других обитателей, она в короткое время могла бы быть совершенно заселена одним каким-нибудь народом, например, англичанами". Размножение рода человеческого задерживается целым рядом препятствий, например, дурным управлением, войнами и в особенности недостатком средств существования. Задача правительства заключается в том, чтобы обеспечить народу эти средства, потому что быстрый рост населения означает быстрый рост национального могущества и богатства. По мнению Франклина, белое население Северной Америки удваивалось каждые 20 лет. Но для примера он предполагает, что период удвоения равняется *"только* 25 годам", и затем показывает, в какую могучую нацию мог бы превратиться какой-нибудь миллион англичан, переселившихся в Америку. "Какое увеличение силы Британской империи на море и на суше! — с восторгом восклицает он. — Какой рост промышленности и судоходства! Какое множество кораблей и моряков!"

Подобно американцу Франклину, англичанин *Уоллес* задался целью показать, что человеческий род может размножаться чрезвычайно быстро, если только этому не мешают неблагоприятные условия, к числу которых и он относит прежде всего недостаток средств существования. "В любой стране вы всегда найдете, что, при прочих равных условиях, она населена тем больше, чем больше количество производимой ею пищи, поскольку изобилие пищи служит для народных масс поощрением к браку". Уоллес держится того мнения, что в древнем мире население было значительно гуще современного. "Было бы очень желательно, — замечает он, — чтобы внимательнее отнеслись к великому недостатку населения во всех странах и чтобы постарались выработать надлежащие планы

для улучшения этого положения, так как благодетельный творец природы предназначил землю главным образом служить обиталищем человеку, и так как при подходящем возделывании она могла бы кормить число людей, значительно превышающее то, которое населяет ее теперь" [174].

Юм высказывает совершенно те же взгляды относительно способности людей к размножению. Человеческий род мог бы более чем удваивать свою численность с каждым поколением, если бы не препятствия (some difficulties in mens situation), вынуждающие людей сдерживать свое стремление к деторождению. Мудрое правительство обязано заботливо наблюдать и устранять эти препятствия (difficulties which it belongs to a wise legislature carefully to observe and remove) [175]. Мимоходом Юм делает ряд замечаний (например, о способности рабов к размножению, о детоубийстве), которые потом воспроизводит Мальтус, не называя источника.

Известный *Мирабо-отец* считает старой аксиомой ту мысль, что "люди плодятся, как крысы в хлебном амбаре, если у них есть средства существования". Мера этих средств служит мерой населения. Но именно поэтому не войны и не эпидемии препятствуют увеличению народонаселения (причиняемые ими потери чрезвычайно легко пополняются), а роскошь, истребляющая средства существования; "заведите лишнюю лошадь в стране, и вы можете быть уверены, что вы убьете тем, по крайней мере, четырех человек". Мирабо далек от того, чтобы видеть источник бедности страны в увеличении ее населения: "дайте людей стране; если у них нет денег, они привлекут их" [176].

Монтескье понимает, что между размножением растений и животных, с одной стороны, и размножением людей, с другой, — есть огромная разница. "Самки животных, — говорит он, — отличаются почти неизменной плодовитостью. Но в человеческом роде взгляды, характер, страсти, фантазии, капризы, желание сохранить красоту, неудобства беременности и слишком многочисленного семейства нарушают размножение на тысячу ладов" [177]. Это совершенно верная мысль. Но Монтескье не умел свести к одной коренной причине многочисленные условия, которые "на тысячу ладов нарушают размножение" рода человеческого. В этом случае он остался верен своему обычному характеру мышления. Он вообще не умел подняться от понятия о взаимодействии социальных явлений до понятия об их общей основе, как это лучше всего видно из его книги о величии и упадке Рима.

Сэр *Джемс Стюарт* в своем, вышедшем в 1767 г., "Inquiry into

the principles of political economy" высказывает более глубокий взгляд на народонаселение. Он понимает, что существует тесная связь между экономией страны и ее населенностью [178]. Он различает *физическую* невозможность прокормления данною страной данного числа людей от *моральной* невозможности, обусловливаемой общественными отношениями. С изменением этих отношений передвигается тот предел, по наступлении которого страна оказывается перенаселенной в "моральном" смысле этого слова. Эти мысли Стюарта были далее развиты швейцарцем *Герреншвандом,* замечательное сочинение которого [179] вышло в Париже за несколько лет до появления первого издания "Опыта о законе народонаселения" Мальтуса.

Указав на то, что пределы для размножения рода человеческого бывают двух родов: физические и моральные, Герреншванд разделяет человечество по способам производства, — или по способам ассоциации, как выражается он, — на три "класса", которые отличаются один от другого почти как "отдельные роды": 1) охотники, 2) пастухи и 3) земледельцы. "Земледельческие народы имеют способность заставлять родиться свою пищу, так сказать, везде, куда они являются, и, кроме того, эта пища может быть переносима на огромные расстояния; эта дает им то преимущество, что они могут скоплять население в таких местах и, можно сказать, в таких размерах, в каких им вздумается. Такое положение земледельческих народов, совершенно противоположное положению двух других отделов рода человеческого, дает им возможность держаться различных систем в образе жизни и в способе удовлетворения своих нужд; а это различие систем, уничтожая у них однообразие, царствующее у охотников и пастухов, делает из них как бы несколько отдельных родов. Земледелие вообще до такой степени видоизменяет растения, животных и людей сравнительно с их первоначальным состоянием, что "природе трудно было бы узнать себя в своих творениях" [180]. Ввиду того, что различные земледельческие народы придерживаются различных систем в способах удовлетворения своих нужд (т. е. различных способов производства), они подчиняются различным законам народонаселения [181]. Да и в среде одного и того же рода законы народонаселения не одинаковы для различных классов, например, для рабов и для свободных людей. Современную ему буржуазную систему Герреншванд называет системой земледелия, основанной на мануфактурной системе, и считает ее "самой смелой системой, какую только мог придумать человеческий род для обеспечения своего существования". Во всех других системах "всем людям обеспечено прочное существование,

но в системе земледелия, основанной на мануфактурной системе, половина нации оказывается в самом необеспеченном положении… без определенных средств существования, без уверенности в возможности приобрести их посредством труда, имея хлеб сегодня, а завтра умирая с голоду" [182]. Судьба этой части нации зависит от колебаний всемирного рынка. "Когда внешняя торговля уменьшается постепенно или внезапно прекращается для какой-нибудь ветви промышленности, тогда люди, занимающиеся ею, постепенно приходят или вдруг попадают в такое положение, что им остается только искать помощи у правительства. И если у правительства нет ни способности, ни желания найти для них новых потребителей их изделий, — они непременно должны или покинуть свою страну, чтобы искать себе пропитания в другом месте, или просить подаяния, или погибнуть от нищеты, потому что тогда земледельцы перестанут производить предназначавшуюся для них пищу или будут вывозить ее за границу" [183]. Классическая страна капитализма, Англия, поражала Герреншванда огромным количеством не имеющих работы "бедняков и бродяг". Он говорит, что увеличение их числа нельзя объяснить ни леностью английского народа, ни действием нелепых законов о бедных, ни ("еще того менее") излишним размножением, так как Англия далеко не достигла той цифры населения, которую она способна прокормить. Он высказывает даже то предположение, что пауперизмом Англия обязана развитию машинного производства [184]. Как бы там ни было, главного виновника такого положения дел он должен был видеть в английском правительстве. Правительство обнаруживает, по его словам, свою несостоятельность всякий раз, когда данный народ не производит всей той пищи, которую он мог бы добыть, и всех тех людей, которых могла бы содержать его территория. А в таком положении находилась, по его словам, вся тогдашняя Европа, земледелие которой не производило и половины того, что могло бы производить [185].

Довольно. Подведем итог всему, что сказали нам о народонаселении цитированные писатели. Многочисленное население является источником могущества и богатства страны. Мерой населения служат средства существования; потому "правительство" не исполняет своей прямой обязанности, если не заботится об их увеличении. Количество пищи, добываемой в каждой данной стране, зависит не только от ее плодородия и производительных сил, находящихся в ее распоряжении, но также и от тех общественных отношений, при которых эти силы употребляются в дело. Современные общественные отношения, —

самые смелые из всех возможных, по выражению Герреншванда, — ставят значительную часть народа в совершенно необеспеченное положение, благодаря которому ей постоянно грозит голодная смерть, несмотря на то, что земледелие могло бы прокормить гораздо большее население… Развитие машинного производства, то есть увеличение производительных сил, может, при современном порядке вещей, быть причиной обеднения рабочего класса. Наконец, для каждой системы общественных отношений и даже для каждого общественного класса существует свой особый закон народонаселения и перенаселения. Только растения и животные отличаются почти неизменной плодовитостью.

Изо всего этого следует такой вывод: хотя писатели восемнадцатого века склонны были рассматривать общественную жизнь с очень, очень отвлеченной точки зрения, но и они, с большею или меньшею ясностью, понимали уже, что вопрос о народонаселении есть по преимуществу исторический вопрос, и что нет одного, общего для всего человечества, *закона народонаселения,* а есть *законы,* свойственные различным ступеням человеческого развития.

II.

Так обстояло дело с вопросом о народонаселении, пока о нем говорилось без задних мыслей, sine ira et studio. Потом пришло время, когда о нем не могли уже говорить спокойно, когда он начал возбуждать полемические страсти. Почему произошло это, понять не трудно. С развитием капитализма рука об руку шло обеднение народной массы. Положение "трудящихся бедняков" становилось все более и более тяжелым, а в то же время число их росло с поразительной быстротой.

В Англии еще со времен Елизаветы установлен был, как известно, налог в пользу бедных, который был очень не по вкусу имущим классам. Налог этот естественно увеличивался по мере увеличения числа нуждающихся в общественной помощи. И вот явилась мысль показать, что он совершенно не достигает цели (он и действительно не мог уничтожить бедность) и что лучше всего оставить бедняков на произвол судьбы и "естественных законов". Но это еще не все. Французская революция показала, что с "трудящимися бедняками" шутить опасно, что они могут причинить подчас много неприятностей имущим классам. Надо было постараться удержать бедняков на стезе добродетели. Надо было показать им, что ошибались люди, приписывавшие

недостаток продовольствия дурному политическому или общественному устройству. Надо было доказать, что в бедствиях рабочего класса виновата природа, а не общественные отношения. Обширная литература по вопросу о народонаселении могла, при умелом пользовании ею, доставить очень хороший материал для подтверждения этой мысли. В самом деле, до сих пор говорили, что человеческий род способен к чрезвычайно быстрому размножению, но дурное общественное устройство или плохое управление мешают ему дойти до тех пределов, которые допускаются естественным плодородием земли. Попробуем рассуждать иначе. Человеческий род стремится размножаться чрезвычайно быстро; средства же существования далеко не могут расти с такой быстротой. Отсюда бедность, отсюда пороки, отсюда все те несчастия, в которых беспокойные люди обвиняют правительства и господствующие классы. Нищета плод законов божеских, а не человеческих. Если в стране много бедняков, то некого винить в этом, кроме самих бедняков, которые слишком сильно плодятся. Невозможно придумать какие-нибудь меры для серьезного улучшения их участи. Если бы в нынешнем году мы ухитрились изгнать бедность из нашей страны, то через двадцать пять, двадцать, а то и пятнадцать лет ее население стало бы вдвое больше, и тогда опять появилась бы нищета и все связанные с нею бедствия.

Участь бедняков зависит исключительно от них самих. Пусть они перестанут размножаться, — бедность исчезнет мало-помалу сама собой.

Так поставлен был в Англии вопрос о народонаселении в конце XVIII века защитниками интересов имущих классов.

"Нелепо было бы утверждать, — говорит *Джозеф Тоунзэнд,* — что в густо населенной стране никто не чувствует нужды; если бы можно было пополнить то, чего недостает нищим, то этим мы удвоили бы их число и содействовали бы их размножению до бесконечности, что противоречило бы имевшейся в виду цели. Можно было бы, правда, отстранить голод и удовлетворить этой потребности в ущерб другой (под этой другой потребностью Тоунзэнд понимает потребность физической любви), но в таком случае следовало бы определить относительное число людей, вступающих в брак, потому что нет другого средства для ограничения всего числа жителей. Из этого затруднения не выведет никакое усилие, и люди никогда не найдут более естественного и лучшего во всех отношениях средства, как предоставить одной потребности ограничивать другую" [186]. Этими последними словами Тоунзэнд хочет сказать, что в сущности беднякам надо предоставить выпутываться из нужды,

как они хотят и как умеют. Для него и для подобных ему "исследователей" все дело было в этом, будто бы естественном, выводе из "естественных" законов.

Для лучшего уяснения этих законов Тоунзэнд приводит следующий пример:

"Мореплаватели рассказывают об этом острове на Великом океане, Хуане Фернандесе, названном так по имени открывшего его капитана. Последний высадил на этот остров козла и козу. Эта счастливая пара, найдя богатые пастбища, без затруднения исполняла первую заповедь — плодиться и размножаться, — пока не населила весь этот маленький остров. До той поры животные не знали ни нужды, ни голода и как бы гордились своей многочисленностью; но, по наступлении этой несчастной эпохи, они начали испытывать недостаток в пище, а так как они продолжали плодиться, то имели бы полное основание опасаться всех ужасов голода, если бы только одарены были разумом. При этих новых условиях слабейшие из них погибли, и прежнее изобилие водворилось. Таким образом животные испытывали попеременно то благосостояние, то бедность, смотря по увеличению или уменьшению их числа, которое следовало за колебаниями количества их продовольствия. Равновесие это по временам нарушалось то повальными болезнями, то прибытием какого-нибудь корабля, нуждавшегося в пище. В таких случаях погибало огромное количество коз; но оставшиеся в живых находили некоторое утешение в изобилии, восстановлявшемся после гибели их товарищей, и в прекращении опасения голода. Таким образом все приходило в порядок, и они переставали неприязненно смотреть друг на друга; все имели достаточно пищи, все были довольны, все были счастливы. Итак, то, что могло бы показаться бедствием, делалось для них источником счастья; по крайней мере, частное зло вызывало всеобщее благо.

"Когда испанцы узнали, что английские каперы снабжались на этом острове продовольствием, они решили совершенно истребить на нем коз и с этой целью высадили на него пару собак, самца и самку. Собаки, в свою очередь, тоже размножились в размере найденного ими количества пищи; так что число коз, как и предвидели испанцы, уменьшилось. Если бы они были уничтожены совершенно, то погибли бы и собаки; но так как многие козы удалились в горы, куда собаки не могли следовать за ними, и так как они сходили с гор редко, только для отыскания себе пищи, то лишь менее осторожные и более дерзкие между ними становились добычей собак, а между собаками только самые сильные, ловкие и деятельные могли добыть себе достаточно пищи. Так возник новый род равновесия: слабейшие

животные обеих пород были первыми жертвами новых условий, более деятельные и сильные уцелели. Таким же образом количество продовольствия определяет численность и в человеческом роде" [187].

Мы нарочно выписали всю эту, довольно длинную, притчу, потому что она содержит в себе всю сущность *"мальтузианства"*. Убедительностью она, как видите, не отличается. Тоунзэнду хочется доказать, что численность данной породы определяется количеством продовольствия. Но только первая половина притчи не противоречит этой мысли. С той поры, как на остров пустили собак, размножение коз перестало обусловливаться количеством пищи: собаки не давали им размножаться до той степени, которая допускалась природой острова [188]. Можно, если угодно, выразиться иначе, — можно сказать, что хотя размножение коз и не переставало определяться количеством пищи [189], но количество это зависело теперь не *от природы острова, а от успешности собачьих нападений на коз.* Если бы козы, терпя недостаток продовольствия в своих горах, вздумали заняться исследованием вопроса о народонаселении, они должны были бы придти к тому выводу, что нужда их обусловливается не физическими, а "моральными" причинами, т. е. не недостатком растительности, а собачьим нашествием, мешающим им воспользоваться всей той пищей, которая находится на острове. Придя к такому выводу, козы задумались бы, может быть, о том, как бы им отодвинуть "моральный" предел их размножения, как бы получше защитить им себя от собак. Положим, что им удалось придумать средство, с помощью которого им можно было совершенно очистить остров от собак. Они в восторге, а собаки в отчаянии: козьи выдумки грозят им совершенным нарушением всех "естественных законов". И вот, чтобы образумить беспокойных животных, собаки, в свою очередь, пускаются в исследования о народонаселении. Они доказывают, что безбожная затея коз не принесет никому никакой пользы. Разделавшись с собаками, козы очень быстро размножатся, заселят весь остров, и тогда опять почувствуется недостаток продовольствия. Ввиду этого гораздо разумнее оставить все в прежнем положении. Если теперь собаки действительно едят иногда коз, то это, разумеется, очень печально. Но что же делать? Козам суждено страдать на этом свете. Таков закон природы. Притом же козам стоит только захотеть, чтобы улучшить свою участь, не прибегая к бесполезным переворотам. Им надо лишь ограничить свое размножение. Чем меньше будет коз, тем долговечнее и сытее окажется всякая коза в отдельности. Мы не думаем, чтобы подобная проповедь могла устранить

предстоявшую революцию. Смешно пугать "коз" *будущим* недостатком продовольствия, когда они страдают от него уже *в настоящее время.* Изгнание "собак" принесет им хоть несколько лет благосостояния, и этого уже достаточно, чтобы не отказываться от мысли об изгнании.

Политико-экономические вопросы решаются не притчами и не баснями. Притчи и басни ровно ничего не доказывают. Мы остановились на приводимом Тоунзэндом примере единственно для того, чтобы показать, какой характер приняли исследования о народонаселении в конце XVIII века. Главной целью их было измышление доводов, которые помогли бы свалить с имущих классов ответственность за нищету рабочих и убедить "бедняков" в том, что они терпят нужду, благодаря только своей собственной непредусмотрительности. Предание говорит, что Менений Агриппа успокоил взволнованных плебеев своей знаменитой басней. Начиная с конца XVIII века, "опыты" о народонаселении должны были играть роль именно этой басни.

В рассуждениях Тоунзэнда, писавшего еще до французской революции, уже сквозит опасение очень серьезных неприятностей со стороны "трудящихся бедняков". Он старается показать неудобства общественного порядка, основанного на *"общности имуществ".* Говоря о Леоне (в Испании), он пускается в следующие соображения, которыми потом воспользовался Мальтус. "Число жителей этой страны должно быть ограничено сообразно их средствам существования. Если бы они установили общность имуществ, то должны были бы или определять по жребию, кому и кому следует выселяться, или умереть с голоду. Впрочем, во избежание такого исхода, они могли бы постановить с общего согласия, что только по два лица в каждом семействе могут вступать в брак..." [190]. Этот последний якобы исход указывается Тоунзэндом не спроста. Общество, ограничивающее "с общего согласия" число лиц, могущих вступать в брак, должно произвести на читателя впечатление самой ужасной тирании и вселить в него благодетельное отвращение от всякой мысли об общности имуществ. Однако не мешает припомнить, в чем видит Тоунзэнд действительнейшее средство борьбы с нищетою в современном обществе. *Не в чем ином, как именно в ограничении числа браков и вообще размножения;* таков смысл его слов относительно ограничения одной потребности (физической любви) другою (потребностью в пище). Но ведь ограничение числа браков есть самая вопиющая тирания? И да, и нет! Оно оказывается вопиющей тираний, когда устанавливается "с общего соглашения" и распространяется на все общество, вследствие чего может коснуться самого "почтенного" человека. Иное дело, когда

ограничение "одной потребности" оказывается необходимым для бедняков, живущих под вечной угрозой голодной смерти и виновных в том, что их произвели на свет бедные родители. Тогда названное ограничение является самой благоразумной и совершенно естественной мерой. Логика вульгарных экономистов никогда не смущалась подобными противоречиями. Но может ли она быть убедительной для пролетариата?

Взгляды Тоунзэнда целиком воспроизводятся в книге Мальтуса, заслуга которого сводится лишь ко внесению новой путаницы в постановку вопроса о народонаселении [191]

III.

Мальтус очень дешево купил ученую славу, не дороже, чем купил ее Ж. Б. Сэй. Даже люди, горячо нападавшие на его учение о народонаселении, например, Чернышевский, считали его замечательным экономистом, ставили его имя рядом с именами Смита и Рикардо. А между тем, достаточно прочитать его "Основы политической экономии", чтобы увидеть всю шаткость такого мнения. Подобно Сэю, Мальтус был противником Рикардо, и, еще раз подобно Сэю, он не только очень слабо возражал Рикардо, но просто не в состоянии был *понять* взгляды этого, действительно, замечательного экономиста. Точка зрения Рикардо навсегда осталась для него недостижимой ступенью научного мышления. Все, что говорит он против Рикардо, может по своему достоинству сравниться разве лишь с возражениями Сэя против того же писателя или с теми доводами, которые в изобилии измышляются теперь патентованными учеными для побиения марксизма [192]. Ум Мальтуса, — типический ум вульгарного экономиста, — никогда не шел дальше поверхности явлений и никогда не отличался хотя бы самой элементарной последовательностью. За какой вопрос ни брался этот человек, он неизбежно запутывал его по той простой причине, что не умел ясно поставить его перед собой и твердо держаться раз принятой постановки. Незаметно для себя он перескакивал от одной постановки к другой, мешал в одну кучу различные выводы, вытекающие из различных постановок вопроса, и кончал тем, что вряд ли и сам понимал, о чем собственно идет у него речь в данное время и в данном месте. Это, разумеется, очень большой недостаток. Но замечательно, что именно этот-то недостаток и оказал ему огромную услугу при "исследовании" вопроса о народонаселении.

Мы видели, что многие предшественники Мальтуса строго различали *физические* пределы размножения от *"моральных"*

пределов, зависящих от общественных отношений. Мы видели также, как ясно понимали некоторые из них то обстоятельство, что законы народонаселения различны на различных ступенях общественного развития. Такая постановка вопроса была очень неудобна для людей, желавших сделать из него оружие против требований пролетариата. Эти люди стремились доказать, что бедствия пролетариев происходят от перенаселения. Но, даже соглашаясь с ними, можно было, — помня выводы прежних исследователей, — попросить их объяснить, какими собственно причинами обусловливается перенаселение: физическими или "моральными"? Происходит ли оно оттого, что почва страны не в состоянии прокормить данное число людей, или только оттого, что общественные условия мешают надлежащим образом воспользоваться плодородием почвы? В интересах так называемого общественного спокойствия необходимо было, во что бы то ни стало, избежать столь нескромных и несвоевременных расспросов. А этого легче всего было достигнуть устранением с поля исследования всех общественных элементов, от которых в действительности зависит решение вопроса. *Исторические законы* народонаселения должны были уступить место единому *отвле-ченному закону,* действующему во все времена и у всех народов. Мы знаем, что уже Тоунзэнд очень ловко свел вопрос на эту отвлеченную почву. Но Тоунзэнд этим и ограничился. Он сделал большую ошибку, не обеспечив себе отступления, не выставив, для внушительности, такого исторического материала, который помешал бы противникам обратить внимание на слабую точку позиции, — на полное отсутствие исторического взгляда на дело. Этот пробел пополнен был Мальтусом.

Появившийся сначала в виде довольно тощей книжки его *"Опыт о законе народонаселения"* постепенно (в последующих изданиях) принял вид чрезвычайно серьезного и обстоятельного исследования, полного самых разнообразных фактических данных.

Казалось бы, что это обилие данных должно было помешать ему исполнить свою задачу: установить отвлеченный закон отвлеченного народонаселения. Но, благодаря указанному характеру своего ума, он благополучно миновал и Сциллу и Харибду.

По собственному признанию Мальтуса, он взялся за исследование закона о народонаселении, руководимый желанием приложить этот закон "к разъяснению некоторых теорий относительно усовершаемости человека и общества, — теорий, на которых сосредоточивалось в то время общественное внимание".

Сам же он объясняет нам, каковы именно были эти теории: главнейшая из них, теория Годвина, имела целью показать "огромные выгоды системы равенства". *"Разъясняя"* эту теорию, Мальтус выставляет против нее следующий довод: "Главная ошибка Годвина состоит в том, что он приписывает человеческим учреждениям все пороки и все бедствия, возмущающие общество. В политических учреждениях и в законах, касающихся собственности, он видит источник всех бедствий и всех преступлений. Но если бы это воззрение было справедливо, то можно было бы не отчаиваться в надежде, что зло будет когда-нибудь окончательно изгнано из окружающего нас мира, а разум человеческий, действительно, будет орудием такого благотворного преобразования. Но дело в том, что бедствия, причиняемые человеческими учреждениями, между которыми некоторые представляются несомненно вредными, оказываются крайне ничтожными и поверхностными сравнительно с несчастиями, порождаемыми естественными законами и человеческими страстями" [193]. Для доказательства этой мысли ему служит тот отвлеченный закон, в силу которого население всегда стремится будто бы перейти за пределы средств существования. Изложению закона посвящена первая глава первой книги "Опыта". Там мы встречаемся с пресловутыми *прогрессиями*[194], которые, по-видимому, не оставляют сомнения в справедливости закона, а следовательно, и той мысли, что влияние плохого общественного устройства оказывается "крайне поверхностным и ничтожным сравнительно с несчастиями, порождаемыми естественными законами и человеческими страстями". Такое именно впечатление и выносит читатель из этой главы. Но затем он переходит к обширному, занимающему целых две книги, исследованию "о препятствиях для размножения населения" на различных ступенях общественного развития. Тут он имеет дело с этнографическими, историческими и статистическими данными, которые щедрой рукой рассыпает автор. Он присматривается к этим данным, — и что́ же он видит? Неужели Мальтус позабыл свое основное положение? Влияние человеческих учреждений оказывается далеко не таким ничтожным, каким его хочет выставить автор. Порой дело доходит до того, что учреждения представляются самой главной причиной экономических бедствий, испытываемых населением.

Не угодно ли вам вдуматься в смысл, например, следующих явлений.

"Мунго Парк представляет нам посещенные им части Африки дурно обработанными и безлюдными. Путешественник этот встречал обширные и прекрасные пустыни совершенно

лишенными населения. Пограничные части различных стран, по которым он проехал, были либо слабо населены, либо вовсе безлюдны. Болотистые берега Гамбии, Сенегала и многих других рек, близ моря, по-видимому, вовсе оставлены по причине их нездорового климата. Но нельзя этого сказать о других частях страны. Глядя на их удивительное плодородие, на бесчисленные, покрывающие их, стада, которые можно было бы употребить как в работу, так и в пищу; сообразив, как бы легко было облегчить в них сообщение посредством внутренних водных путей, нельзя не пожалеть, — говорит Мунго-Парк, — что все эти богатые дары природы остаются без употребления, и что человек не употребляет в свою пользу богатств, расточаемых перед ним этою дикою и девственною природою" [195].

"Главная причина слабого населения Турции, сравнительно с ее протяжением, состоит бесспорно в свойстве ее правительства. Тирания, бессилие, скверные законы, еще более дурная администрация, а потому и необеспеченная собственность представляют такие препятствия для земледелия, что оно с каждым годом упадает, а с ним уменьшается и население" [196].

Описав, на основании путешествий Брюса, состояние Абиссинии, Мальтус замечает: "При таких естественных и политических условиях высшая степень предусмотрительности, трудолюбия и безопасности, разумеется, могла бы улучшить состояние народа и тем самым увеличить ее население. Но одно только увеличение числа рождений, без содействия других мер, может только увеличить нищету, а население от этого ничего не выиграет.

"То же самое можно сказать и о Египте, некогда столь цветущем и населенном. В этой стране изменился не закон размножения населения; не ослабление этого закона причинило падение, которому мы удивляемся; ослабело ее трудолюбие и предусмотрительность. Вот каким причинам, а также отсутствию безопасности и гнету притеснительного правительства следует приписать настоящее положение этой знаменитой страны. Закон размножения так же деятелен в Египте, как прежде; он держит народонаселение как раз на уровне средств существования. Будь он в десять раз сильнее, он не мог бы сделать ничего больше" [197].

IV.

Заглянем теперь в "Основы политической экономии" того же автора. Там он описывает, со слов Гумбольдта, положение дел в тогдашней испанской Америке. Оказывается, что плодородие этих земель поразительное. Двух дней труда в неделю было бы достаточно, чтобы прокормить целую семью. Урожай маиса бывает иногда сам-800. В окрестностях Вальядолида сам-130-150 есть средний урожай маиса. В наиболее бесплодных местностях урожай его бывает сам-60, сам-80. Там, где растут бананы, добывание пищи еще менее затруднительно. Человеку нужно там "лишь срезать ветки, на которых созрели плоды, и окопать землю вокруг корней раз или два в год".

При небольшой заботе о земледелии Мексика могла бы прокормить в десять раз большее число жителей. А между тем бедность в испанской Америке страшная, население крайне редкое. "Пространства в несколько квадратных верст заняты какой-нибудь парой хижин, вокруг которых бродят стада полудиких быков".

Небольшое число могущественных семейств, населяющих центральную возвышенность, владеют большею частью побережья в интендантствах Веракруц и Сан-Луи-Потози. "Никакой аграрный закон не вынуждает этих богатых собственников продавать их майораты в том случае, если сами они не хотят возделывать принадлежащие им огромные земли". Это говорит Гумбольдт. И по этому поводу Мальтус замечает, что хотя названные землевладельцы "имеют полную возможность содержать на своих землях гораздо более многочисленное население, но сомнительное и, во всяком случае, слишком незначительное увеличение различных благ, которого они могли бы ожидать от приращения населения, лишь в редких случаях могло бы победить их беспечность и уравновесить соединенные с ним неудобства и хлопоты"… Туземцы охотно возделывали бы землю для себя, но высокой арендной платы они дать не могут, и потому собственники предпочитают оставлять землю под пастбищами. "Вследствие этого земли, которые могли бы прокормить тысячи обитателей, служат лишь для корма скота". В конце концов Мальтус приходит к тому заключению, что "средства для прокормления работников могут существовать в бóльших размерах, чем желание кормить их" (that the power of supporting labour may exist to a much greater extent than the will), и что редкость населения испанской Америки причиняется именно

указанными имущественными отношениями: *неравенством* (by this inequality). Поправить дело можно было бы лучшим распределением собственности и постепенным развитием в стране промышленности на европейский лад. И нет надобности забираться в испанскую Америку, чтобы придти к подобному заключению: к нему приводит состояние самой Испании и даже большинства европейских стран [198].

Мальтус прекрасно знает, что без работника ни шагу не сделаешь в промышленности. В испанской Америке вопрос этот стоял далеко не так, как это желательно было бы с точки зрения буржуазных понятий. Как ни бедны были туземцы, но к наемному труду приучить их было бы очень трудно. Гумбольдт приводит мнение какого-то просвещенного обитателя той страны, полагавшего, что лишь радикальное истребление банановых деревьев могло бы дать благодетельный толчок трудолюбию туземцев [199]. Мальтус приводит это мнение, ни мало не возмущаясь им. Как и всякий вульгарный экономист, он прикладывает к явлениям двоякую мерку. Когда речь идет об отсталых, полуфеодальных странах (какими были в то время даже многие европейские страны), он готов признать благодетельное значение даже таких мер, как "аграрные законы" и насильственное превращение народной массы в пролетариат. По отношению к таким странам оказывается несомненным, что "средства для прокормления работников могут существовать в бóльших размерах, чем желание кормить их". Тогда он готов восставать и против "inequality". Тогда он далек от мысли приписывать общественным отношениям лишь ничтожное, поверхностное значение. Тогда он готов взваливать на них главную ответственность за бедствия людей. Тогда его устами говорит буржуа, ненавидящий средневековый порядок и готовый разрушать его чуть не якобинскими мерами. Но когда речь заходит о дорогом его сердцу буржуазном порядке, когда возвышаются голоса, нападающие на свойственное *этому порядку* неравенство, дело принимает другой оборот: Мальтус превращается в крайнего консерватора, лицемерно поднимает глаза к небу и старается образумить новейших сторонников равенства ссылкою на "закон природы или, что то же, божий закон" (The law of nature being a law of God), осуждающий людей на недостаток продовольствия, на нищету и пороки и не имеющий никакого отношения к общественным учреждениям.

Такова психологическая логика мальтусовских рассуждений. С точки же зрения формальной логики у него замечаются еще более удивительные курьезы.

Читатель помнит, чтó говорит Мальтус об Египте: "В этой

стране изменился не закон размножения населения, не ослабление этого закона причинило падение, которому мы удивляемся: ослабело ее трудолюбие и предусмотрительность… Закон размножения так же деятелен в Египте, как прежде; он держит народонаселение как раз на уровне средств существования". Это значит вот что: было время, когда в Египте производилось много хлеба, и тогда в нем было густое население; теперь, по социально-политическим причинам, в нем производится гораздо меньше хлеба, а потому и население в нем гораздо менее густо. Это — совершенно понятное явление, но какую связь имеет оно с законом размножения? Закон этот "держит население как раз на уровне средств существования", т. е., иначе сказать, пресловутый закон гласит, что люди не могут жить без пищи. Это — старая истина, для доказательства которой едва ли стоило писать объемистый "Опыт"!

Но подобными пошлостями трудно опровергнуть "сторонников равенства". Мальтус знает это и придает совершенно иной смысл своему закону в спорах с ними. Здесь он, опираясь на знаменитые прогрессии, твердит, что население всегда стремится обогнать средства существования и что в этом заключается коренная причина нищеты. Здесь "закон Мальтуса" выступает в своем отвлеченном виде. Здесь нет и речи о тех препятствиях для увеличения средств существования, о которых говорит Мальтус в фактической части своего исследования, и которые ясно показывают, что недостаток продовольствия причиняется не физическими, а *"моральными"* причинами. Так вот и скачет наш почтенный проповедник от одной постановки вопроса к другой, безнадежно запутывая и самого себя, и своего читателя. Это было бы очень ловким *софизмом,* если бы не было просто одним из тех паралогизмов, склонность к которым так свойственна уму вульгарного экономиста. Подобных паралогизмов можно насчитать целые сотни в "Основах политической экономии" Мальтуса.

Мы сказали, что в этих паралогизмах заключалась главная сила Мальтуса, как исследователя закона о народонаселении. И действительно, нередко люди, гораздо более умные чем он, неудачно спорили против него единственно потому, что не успели разобраться в произведенной им путанице понятий. Извольте спорить с человеком, который набросал в одну беспорядочную кучу самые различные постановки вопроса и окрестил эту кучу именем исследования. Вас поразила более всего мысль о ничтожном и поверхностном значении общественных отношений в деле добывания продовольствия. Вы возражаете против нее, ссылаясь на общественные,

этнографические и исторические факты. — Помилуйте, отвечают вам, все это прекрасно знал сам Мальтус, он приводит еще более поразительные примеры: неугодно ли вам просмотреть такие-то и такие-то места его "Опыта". — Если вы вздумаете подойти к вопросу с другой стороны, если вы скажете, что сам Мальтус показал, до какой степени общественные отношения часто мешают людям пользоваться всеми находящимися в их распоряжении производительными силами, вам опять укажут на "закон Мальтуса", но на этот раз уже в его отвлеченном виде: вам скажут, что население всегда стремится обогнать средства существования и что общественные отношения тут не при чем. Направляйтесь в какую угодно сторону — вам всегда преградит дорогу непроходимая трясина мальтусовских паралогизмов.

Возражавшие Мальтусу "сторонники равенства" тем легче попадали в эти трясины, что их собственная постановка общественных вопросов была далеко не безукоризненна. Пока они стояли на утопической точке зрения, они не любили считаться с исторической действительностью. Они предпочитали отвлеченные решения общественных вопросов, годные для всех времен и для всех народов. Благодаря этому, они в споре о законе народонаселения легко попадали в расставленные Мальтусом логические ловушки. Вместо того, чтобы сосредоточить все свои силы на защите выгодной для них позиции критики существующих общественных отношений, они устремлялись в бесплодную пустыню отвлеченных исследований об отвлеченном размножении отвлеченного человечества. Не мало сил взяло странствование по этой пустыне, но вопрос так и остался нерешенным вплоть до появления *"Капитала"*.

Вопрос о народонаселении рассматривается в "Капитале", по-видимому, совершенно мимоходом, в нескольких словах. Современным немецким ученым, которые оценивают достоинство научной мысли по количеству томов, потребовавшихся для ее изложения, кажется даже, что Маркс недостаточно серьезно откосится к этому вопросу. А между тем, что собственно говорит о нем Маркс в "Капитале"? Он говорит, во-первых, что абстрактные законы населения существуют только для животных и растений, да и то лишь до тех пор, пока законы эти не видоизменяются деятельностью человека. Ланге замечает по этому поводу в своей известной книге "Рабочий вопрос", что законы размножения животных и растений тоже не абстрактны, потому что они видоизменяются сообразно более или менее благоприятным для размножения физическим условиям. Но очевидно, что он плохо схватывает мысль Маркса. По Марксу, законы размножения животных и растений *"абстрактны"* в том

смысле, что они зависят *только от "естественных условий"*. Стало быть, возражая автору "Капитала", Ланге лишь подтверждает его мысль. Далее Маркс говорит, что для каждого исторического способа производства существует свой особый закон народонаселения, действие которого ограничивается данной исторической эпохой. Эта мысль, во-первых, совершенно согласна с теми выводами, к которым пришла экономическая наука в эпоху, предшествующую появлению сикофантов вроде Тоунзэнда и Мальтуса. А во-вторых, она блистательно подтверждается современными статистическими исследованиями о народонаселении [200]. Кроме того, Маркс устанавливает свойственный капиталистическому обществу закон населения, который может быть выражен так: развитие производительных сил ведет к образованию и возрастанию относительно излишнего (т. е. не имеющего заработка) населения, запасной армии рабочих, как назвал это население Энгельс еще в сороковых годах. Верен или не верен действительности этот закон? Статистика показывает, что верен. Из истории же политической экономии видно, что уже экономисты XVIII века высказывали более или менее счастливые догадки относительно его существования (просим читателя вспомнить взгляды Стюарта и Герреншванда). Да и не одни экономисты высказывали подобные догадки. Величайший из философов-идеалистов XIX столетия, Гегель, прямо говорит, что в цивилизованных обществах развитие богатства идет рука об руку с развитием бедности [201]. Значит, Маркс не сказал ничего такого, что можно было бы назвать парадоксальным. Значит, он и в этом отношении остается верен лучшим традициям экономической науки. Он лишь дал *научное* выражение и доказательство тому, о чем *догадывались* его предшественники. Но если это так, то почему же взгляд его на вопрос о народонаселении вызвал столько недоразумений среди современных экономистов, начиная с более или менее беспристрастного Ланге и кончая очень пристрастным г. Зэтбеером? Потому, что в нем заключается слишком резкое осуждение существующего экономического порядка, а подобное осуждение не может нравиться сторонникам этого порядка и кажется слишком рискованным людям, не совсем еще разубедившимся в его прелестях.

Ввиду всего сказанного, как же можно выразить законы народонаселения в будущем обществе? Пока еще никак. Мы не можем найти закон народонаселения, свойственный еще несуществующему обществу. Всякие попытки сделать это были бы преждевременными, а потому *утопическими, не научными.* Это мы можем и должны сказать с полной уверенностью. А если на этом

основании нам вздумают грозить *перенаселением,* которое, по мнению мальтусианцев, неизбежно в обществе, не знающем разделения на классы, мы ответим, что, во-первых, уже современное состояние производительных сил чрезвычайно далеко отодвигает для цивилизованных стран *физический* предел размножения, а во-вторых, если человечеству и придется когда-нибудь бороться с перенаселением, — что крайне мало вероятно, — то ему гораздо удобнее будет бороться с ним, имея дело с рационально организованным производством и всесторонне развитыми производителями, чем при ныне существующем общественном устройстве, основанном на угнетении рабочей массы и на господстве продукта над производителем [202].

V.

В своих *"Основах политической экономии"* Мальтус удачнее объясняет нам истинный смысл своего закона. "Если бы простая нужда или желание рабочих классов приобрести вещи, необходимые и полезные для жизни, были достаточным побуждением для производства, — говорит он там, — ни одна страна в Европе, или даже во всем свете, не встретила бы других препятствий для роста богатства, кроме своих производительных сил; и уже с давних пор земля кормила бы в 10 раз больше жителей, чем кормит теперь". Но иное дело "нужда" рабочих классов, иное дело так называемый в экономии *действительный спрос,* а в нем-то и вся сила. "Человек, ничего не имеющий, кроме своего труда (Мальтус хочет сказать — своей рабочей силы), является представителем спроса на продукты лишь постольку, поскольку обладатели этих продуктов нуждаются в его труде (т. е. в его рабочей силе). Спрос же на производительный труд никогда не может иметь места, если стоимость продукта этого труда не будет больше стоимости самого труда (опять-таки рабочей силы)" [203]. Это очень ясно и совершенно справедливо: *рабочая сила* покупается единственно в видах производства прибавочной стоимости, но это верное замечание придает совсем новый вид закону народонаселения; теперь он гласит уже так: совершенно независимо от своих производительных сил, страна оказывается перенаселенной всякий раз, когда работников в ней больше, чем их нужно господам капиталистам. Работникам, лишенным счастья производить прибавочную стоимость, остается лишь умереть с голоду. Таков "закон природы или, что то же, божий закон". Этот *новый "закон" решительно ниспровергает все*

пресловутое учение Мальтуса о народонаселении. Очень хорошо; примем это к сведению и пойдем дальше. В своем "Опыте" Мальтус советовал рабочим размножаться как можно меньше. Он говорил так, желая свалить с имущих классов ответственность за бедствия пролетариата и по возможности облегчить им тяжесть налога для бедных. В "Основах политической экономии" он взглянул на дело с другой стороны. Он вспомнил, что как там ни рассуждай, а работник есть единственный производитель прибавочной стоимости; и вот он замечает, что, если бы рабочий класс размножался слишком медленно, то это могло бы разорить страну, занимающуюся исключительно торговлей и мануфактурной промышленностью [204]. Это опять совершенно справедливая мысль; ее тоже нужно принять к сведению. Но, к сожалению, *она тоже ниспровергает то, что известно под именем Мальтусова учения.* Теперь его приходится формулировать уже таким образом: совершенно независимо от состояния своих производительных сил, страна оказывается перенаселенной всякий раз, когда работников в ней больше, чем их требуется для производства прибавочной стоимости. Это очень неудобно и в экономическом, и в политическом отношениях: имущим классам приходится платить неприятный налог в пользу бедных, а неимущие могут обнаружить опасную склонность к учениям "сторонников равенства". И, наоборот, страна оказывается недостаточно населенной всякий раз, когда работников в ней меньше, чем их нужно господам капиталистам. Такое положение дел может привести ее к разорению. *Нормальный прирост* населения есть тот, который *определяется потребностями капитала в рабочей силе.* Работники должны иметь это в виду. Если, рождая детей, они не сумеют определить, сколько именно рук понадобится капиталу к тому времени, когда их дети достигнут рабочего возраста, то тем хуже для них. Излишние руки должны будут погибнуть жертвой нищеты; в том же случае, когда рук окажется слишком мало, страна разорится, а от этого опять уменьшится спрос на рабочую силу. Таков "закон природы или, что то же, божий закон".

Мальтус хотел опровергнуть "сторонников равенства" и показать невыгоды общности имуществ. До какой степени могли быть сильны возражения этого человека против коммунизма, можно судить уже по одному тому, что он никогда не в состоянии был выйти из сферы буржуазных экономических понятий. Он пресерьезно говорит об уровне прибыли у дикарей. Он знает, что, напр., в Перу был коммунистический строй. Но этот строй он называет *"странным",* и этим эпитетом отделывается от дальнейшей его оценки. Подобной узкостью взглядов страдали,

как мы знаем, даже лучшие экономисты того времени, но ни у кого не доходила она до таких "странных", можно сказать, комических размеров, как у автора "Опыта о законе народонаселения". Чтобы убедиться в том, достаточно припомнить хотя бы то, как определял он производительное потребление {"Работник, несомненно, потребляет часть своей заработной платы в видах поддержания своего существования, а не как капитал с целью производства (Мальтус хочет сказать: с целью выжимания из другого прибавочной стоимости). Он — производительный потребитель по отношению к лицу, которое дает ему работу, и по отношению к государству, но, строго говоря, не по отношению к самому себе" ("Definitions", стр. 258–259).

Так как я не могу эксплуатировать самого себя, то я никогда не могу быть производительным потребителем по отношению к самому себе. — Удивительная глубина мысли!}.

VI.

В "Опыте" Мальтусу приходилось толковать о *перенаселении;* в "Основах пол. экон." ему пришлось считаться также и с *перепроизводством.* "Как бы ни были велики производительные силы, — говорит он, — сами по себе они еще не могут обеспечить соответственного им возрастания богатства. Чтобы дать этим силам полное развитие, нужно, по-видимому, еще нечто другое. Продукты должны быть так приспособлены к нуждам потребителей, чтобы при распределении их между ними возросла общая меновая стоимость всей массы продуктов" [205]. Другими словами: между производительными силами и людьми, нуждающимися в продуктах, стоит капиталист, который говорит, что он согласен пустить в дело названные силы только в том случае, если это занятие принесет ему известную прибыль. Но в современном обществе силы эти так велики, что продукты нередко переполняют рынки, не находя себе сбыта. А вследствие этого капиталисты лишаются ожидаемой прибыли. Тогда они прекращают производство, рассчитывают своих работников, и между этими последними царствует *нищета,* о которой еще Фурье справедливо заметил, что она порождается не чем иным, как *избытком:* рабочие бедствуют именно потому, что они произвели *слишком много предметов,* годных для удовлетворения человеческих потребностей. Как же быть? Кажется, что проще всего дело решилось бы передачей работникам тех продуктов, в которых они нуждаются и которые в избытке находятся на рынке.

Но такая передача означала бы нарушение священных прав капиталистической собственности, и уж, разумеется, не Мальтус одобрил бы подобное нарушение Он придумал другое: он нашел, что "причины, наиболее благоприятствующие" выгодному для господ капиталистов сбыту продуктов, могут быть трех родов: "1) разделение крупной поземельной собственности, 2) внешняя и внутренняя торговля и 3) существование непроизводительных потребителей" [206]. Читатель помнит, что, по определению Мальтуса, потребление работника также может быть непроизводительным в известном смысле этого слова. Но здесь он требует *совершенно* и во всех смыслах непроизводительного потребления, такого потребления, которое может быть дано лишь роскошью высших классов, военными расходами и т. п. Мальтус усердно проповедует подобное потребление и горячо защищает его от всех возможных нападок. В "Опыте" он пытался объяснить нищету рабочих классов тем обстоятельством, что на свет родится больше желудков, чем может быть произведено хлеба для их наполнения. В "Основах" оказалось, что бедность рабочих может иметь другое, так сказать, более тонкое и благородное происхождение: производители бедствуют всякий раз, когда в стране слишком мало бездельников. Таков "закон природы или, что то же, божий закон".

Впрочем, Мальтус допускает, что можно бы, пожалуй, обойтись и без непроизводительного потребления, если бы рабочие получали большую плату, а следовательно, могли бы представить с своей стороны более серьезный действительный спрос. Но этому мешает слишком быстрое размножение работников, ведущее к усилению соперничества между ними и к падению заработной платы. Ну, а если бы каждый из них стал меньше работать, если бы сократился рабочий день? Никогда этого не будет, — отвечает Мальтус, — государство не имеет права ограничивать рабочий день, а сами рабочие никогда не сговорятся сделать это, никогда не откажутся от взаимного соперничества. Скорее можно надеяться, что они станут рождать меньше детей [207]. Это пророчество в настоящее время не нуждается в критической оценке.

Известно, что в "Опыте" Мальтус высказал очень пессимистические взгляды относительно возможного усовершенствования земледелия в передовых странах Европы. По его расчетам выходило, что производительность труда должна уменьшаться по мере того, как увеличивается количество его, направленное на возделывание данного участка. Некоторые экономисты считали это явление совершенно бесспорным и возвели его в экономический закон [208]. Однако сам Мальтус

далеко не придавал ему большого практического значения. В "Основах" он так высказывается на этот счет: производительность земледельческого труда, конечно, уменьшается, но при настоящем состоянии мира это происходит очень медленно; к тому же, различные улучшения часто совершенно останавливают уменьшение производительности труда или даже увеличивают ее. "Я убежден, — говорит он, — что капитал, затраченный на обработку участков, распаханных в 1813 г., был более производителен, чем капитал, употребленный на обработку участков, распаханных в 1727 г." Вообще, "вероятность такого увеличения производительности труда, которое было бы достаточно для уравновешения неблагоприятных результатов расчистки новых участков, настолько велика, что при настоящем состоянии большинства стран земного шара или при их вероятном состоянии в течение нескольких будущих столетий мы можем, при благоприятных обстоятельствах, вполне рассчитывать на действие этой причины" [209].

Смысл басни сей таков: когда вы спорите со "сторонниками равенства", очень полезно ссылаться на скупость природы и на уменьшение производительности земледельческого труда; а когда вы собираетесь пригласить имущие классы к усилению непроизводительного потребления, вы можете сказать им, — по секрету от "трудящихся бедняков" и от "сторонников равенства", — что еще, по крайней мере, в течение нескольких столетий неизбежное уменьшение производительности земледельческого труда останется нелепой выдумкой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
— Закон народонаселения. — Чернышевский

I.

Перейдем теперь к Чернышевскому. Возражения, делаемые им Мальтусу, относятся почти исключительно к первой главе первой книги "Опыта". Он занимается преимущественно Мальтусовыми прогрессиями, при чем начинает с арифметической прогрессии возрастания земледельческого продукта.

Мальтус считал очень смелым то предположение, что общий продукт английского земледелия мог быть удвоен в 25 лет. "Это наивность, вызывающая улыбку у людей, читавших нынешние агрономические книги", — замечает Чернышевский. Основываясь на расчете Гаспарена (в его "Cours d'Agriculture"), он утверждает,

что "при порядочном устройстве плодопеременной системы произведениями 100 гектаров продовольствуются 931 человек", а так как в Великобритании и Ирландии (по Кольбу) находится до 61 1/2 миллионов акров, т. е. около 25 миллионов гектаров земли, годной для возделывания, то "Великобритания с Ирландией, при порядочном устройстве плодопеременного хозяйства, могли бы продовольствовать 230 миллионов населения", т. е. увеличить нынешний земледельческий продукт (расчет Чернышевского относится к 1860 году) в 9 раз [210].

"Достаточно ли 25 лет для введения хорошего плодопеременного хозяйства в земле, которая имеет уже вообще хозяйство гораздо лучшее, чем простое трехпольное, — предоставляем рассудить каждому.

"Итак, из нынешних агрономических книг видно, что, если бы Англия захотела и встретила надобность увеличить свой земледельческий продукт в течение 25 лет не в 2 раза, а в 5 или даже в 9 раз, это было бы вовсе не трудно при нынешнем состоянии сельскохозяйственных знаний. Не в праве ли мы сказать, что слишком наивны были мысли, под влиянием которых Мальтус воображал, что делает крайнюю уступку, предполагая возможность удвоения земледельческого продукта в 25 лет?" [211].

Таким образом очень распространенное убеждение в том, что земледельческому продукту трудно возрастать со всей быстротой, с какой могли бы размножаться люди, кажется Чернышевскому лишенным всякого серьезного основания. Экономисты, вслед за Мальтусом, толкующие об уменьшении производительности земледельческого труда, даже и не подумали о том, что им не мешало бы проверить свой взгляд с помощью статистики. Вот почему об этом предмете до сих пор рассуждают наобум, "как рассуждал Мальтус". Однако сам Чернышевский признает, что "если способ возделывания земли остается прежний, то с приращением населения производительность пахотных земель будет становиться в средней пропорции все меньше и меньше оттого, что нивы расширяются на земли все худшего и худшего качества" [212]. Дело лишь в том, что Мальтус слишком уже преувеличил значение этого фактора в культурной истории человечества. Чернышевский утверждает, что, как бы ни был краток период удвоения населения, легко было бы избежать недостатка продовольствия даже при очень незначительных улучшениях в способах возделывания земель. И он приводит в доказательство своего мнения длинный ряд арифметических выкладок. Ввиду важности вопроса, мы должны изложить взгляд Чернышевского по возможности его собственными словами.

В основе этого взгляда лежит анализ Мальтусовых

прогрессий.

Размножение людей 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64..

Увеличение продукта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

"Ясно, по какому отношению возникают члены второй строки из членов первой, — говорит Чернышевский, — возрастающие в геометрической прогрессии прибавки к числу работников дают каждая одинаковую прибавку к продукту. Например, 1 новый работник, прибавившийся во втором периоде, увеличивает своею работою продукт на 1; 2 работника, прибавившиеся в третьем периоде, увеличивают продукт также только на 1; 4 новые работника четвертого периода и 8 новых работников 5 периода и т. д. увеличивают продукт также на 1. Очевидно, что производительность труда новых работников, прибавляющихся в каждом новом периоде, уменьшается в той же прогрессии, в какой возрастает количество этих прибавляющихся работников… Иначе говоря, Мальтусова теорема предполагает, что процент размножения работников служит процентом уменьшения производительной силы труда прибывающих работников" [213]

Исходя из этого, Чернышевский делает следующий расчет: "Положим, что число населения 1 января 1 года, было 1.000, и что работники-хлебопашцы этого населения произвели известное количество хлеба, достаточное для хорошего продовольствия всех 1.000 человек, то есть годичных порций, которые назовем хотя, например, возами. Итак, на хорошее продовольствие в год надобно, по нашему условию, воз хлеба на каждого человека. Положим, что число хлебопашцев-работников в этом населении было 100 человек. По условию видно, что для хорошего продовольствия населению нужна такая успешность хлебопашенного труда, чтобы каждый работник производил по 10 возов хлеба.

"Положим, что при таком изобилии продовольствия население возрастает ежегодно на 3 % (пропорция несколько выше той, какая дает удвоение населения в 25 лет и принимается Мальтусом). Тогда к 1 января 2-го года население будет 1.030 человек, и если пропорция хлебопашцев-работников остается прежняя, их будет 103 человека. Если для 1.000 человек нужно было 1.000 возов хлеба, для 1.030 человек будет нужно 1.030 возов.

"Если бы успешность труда прибылых работников не была меньше, чем прежних, труд прибылых 3 работников произвел бы 30 возов хлеба, количество, нужное для достаточного продовольствия 30 прибылых человек населения, и во 2-й год было бы для 1.030 человек 1.030 возов хлеба. Но по Мальтусовой теореме производительность труда прибылых работников будет

меньше, чем производительность труда прежних; Мальтус полагает, что процент ослабления производительности нового труда равен проценту возрастания его количества, или, при неизменности пропорции между числом хлебопашцев и числом населения, равен проценту возрастания населения. Итак, производительность нового труда относится к производительности прежнего, как 100 к 103. По этой пропорции, какое количество хлеба произведет прибылой работник, если прежний производил 10 возов?

x: 10 = 100: 103. "Из этого получаем:

= 9,7087…

"Итак, 3 прибылые хлебопашца произведут 3 × 9,7087 = 29,1261 возов вместо 30 возов, которые были бы нужны по прежнему размеру, и на второй год для 1.030 человек будет вместо 1.030 возов хлеба только 1.029,1261. Чтобы вместо 1.029,1261 возов жатва 2-го года дала 1.030 возов, производительность труда прежних работников должна в этом году подняться настолько выше прежней своей величины 10, насколько требуемый сбор 1.030 выше сбора 1.029,1261, получаемого без усовершенствований.

x: 10 = 1.030: 1.029,1261. "Из этого мы получаем:

x = 10,00849…

"В самом деле, тогда мы будем иметь:

"100 прежних работников произведут по 10,00849 воза каждый =1000,849 возов.

"3 новые работника, труд которых менее производителен по прежней пропорции 100:103, произведут каждый по: 10,00849 × 100:103 = 9,717 возов. "А все трое вместе 3 × 9,717 = 29,151 воз. "Сумма производства 2-го года будет 1000,849 + 29,151 =1030 возов.

"Итак, велик ли нужен размер усовершенствования или в устройстве орудий, или в способе пользования ими, или в качестве удобрения, или в способе пользования им, или в качестве посева, — велик ли нужен размер усовершенствования, чтобы недочета не оказалось, чтобы пропорция продовольствия не уменьшалась при возрастании населения?

"При ежегодном возрастании населения по 3 %, т. е. при возрастании быстрейшем, нежели принимает Мальтус [214], нужен годичный размер усовершенствования = 0,000849, то есть менее чем на одиннадцатую часть процента. Что же это такое, 849 десятитысячных частей процента? Огромно ли это возрастание? Оно вот каково: в пуде оно составляет несколько больше 3 1/4 золотников (3,2602 золотника); в возу хлеба, имеющем 25 пудов, оно составляет 81 1/2 золотника…

"Что ж, это страшная прибавка? стоит ли пугаться ее? Неужели усовершенствования в земледелии не могут идти так быстро (быстро!), чтобы в течение целой четверти века улучшить земледельческие способы на 2 *1 /7* % [215]? Увеличение на 2 *1 /7* процента в целые 25 лет — да ведь это почти совершенная неподвижность!

"Да, почти совершенная неподвижность. Без всякого сомнения, с самого конца Средних веков не было в Европейской истории ни одного такого двадцатипятилетия, в котором земледелие не совершенствовалось бы по пропорции более быстрой. Много в этой истории было эпох почти совершенного застоя общественных улучшений, но самые безотрадные, самые гнусные из этих периодов все-таки двигали земледелие вперед быстрее, чем требовалось бы для уравновешения дефицита в земледельческом продукте, для сохранения земледельческому труду всей прежней производительности, при проценте размножения людей, по которому число их удваивалось бы каждые 25 лет" [216].

Даже Чернышевский дает общую формулу размножения, по которой определялся бы потребный размер улучшений для различных периодов удвоения. Мы не станем приводить ее. Заметим только, что с ее помощью он приходит к самым поразительным выводам. Оказывается, например, что, *при 12-летнем периоде удвоения* населения, высота, до которой улучшения должны поднять земледелие *в течение целого века,* равняется лишь 1,36958, принимая первоначальную высоту за единицу. "Например: если в 1860 г. земледелец, обрабатывающий четыре десятины, собирает с них 10 четвертей хлеба, то в течение следующего века надо произвести улучшения, которые давали бы возможность в 1960 г. также одному земледельцу собрать с этих 4 десятин около 13 3/4 четвертей хлеба. При такой пропорции улучшении люди до 1960 г. не будут чувствовать недостатка в продовольствии, размножаясь с быстротою, удваивающею число их в каждые 12 лет. Конечно, при такой быстроте размножения постепенно будут являться на 5 десятинах вместо одного хлебопашца 2 работника, потом 3, 4 и т. д., 10, 11, 12 работников и т. д.; прибавка каждого нового работника на этих 4 десятинах будет увеличивать продукт их в пропорции, несколько меньшей того, насколько увеличилось количество труда от прибавки этого работника к прежним. Но все-таки при таком ходе земледельческих улучшений, который равняется 37 % за целое столетие, постоянно будет собираться с этих 4 десятин количество продукта, дающее в общей сложности по-прежнему 10 четвертей на каждого из обрабатывающих эти 4 десятины

землепашцев" [217].

Повторяем, выводы эти до такой степени поразительны, что читатель отказывается верить своим глазам. Он невольно возвращается назад, проверяя доводы автора. Но доводы автора кажутся неотразимыми. Умозаключения, по-видимому, совершенно логично вытекают из посылок. Читатель сдается и проникается непоколебимым убеждением в том, что Чернышевский окончательно опроверг Мальтуса, подойдя к вопросу с такой стороны, с какой к нему не подходил никто из прежних исследователей. Это убеждение очень распространено в России, где опровержение Мальтуса считается едва ли не самой важной и уж во всяком случае самой бесспорной из ученых заслуг нашего знаменитого писателя.

Посмотрим, однако, насколько правилен такой взгляд.

II

Заметим прежде всего вот что: если бы арифметические выкладки Чернышевского были совершенно правильны, то даже и в этом случае было бы еще сомнительно, опровергают ли они Мальтуса или, точнее, того Мальтуса, с которым мы имеем дело в первой главе первой книг" *"Опыта"*. Чернышевский слишком произвольно истолковывает арифметическую прогрессию Мальтуса. По его истолкованию выходит, что она выражает собою лишь понижение производительности земледельческого труда, неизбежно являющееся в том случае, когда не происходит улучшений в земледелии. "Весь вопрос именно в том и состоит, какой размер улучшений необходим для уравновешения недочета в продукте, происходящего от меньшей производительности труда прибылых работников по сравнению с прежними. Обыкновенно предполагается, что если размножение людей будет происходить со всей возможной быстротой, то для этого уравновешения потребуется размер улучшений слишком громадный" [218]. Выкладки Чернышевского показывают противное. Но на чем же основывает он свое истолкование арифметической прогрессии? Он говорит, что так "мы прочли у Милля, очень верно передающего мысли Мальтуса" [219]. Но это еще недостаточное ручательство. Обратимся лучше к самому Мальтусу, т. е. собственно к тому Мальтусу, с которым мы имеем дело в первой главе первой книги *"Опыта",* где идет речь о прогрессиях, и с которым спорит Чернышевский, по-видимому, совсем не принимающий в соображение существование другого Мальтуса, Мальтуса — автора "Основ политической экономии".

"В Англии и Шотландии много занимались улучшением земледелия, — читаем мы в *"Опыте",* — но и в этих странах много есть невозделанных земель. Рассмотрим, до какой степени может быть увеличено плодородие этого острова *при самых благоприятных условиях, какие только можно себе представить.* (Курсив наш.) Если мы предположим, что при возможно хорошем правлении и *при самом сильном поощрении земледелия* (курсив наш) произведения почвы могут удвоиться на этом острове в первые 26 лет, то, вероятно, мы перейдем за пределы возможного; такое предположение скорее превысит меру возрастания количества произведений, на какое мы могли бы благоразумно рассчитывать. В следующие двадцать пять лет решительно нельзя надеяться, чтобы производительность земли возросла по этому же закону, и чтобы по истечении этого второго периода плодородие учетверилось; допустить это — значило бы перевернуть вверх дном все наши понятия о производительности земли. *Улучшение бесплодных участков* (курсив наш) требует много труда и времени. Для человека, сколько-нибудь знакомого с этим предметом, не подлежит сомнению, что по мере расширения обработки ежегодное приращение среднего производства постоянно уменьшается с некоторого рода правильностью… Вообразим, что ежегодное приращение среднего производства не уменьшается, а остается то же, так что в каждый двадцатипятилетний период к годовому производству Великобритании присоединяется количество произведений, равное такому же годовому доходу. Вероятно, никакое горячее воображение не решится сделать более широкого предположения, ибо и этого довольно, чтобы в несколько столетий обратить всю почву острова в один роскошный сад. Применим это предположение ко всей земле" и т. д. [220].

Мы не станем теперь возвращаться к вопросу о том, насколько ошибается Мальтус. Нам нужно одно: выяснить, чтó собственно хочет он сказать в приведенных строках. А на этот счет вряд ли возможно сомнение: он говорит о "самом сильном поощрении земледелия"; о самых благоприятных для него условиях, "какие только можно себе представить"; об "улучшении бесплодных участков"; об обращении всей почвы острова (а затем и всего земного шара) "в один роскошный сад". И при всем этом он не принимает в соображение усовершенствований в способах обработки земли; при всем том он предполагает, что земледельческие приемы останутся неизменными в течение тех "нескольких столетий", о которых у него идет речь? Нет, прав или не прав Мальтус, но *в данном случае* мысль его ясна: он, хочет сказать, что земледельческий продукт будет увеличиваться лишь

в арифметической прогрессии, *несмотря на все те улучшения, на которые может рассчитывать благоразумный человек.* При построении своей прогрессии он принимает (т. е., лучше сказать, делает вид, что принимает) в соображение влияние будущих улучшений в земледелии. Следовательно, все вычисления Чернышевского оказываются излишними. Как бы они ни были правильны, они не могут опровергнуть "Мальтусовой теоремы" по той простой причине, что они основываются на неправильном истолковании этой теоремы.

Но главное дело в том, что сами они *не совсем правильны.* Чтобы убедиться в этом, стоит только вдуматься в их основное положение. Сопоставляя прогрессии Мальтуса, Чернышевский находит, что "процент размножения работников служит процентом уменьшения производительной силы труда прибывающих работников". Так ли это? К сожалению, совсем не так.

Для удобства выпишем снова анализированные Чернышевским прогрессии:

Умножение людей 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Увеличение продукта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Как велик здесь "процент размножения работников или, — что тоже [221],— процент возрастания общей цифры населения"? Мы решительно не знаем этого; об этом нет и речи. "Процент размножения работников" зависит от величины периода удвоения населения. При 25-летнем периоде удвоения этот процент будет совсем не тот, что при 15-летнем, при 35-летнем и т. д. Мальтус дает общую формулу, под которую должны подходить, по его мнению, все частные случаи. Если уже говорить о проценте увеличения числа работников, то мы должны выразиться так: в конце каждого последующего периода число работников увеличивается на 100 процентов, увеличение же продукта следует совсем другому закону: в конце второго периода он увеличивается на 100 процентов, в конце 3-го — на 50, в конце четвертого на 33 1/3, в конце пятого — на 25, в конце 6-го — на 20 и т. д. Значит ли это, что процент увеличения числа работников "служит процентом уменьшения производительной силы труда работников"? Отнюдь нет! Процент увеличения числа работников остается неизменным, между тем как процент уменьшения производительной силы прибылых работников постоянно и очень быстро возрастает. Отсюда следует одно из двух: или Чернышевский ошибается, или он неточно выражает свою мысль. Мы сейчас увидим, какое из этих двух предположений соответствует действительности. Один новый работник, прибавившийся во втором периоде, увеличивает своею

работою продукт на 1; два работника, прибавившиеся в третьем периоде, увеличивают продукт также на 1; 4 новые работника четвертого периодам 8 новых работников пятого периода и т. д. увеличивают продукт также на 1. Таково то явление, которое наш автор хочет выразить в одной общей формуле. Нужно это, или ненужно — вопрос другой, но, раз мы хотим найти такую формулу, приходится выразиться так: во сколько раз число прибылых работников каждого данного периода больше числа работников, прибывших во втором периоде, во столько раз производительность их труда меньше производительности труда прибылых работников второго периода. Вот и все. Что же следует отсюда? Следует уже известный нам вывод: процент увеличения числа прибылых работников остается неизвестным, процент же уменьшения их производительной силы быстро растет. А это значит, что отождествлять эти два процента нет ни малейшего основания. Ну, а что произойдет, если мы все-таки отождествим их вопреки очевидности? Сообразить это очень не трудно: мы придем к ошибочным заключениям.

Процент размножения не изменяется, процент уменьшения производительности труда быстро увеличивается. Отождествить эти два процента значит предположить, что производительность труда уменьшается далеко не так быстро, как это явствует из рассматриваемых нами прогрессий. Это будет совершенно произвольное предположение, коренным образом изменяющее условия задачи. Может быть, предположение это и более согласно с фактами действительности, но, во всяком случае, принимая его, нельзя утверждать, что мы остаемся верны смыслу "Мальтусовой теоремы", и что "мы изложили ход вывода из Мальтусовых прогрессий с такою точностью, с какою никогда не излагал его ни сам Мальтус, ни кто из его последователей" [222]. Мы изложили бы лишь вывод из условий, произвольно принятых *нами самими.*

Уменьшение земледельческого продукта определяется уменьшением производительности труда прибылых работников [223]. Предположив, что производительность труда уменьшается медленнее, чем это явствует из смысла прогрессий, мы тем самым предполагаем, что и продукт уменьшается медленнее, чем это показывает Мальтусова арифметическая прогрессия. Значит, и "дефицит в земледельческом продукте" будет меньше, чем говорит прогрессия, а в таком случае и размер улучшений, необходимых для устранения этого дефицита, окажется далеко не так велик, как можно было думать, сопоставляя геометрическую прогрессию с арифметической. Следовательно, нам остается только вычислить этот размер, принимая различные "проценты размножения работников" (иначе сказать, различные периоды

удвоения населения), чтобы противопоставить затем результаты нашего "правильного счета" результатам "фальшивого счета" Мальтуса. В сущности подобное противопоставление доказывало бы лишь ту старую истину, что, исходя из неодинаковых посылок, люди получают неодинаковые выводы. Но мы, *незаметно для себя* изменив условия задачи, будем думать, что мы опровергли Мальтуса, строго держась прямого смысла его собственной "теоремы".

Но и это еще не все. Мало того, что Чернышевский считает *неизменным быстро увеличивающийся* процент уменьшения производительности труда, т. е., иначе сказать, принимает *переменную* величину за *постоянную,* — сама эта мнимо постоянная величина оказывается у него несравненно меньшей, чем она должна быть по смыслу "Мальтусовой теоремы". Процент размножения людей по самым преувеличенным расчетам не может превышать 7 (при 12-летнем периоде удвоения населения он несколько меньше *шести).* По смыслу же "Мальтусовой теоремы" производительность труда уже в третьем периоде уменьшается на 50 процентов. (Это знает и Чернышевский: "новый работник во втором периоде увеличивает продукт на 1; 2 работника, прибавившиеся в третьем периоде, увеличивают продукт также только на 1".) Согласитесь, что это большая разница и что ее совершенно достаточно для объяснения тех поразительных выводов, к которым пришел Чернышевский. Повторяем, мы говорим не о том, соответствуют или не соответствуют его предположения экономической действительности (об этом он и сам ничего не говорил); мы утверждаем только, что они совершенно противоречат смыслу "Мальтусовой теоремы" (а он думал, что они совершенно верны ему, и так же думали все те, которые считали доводы Чернышевского неопровержимыми).

Если процент возрастания числа работников (а следовательно, и всего населения) равен проценту уменьшения производительности труда прибылых работников, то нет ничего легче, как определить размеры необходимых улучшений. Положим, что население удваивается каждые 12 лет. Процент размножения равняется в этом случае: 5,94631. Сообразно с этим и производительность труда прибылых работников будет правильно уменьшаться на 5,94631 процента. Далее уже самое несложное вычисление дает нам искомый процент улучшений. По вышеуказанным причинам он будет очень незначителен. А между тем мы. по-видимому, сделали своим противникам самую крайнюю уступку: 12-летний период удвоения населения совсем уже невероятен. Но дело в том, что как ни велик при этом

процент размножения, — а следовательно, и ослабления производительности труда, — эта последняя все-таки падает медленнее, чем она должна была бы падать при действительно "правильном счете". Чернышевский считает, что при 12-летнем периоде удвоения высота, до которой должно подняться земледелие в течение столетия, не превышает 1,36958 процента. Мы не станем проверять, верно ли сделан его расчет. Допустим, что вполне верно. Но не забудем, что, по его предположению, процент уменьшения производительности труда равняется лишь 5,94631 (т. е. проценту размножения!. А то ли выйдет при действительно "верном счете"? Уже в течение 96 лет население увеличивается в 16 раз. Посмотрим, как велика будет производительность труда прибылых работников через 48 лет, или в 4-м периоде. *Во сколько раз число прибылых работников каждого данного периода больше числа работников, прибывших во втором периоде, во столько раз производительность их труда меньше производительности труда прибылых работников второго периода.* Число работников, прибывших в 4-м периоде, вчетверо больше числа прибылых работников второго периода. Следовательно, производительность труда прибылых работников 4-го периода вчетверо меньше, чем производительность труда работников, прибывших во втором. В пятом периоде оно будет в восемь раз меньше.

Согласитесь, что это очень далеко от неизменного процента, который принят Чернышевским (6,94631) и который казался результатом крайне преувеличенного предположения (удвоения населения в 12 лет).

Но неужели Чернышевский действительно рассуждает вышеизложенным образом? Да, помилуйте, чего же вы хотите, ведь он сам заявляет это, приступая к своим вычислениям: "Мальтус полагает, что процент ослабления производительности нового труда равен проценту возрастания его количества, или… проценту возрастания населения" [224]. А может быть, он все-таки отклонился от своего принципа?

Да, отклонился; вы сейчас увидите, в какую сторону.

В первом, происходящем, так сказать, на глазах у читателя, примерном расчете Чернышевского процент размножения принимается равным 3. Сообразно с этим и процент уменьшения производительности труда должен быть также равен 3. Число землепашцев равняется 100, а производит каждый из них по 10 возов хлеба. Расчет ведется погодно. Спрашивается, сколько хлеба произведет каждый прибылой работник 2-го года? По смыслу наших условий он должен произвести 9,7 воза. У Чернышевского он производит 9,7087, т. е. несколько больше. Откуда эта

разница? А вот откуда.

Мы рассчитываем так: каждый работник производил прежде по 10 возов; производительность труда прибылых работников на 3 процента меньше. Три процента от десяти равняется 0,3. Вычтя эту дробь из 10, мы получаем 9,7 — цифра, которою и выражается производительность труда каждого нового работника 2-го года. — Чернышевский рассуждает иначе. Прежде было 100 работников, теперь стало 103. "Итак, производительность нового труда относится к производительности прежнего, как 100 к 103. Из этого мы получим:

x = 9,7087 [225].

Правильно ли это рассуждение, согласно ли оно с условиями задачи? Когда мы говорим, что процент уменьшения производительности труда равен проценту размножения, мы хотим сказать, что *на сколько* процентов увеличится население, *на столько же* процентов уменьшится производительность труда. А когда мы говорим, что производительность труда одних работников относится к производительности труда других, как такое-то число к такому-то, мы определяем, *во сколько* раз одна производительность больше другой. *На сколько* 2 меньше 3, *на столько* же 3 меньше 4. Можно ли выразить это такой пропорцией 2:3 = 3:4? Ясно, что нет, потому что две трети не равны трем четвертям. Иное дело *арифметическая* пропорция, иное дело пропорция *геометрическая.* Чернышевский сначала говорит, что он будет держаться первой [226]. Другими словами: чем больше та уступка, которую делает Чернышевский своим противникам, тем более помогает ему его вторая ошибка ослабить логическое следствие этой уступки, хотя, разумеется, действие второй ошибки несравненно слабее действия первой.

Еще одно замечание. Допустим, что указанных ошибок не существует; допустим, что, по смыслу "Мальтусовой теоремы", процент уменьшения производительности труда равен проценту размножения, и вернемся к примерному расчету Чернышевского. В первом году у нас было 100 работников, во втором их оказывается уже 103. Производительность труда прибылых работников на 3 процента меньше прежней производительности. Иначе, по-видимому, и быть не может. Но это только по-видимому. Как распределяются прибылые работники по земельным участкам? Это, конечно, зависит от обстоятельств. Прежде каждый работник возделывал 4 десятины, а каждые два работника возделывали участок в 8 десятин. Новые работники распределялись, положим, так, что на трех 8-десятинных участках теперь работает уж по три, а не по два человека, как это было прежде. На этих участках *"размножение"* работников будет равно

50 процентам. Следовательно, производительная сила их уменьшится *на половину*. Каждый из них произведет только 5 возов хлеба, а не 9,7, как предполагалось раньше. Сообразно с этим увеличится дефицит в земледельческом продукте, а следовательно, и размер необходимых улучшений. Но в таком случае выводы, к которым пришел Чернышевский в своих вычислениях, потеряли бы всякую убедительность, если бы даже и были основательны.

Смешно было бы ставить в вину экономисту случайную ошибку, закравшуюся в его примерный, пояснительный расчет. От подобных ошибок, происходящих от недосмотра, не застрахованы и гениальнейшие специалисты-математики. Но когда к подобным выкладкам сводится весь *"метод"* экономиста (а к ним именно и сводится "гипотетический" или "математический" метод Чернышевского), тогда дело принимает другой оборот. Тогда остается одно из двух: иди жалеть о том, что экономист невнимательно применяет свой метод (потому что его математические ошибки влияют на его выводы, которые *не только поясняются* с помощью примерных выкладок, а целиком *вытекают* из них), или посоветовать ему держаться другого, более научного и потому более плодотворного метода.

III

Взгляд Чернышевского на *"размножение людей"* уже гораздо свободнее от ошибок, хотя и он, конечно, совсем не чужд общего недостатка всех социально-политических взглядов знаменитого просветителя: *крайней отвлеченности.* В сущности весь вопрос сводится у Чернышевского к физиологической возможности более или менее быстрого размножения человеческого рода. "О чем собственно идет дело? — спрашивает он. — О таком ли числе рождений, к достижению которого может быть принужден человеческий организм внешним насилием, или о таком числе рождений, которое было бы естественным последствием отстранения всяких задержек размножению со стороны нужды? Известно, что всякое живое существо, в том числе и человек, может быть принуждаемо насилием к деятельности, превышающей его нормальную силу… Организм женщины может быть принуждаем к рождению количества людей, превышающего ее силы; но… это не будет благоприятно быстроте размножения. Изнуренная мать будет рождать младенцев, лишенных способности жить. Притом же подобное положение женщины возможно лишь при грубости нравов, т. е. при невежестве, т. е.

при дурном положении общества, неблагоприятном размножению. Мы, конечно, ищем не того, какое число детей может родиться в условиях, неблагоприятных размножению, — мы хотим знать, какой процент рождений может быть в обществе при существовании всех благоприятнейших для размножения условий" [227].

Бедность и грубость нравов имеют свойство увеличивать число рождений, доводить их цифру до той величины, которой они не достигли бы при благосостоянии и смягченных нравах. В большинстве европейских стран число рождений колеблется (вернее сказать, *колебалось,* потому что Чернышевский писал около 50 лет тому назад) между 35 и 40 рождений на 1.000; до 45 оно доходит лишь в редких и исключительных случаях; выше 45 оказывается лишь в тех странах, статистические отчеты которых недостоверны, и, наконец, до 48 не достигает ни одна цифра, сколько-нибудь заслуживающая доверия [228]. Чернышевский считает 40 рождений на 1.000 человек "за самую высшую цифру, какая только допускается устройством человеческого организма без насильственного изнурения физических сил женщин в населении не размножающемся; в населении, размножающемся быстро, цифра эта будет меньше" (так как относительно меньше будет число взрослых людей в общем составе населения). С улучшением положения женщины число рождений опустится ниже 40 на 1.000. Процент размножения получается вычитанием числа умирающих из числа рождающихся. Вероятное число рождений нам известно; какова же вероятная смертность? По мнению Чернышевского, "наименьшая смертность между новорожденными, при всевозможном благосостоянии в нынешнем обществе, простирается до 20 на 1.000, а наименьшая смертность между людьми, имеющими более 5 лет, по всей вероятности, не меньше 1,47 (1,4724) процента и ни в каком случае не меньше 1,24 (1,2425) процента" {Сочин., стр. 275–276. Цифры эти Чернышевский получает таким образом: исследования английского статистика Чедвикка показывают, что из детей английских землевладельцев в первые 5 лет умирает 20 процентов. Эту смертность Чернышевский считает наименьшею, какая только возможна по самому устройству человеческого организма, так как английские землевладельцы, не терпя никаких материальных лишений, славятся в то же время заботливостью и рациональностью в физическом воспитании своих детей.

Что касается наименьшей смертности между людьми старше 5 лет, она определяется несколько более сложным приемом. Во Франции, по Гильяру, из 1.000 детей, не достигших пятилетнего возраста, умирало 274. Так как нормальная смертность равняется

200, то 74 смерти оказываются следствием нужды. Нельзя думать, чтобы пропорция *лишних смертей* была больше этой цифры между умершими старше 5 лет. Чернышевский полагает, напротив, что она будет вдвое меньше, что "на одну лишнюю смерть выше пяти лет приходится две лишних смерти между младенцами". Но на всякий случай он делает двойной расчет, определяя относительное число *лишних* смертей как в том предположении, что между взрослыми их меньше, чем между детьми, так и в том, что взрослый организм вдвое лучше детского сопротивляется убийственному влиянию лишений. Расчет ведется им на основании статистических данных о смертности во Франции.

Найдя число *лишних смертей,* Чернышевский без труда получает процент *нормальной* смертности.}.

На основании этих крайних пределов наибольшего числа рождений и наименьшего числа смертей "в обществе, в котором бедность не была бы причиною ни одной смерти и не останавливала бы ни одного рождения", Чернышевский находит, что периоды удвоения в 15 или 12 лет — чистая химера, происшедшая только от забвения о действительно возможном наибольшем числе рождений, и что даже период удвоения едва ли меньше, а по всей вероятности больше, 35 лет. Но это при нынешних обычаях, поднимающих процент рождений выше естественной нормы. "Смягчение нравов ведет к удлинению периода удвоения, и мы не имеем предела, о котором можно было бы сказать, что при известном смягчении нравов он не окажется все еще слишком короток; напротив, есть основание думать, что при устранении излишней грубости семейных отношений действием распространяющегося просвещения, размножение прекратится, и число населения станет увеличиваться лишь вследствие общественной необходимости в том; а когда надобности в том не будет, не будет и размножения. Человеческий организм устроен так, что можно сомневаться в том, свойственно ли ему даже поддерживать существующее число населения, если он не возбуждается тяготением общественного мнения, т. е. расчетом пользы" [229].

Мальтус считал возможными очень короткие периоды удвоения, поэтому он, с своей точки зрения, имел право говорить, что выселение не поможет беде, происходящей от излишнего размножения: при 20-летнем периоде удвоения процент размножения равняется 3,6. Если при таком размножении будет эмигрировать ежегодно 1,5 процента населения, то все-таки останется ежегодное приращение в 2,1 процента, при чем население удвоится в 33 года. Совершенно иное дело, когда

периоды удвоения, — как это мы видели из предыдущего, — оказываются, по свойствам человеческого организма, гораздо более длинными, чем думал Мальтус. Тогда эмиграция должна быть признана могучим средством борьбы с перенаселением. Благодаря ей периоды удвоения населения, остающегося в стране, могут быть удлинены до цифр, на первый взгляд кажущихся совершенно невероятными. По обыкновению, Чернышевский поясняет свою мысль примерным расчетом, и, — как нередко случается у него, — расчет не совсем точен [230].

Впрочем, в данном случае это не важно. Чернышевский сам не придает значения полученным им цифрам, "явно смеющимся над нами и своею огромностью, превышающею всякий расчет экономических вероятностей, и своею нелепою претензиею на точность". Цифры эти убеждают не частностями, а общим своим смыслом. Они "говорят нам: не бойтесь; кто хочет запугать вас, против того выставьте вы нас, — опровергнуть нас нельзя, но мы построены на нынешних ваших обычаях и понятиях, — неужели вы думаете мерить далекое будущее вашими обычаями, понятиями, средствами производства? Неужели вы полагаете, что ваши праправнуки будут такими же, как вы? Не бойтесь, они будут умнее вас. Думайте о том, как вам устроить вашу жизнь, а заботу о судьбе праправнуков оставьте праправнукам…" [231].

Нужно ли входить в подробный разбор этих доводов Чернышевского? Мы считаем это излишним. Мы только повторим сделанное выше замечание насчет того, что взгляд его на размножение людей имеет, как и все его социально-политические взгляды, крайне *отвлеченный* характер. Как должно было отражаться это обстоятельство на его исследовании, понятно само собою. Оно делало его мало убедительным. Там, где надо было бы внимательнее всмотреться в окружающую действительность, Чернышевский довольствовался формальной правильностью своих силлогизмов. Но формальная правильность силлогизмов еще не ручается за верность *вывода.* Все зависит от *посылок.* Посылки же Чернышевского строились обыкновенно на нескольких цифрах, часто очень остроумно истолкованных, но далеко не исчерпывавших всего разнообразия рассматриваемых явлений. Поэтому и возражения его Мальтусу могут считаться скорее образчиком *полемической находчивости* (отчасти не чуждой, как мы видели, некоторой доли *опрометчивости),* чем *научного рассмотрения* предмета. Вот, например, окончательный вывод Чернышевского не подлежит сомнению: не законы природы, а взаимные отношения людей, общественные отношения причиняют бедность рабочего класса. Но когда речь заходит о точном указании тех сторон современных

общественных отношений, которые причиняют так называемое перенаселение, рассуждения нашего автора делаются довольно сбивчивыми. Мы видели, что в главе о прибавочной стоимости (или прибыли) он приписывал обеднение рабочего класса стремлению этой стоимости расти по геометрической прогрессии. В главе о *"действительном источнике дефицита в земледельческом продукте"* он обращает свое внимание на два другие обстоятельства) а именно: "на отношение основного капитала к прибыли" и на *"пропорцию земледельческого населения в общем составе населения"*.

IV

С увеличением населения производительность труда, прилагаемого к земле, падает. Для избежания дефицита в земледельческом продукте требуются улучшения в способах обработки земли. Чернышевский старался доказать, что процент необходимых улучшений очень невелик, и что с этой стороны человечеству опасаться нечего. Но в своих вычислениях он принимал неизменным отношение земледельцев к общему составу населения. С изменением этого отношения, с уменьшением "пропорции земледельцев" — процент улучшений, необходимых для покрытия дефицита, быстро возвышается. А это значит, что людям все труднее и труднее становится бороться с дефицитом. Дело доходит, наконец, до того, что улучшения уже не покрывают дефицита. Именно это мы и видим, по его мнению, в истории всех прогрессирующих стран. По мере развития цивилизации городское и вообще не земледельческое население увеличивается на счет сельского, земледельческого. От земледелия отнимается больше рук, чем это допускается успехами земледельческого искусства. Отсюда — недостаток продовольствия, который, несомненно, существует в современных цивилизованных обществах. "Мальтус был прав, говоря, что с размножением населения является непобедимый никакими земледельческими улучшениями дефицит земледельческого продукта, дефицит, производящий нищету с ее последствиями. Мальтус ошибся только тем, что остановился на одновременности этих двух явлений и голословно назвал одно из них причиною другого, между тем как связь между ними только связь одновременности, а не причинности, и происходят они не одно из другого, а каждый имеет свою особенную причину" [232].

Если бы мы имели дело с рабовладельцем, ведущим натуральное хозяйство, то, разумеется, обнаружившийся у него

недостаток хлеба мог бы найти совершенно удовлетворительное объяснение в несоразмерном уменьшении "пропорции земледельцев". Но и тогда надобно было бы все-таки спросить себя — точно ли недостает хлеба у хозяина? Может быть, он ссылается на недостаток хлеба единственно затем, чтобы оправдать свою жадность, не позволяющую ему кормить рабов досыта. *В капиталистическом* же хозяйстве все явления несравненно более сложны, и, именно благодаря своей сложности, они очень плохо объясняются отвлеченными соображениями того или другого рода. Тут нам припоминается Рикардо, которого Чернышевский так горячо защищал от нападок Кэри. Попросим Рикардо объяснить нам, что произойдет в случае недостатка хлеба, вызываемого уменьшением "пропорции земледельцев".

Если хлеба мало по той причине, что слишком мало число рук, занимающихся его производством, — ответит нам Рикардо, — то цена хлеба поднимется, и это привлечет к земледелию новые капиталы, т. е., следовательно, и новые рабочие руки; "пропорция земледельцев" будет увеличиваться до тех пор, пока не примет надлежащих размеров, определяемых спросом на хлеб. В земледелии, как и везде, "пропорция" работников зависит не от чего иного, как именно от спроса на их изделия. Я подробно объяснил это в своих "Основах политической экономии".

Впрочем, это хорошо знали *раньше* меня и никогда не оспаривали *после.*

К тому же, — прибавит, пожалуй, Рикардо, — очень ошибаются те, которые считают, что количество хлеба, производимого в стране, должно увеличиваться по мере увеличения производительности земледельческого труда, т. е., другими словами, по мере возрастания процента улучшений, совершающихся в земледельческой технике. В действительности вполне возможно *обратное* явление: количество производимого хлеба будет уменьшаться по мере увеличения производительности труда. В данной стране, имеющей данную "пропорцию земледельцев", произошло "улучшение земледельческих способов", позволяющее уменьшить на половину число рук, требующихся для обработки каждой десятины. Половина рук остается без работы. Не имея работы, они не имеют возможности покупать хлеб. Следовательно, потребление хлеба *сокращается,* и сокращается благодаря именно "улучшению земледельческих способов"; сокращение же потребления хлеба ведет к новому сокращению производства. Если дефицит в земледельческом продукте определять числом голодных

желудков, существующих в данной стране, то и выйдет, что *дефицит растет вместе с ростом производительности труда.*

Это прекрасно знал и Мальтус. "Небольшая ферма в Керри [233] способна, может быть, прокормить большую семью, имеющую несколько взрослых работников. Но работа на ферме требует очень немногих рук; женщины исполняют большую часть этой работы. Работа, выпадающая на долю мужчин, так невелика, что не составит в общем счете и одного дня в неделю" [234].

На маленькой ферме следствием этого является, по Мальтусу, праздность мужчин; но он понимал, что на больших *капиталистических* фермах дело происходит иначе: излишние руки изгоняются. Именно по этому поводу он и замечает, что *"способность прокормить работников может существовать в больших размерах, чем желание сделать это".*

Конечно, можно сказать, что улучшение земледелия даст возможность начать или усилить вывоз хлеба за границу, а вывоз хлеба за границу позволит удержать при земле прежнее число работников. Но, во-первых, это возражение сводилось бы к старой песне о том, что введение машин не ухудшает положения работников. Чернышевский не стал бы петь эту песню. А, кроме того, если бы при земле и осталось прежнее количество рук, то ведь потребление хлеба *сравнительно с производством его* все-таки сократилось бы весьма значительно.

Может быть, и нельзя было бы вывозить хлеб за границу, если бы мы решились кормить досыта всех тех, которые живут у нас впроголодь. Но ведь у этих людей нет денег, их потребности не имеют ничего общего с *"действительным"* спросом на хлеб. А в буржуазном обществе только этот спрос и принимается в соображение.

Из России при обыкновенном урожае вывозится много хлеба за границу; до абсолютного "дефицита в земледельческом продукте" при таких условиях очень далеко. Но это не мешает голодать русским крестьянам, не мешает существованию *относительного* дефицита.

Итак, в вопросе о современной нищете с ее последствиями "пропорция земледельцев" ничего не объясняет. Сама эта пропорция определяется спросом на хлеб. Спрос определяется распределением покупательной силы. Распределение покупательной силы зависит, во-первых, от отношения между заработной платой и прибавочной стоимостью, а во-вторых, от того, как разделяется прибавочная стоимость между различными слоями эксплуататоров и их непроизводительных работников. Наконец, отношение между заработной платой и прибавочной стоимостью, по мере увеличения производительности труда, все

более и более изменяется *в ущерб* работникам, *а не в пользу их,* как этого мож-но было бы ожидать на основании рассуждений Чернышевского.

Ссылка на "пропорцию земледельцев" так же мало убедительна, как и известная читателю мысль Чернышевского о причинах сравнительно медленного усовершенствования земледелия: от недостатка хлеба страдают только бедняки; современная же наука в большинстве случаев направляет свои исследования лишь сообразно нуждам высших классов. Читателю уже известно, что это отвлеченное мнение плохо выражает действительный смысл конкретных общественных отношений.

Посмотрим теперь, какая связь существует между нищетой и "отношением основного капитала к прибыли".

"Земледельческое улучшение, подобно всякому другому техническому улучшению, состоит, главным образом, в увеличении основного капитала. Мы видели у Милля, что основной капитал… обыкновенно возрастает не иначе, как обращением в капитал прибыли и ренты. Но прибыль и рента, когда отделяются фактически от рабочей платы, обращаются в капитал не иначе, как в тех случаях, если процент дохода представляет достаточную привлекательность для человека, желающего жить не рабочею платою, а доходом с капитала. Величина процента, дающая такую привлекательность обращению прибыли и ренты в капитал, различна в разных странах; но не бывало никогда примеров, чтобы она опускалась ниже 2 %, — обыкновенно она стоит гораздо выше даже в самых передовых странах. Между тем для нации была бы выгодна затрата капитала на земледельческие улучшения для покрытия дефицита в продукте, хотя бы доход составлял несравненно меньшую, в несколько десятков раз меньшую, пропорцию к затраченному капиталу. Таким образом, очень часто может представляться для нации надобность в земледельческих улучшениях, которые давали бы на затраченный капитал гораздо меньше дохода, чем сколько нужно для того, чтобы затрата стала привлекательна по причине дохода от нее для людей, живущих рентою или прибылью, а не рабочею платою. В таких случаях рента и прибыль не обращаются в капитал, а потребляются непроизводительным образом, и остаются не произведенными те земледельческие улучшения, какие были нужны для предотвращения дефицита в земледельческом продукте" [235].

Не подлежит никакому сомнению, что когда между обществом и его производительными силами стоит капиталист, пользование этими силами никогда не может дойти до таких размеров, до каких дошло бы оно, если бы капиталиста не было.

Это знал, как мы видели, сам Мальтус. Но у Чернышевского выходит, что капиталистический строй может оказаться препятствием для распространения земледелия на новые участки только в том случае, когда производительность труда на этих участках будет значительно *ниже, чем на старых;* притом же Чернышевский говорит *только* о земледельческом труде. Мальтус ставит вопрос шире и отвечает на него правильнее. По мнению Мальтуса, уже известному читателю, *каковы бы ни были производительные силы в* земледелии и *других отраслях производства,* — они употребляются в дело лишь тогда, когда капиталист надеется получить достаточную прибыль [236]. Это огромная разница. Во время переполнения рынков капиталисты сокращают производство, потому что оно не окупило бы даже сделанных на него затрат. Периодическое переполнение рынков принимает тем более внушительные размеры, *чем более* развиваются производительные силы. Следовательно, *чем более* развиваются эти силы, *тем более* серьезным препятствием является капиталистический строй *для их применения.* Это вывод, как раз обратный выводу Чернышевского [237].

Обратите внимание на пример, с помощью которого Чернышевский доказывает справедливость своей мысли.

Общество имеет 10.000 человек населения или 2.000 семейств с 2.000 мужчин. Половина этих последних обрабатывает землю, остальные частью занимаются другими отраслями производительного труда, частью предаются труду непроизводительному, а частью посвящают свое время эксплуатации ближнего (землевладельцы и капиталисты). На продовольствие нужно по 4 четверти на человека, а 1.000 земледельцев производят 40.000 четвертей, по 40 четвертей каждый. Рента и прибыль составляют четвертую часть продукта, т. е. 10.000 четвертей. Остальные 30.000 четвертей составляют рабочую плату, по 30 четвертей на работника [238].

Так обстоит дело в первом году. В следующем году, благодаря размножению населения, в земледельческом продукте оказывается недочет, доходящий до 16 четвертей, т. е. выходит, что недостает продовольствия для 4 человек. Необходимы улучшения. Необходимы — с точки зрения людей, нуждающихся в продовольствии, но не с точки зрения капиталистов. У тех свои расчеты. С их точки зрения "дело зависит от того, какое количество труда нужно для производства улучшений, дающих в продукте увеличение на 16 четвертей". Положим, что для покрытия недочета надо осушить небольшой участок. Для этого потребуется годичный труд двух работников. На их наем надо затратить 60 четвертей (30 на каждого, согласно

вышеприведенному предположению). Следовательно, затрата капитала равняется 60 четвертям, обращение их в основной капитал дает 16 четвертей дохода. "Нет ни одного рассудительного землевладельца или капиталиста в Европе, который с радостью не сделал бы такого улучшения. *Если бы нужны были только такие улучшения, не существовало бы нищеты в Европе*". (Курсив наш.) Но возможен иной случай. Возможно, что для осушения участка потребуется прорыть большой канал, который поглотит годичный труд 200 человек. На их наем потребуется 6.000 четвертей. Осушенный участок будет приносить ежегодно по 16 четвертей. Это составит немного больше одной четвертой части процента. "Каково бы ни было расположение нации к бережливости, до какой бы высокой степени ни доходило деятельное стремление к накоплению, никогда не может оно усилиться до того, чтобы прибыль в одну четвертую часть процента стала казаться привлекательною для рассудительного человека" [239]. Значит, улучшения не будут сделаны. А между тем, их наверное сделали бы, если бы общество само распоряжалось употреблением в дело своих производительных сил. Для него вопрос о покрытии дефицита есть вопрос жизни и смерти.

В этом примере много экономических неточностей. Мы не хотим останавливаться на них. Читатель заметит их и без нашей помощи, а если не заметит, — беда невелика: неточности эти только лишний раз показали бы несостоятельность "гипотетического" метода Чернышевского, а она и без того очевидна [240]. Мы просим читателя обратить внимание лишь на следующее обстоятельство. В разбираемом примере каждый земледелец производит первоначально 40 четвертей хлеба. Осушенный участок приносит только 16. Автор не говорит, сколько труда понадобится для его обработки (обработка совершенно упускается из вида). Но, принимая во внимание, что участок занимает 4 десятины, надо думать, что для его возделывания понадобится количество труда, по крайней мере, равное полугодичному труду одного работника. Но положим даже, что каждый работник в состоянии обработать 16 десятин, и что, следовательно, на обработку участка необходимо затратить лишь трехмесячный труд одного человека. Все-таки производительность труда на этом участке значительно ниже, чем на старых участках: там трехмесячный труд работника производит 10 четвертей. Это, во-первых, доказывает, что именно только в случае понижения производительности труда капиталистический строй мог, по мнению Чернышевского, оказаться препятствием для употребления в дело производи-

тельных сил. Во-вторых, это проливает новый свет на математическое опровержение Мальтуса.

В своем примере Чернышевский указывает, какое число жителей имеет его воображаемое общество, и даже говорит, как велик процент размножения его населения. В этом, по-видимому, нет никакой надобности. Чтобы доказать свою мысль, он мог бы ограничиться указанием того, до какой степени упадет производительность труда на новом участке. Но ему нужно было определить "процент улучшений", необходимых для покрытия дефицита, обнаружившегося во втором году. *"По Мальтусовой теореме",* этот процент оказывается равным 0,0385 или, — как предполагает Чернышевский "для легкости счета", — 0,04. Читатель знает, что нельзя определить этот процент, не определив предварительно того, как понизится производительность земледельческого труда. *"Мальтусова теорема"* именно и помогает Чернышевскому найти эту неизвестную величину: процент ослабления производительности труда новых работников равен проценту размножения, то есть 2. Относительно этого можно предположить одно из двух: 1) это верно, 2) это неверно. Чернышевский сказал бы, конечно, что это совершенно верно. Положим, что он прав. Что же выходит? Процент необходимых улучшений очень невелик. Цифра, его выражающая, *"явно смеется над нами"* своею ничтожностью; она говорит нам: "не бойтесь, — кто хочет запугать вас, против того выставьте вы меня, опровергнуть меня нельзя". Мы верим цифре, у нас исчезают всякие сомнения насчет будущего. Но когда речь заходит об исполнении ничтожных по своим размерам улучшений, оказывается, что мы, по известному немецкому выражению, считали без хозяина. Оказывается, что в деле исполнения этих улучшений возможны очень различные *случаи.* Возможно, что потребуется затратить огромный труд для получения сравнительно ничтожного "дохода". Значит, величина процента необходимых улучшений еще *ровно ни за что не ручается.* Даже в "гипотетической" действительности Чернышевского эта ничтожная величина может уживаться с огромнейшими практическими затруднениями, с чрезвычайно большим понижением производительности труда на участке, который должен покрыть наш дефицит. А это значит, что нельзя верить *насмешливой цифре!*

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ — Кризисы

После всего сказанного надо ожидать, что истинная *причина*

кризисов должна была остаться неясной для Чернышевского. Так оно и есть в действительности.

Как объяснить кризисы, эти "экономические землетрясения, ломающие фирмы, разрушающие фабрики, оставляющие без куска хлеба тысячи бывших богачей и миллионы работников"?

Чернышевский приводит краткое извлечение из отдела, посвященного кризисам у Милля. Из этого извлечения явствует, что причина кризисов лежит в *"закупках на спекуляцию* или просто в *спекуляции".* Соображения Милля кажутся Чернышевскому достаточными для опровержения того взгляда, по которому кризисы причиняются излишним выпуском кредитных бумаг. "Связь коммерческих кризисов с кредитными бумагами в существе дела только та, что быстрый ход закупок в огромном размере возможен, конечно, только при высоком развитии экономической жизни, основанной на обмене, а при таком развитии экономической жизни непременно существует и высокое развитие кредита, а в числе других его форм — и высокое развитие так называемых кредитных бумаг" [241]. Но отсюда еще не следует, что взгляд Милля правилен. "Дело в том, что Милль останавливается только на одной коммерческой стороне процесса, не считая нужным упомянуть об его влиянии на производство и потребление" [242]. С кризисами "связан вопрос о так называемом излишке снабжения". Милль лезет из кожи вон, чтобы показать, вопреки Мальтусу, Чомерсу и Сисмонди, невозможность подобного излишка. По его словам, "заслуга истинного разъяснения этого чрезвычайно важного дела более всего принадлежит двум знаменитым людям: на континенте проницательному Ж. Б. Сэю, а в Англии Джемсу Миллю". — "Все, что говорит Милль, — чистая правда, — замечает Чернышевский. — Но неужели такие люди, как Сисмонди и Мальтус, не умели понимать того, что называется коммерческим кризисом? Они дошли до мысли решительно ошибочной, и когда, для отвращения бедствий коммерческих кризисов, они упрашивают богачей увеличивать непроизводительное потребление, они доходят до нелепости, изумляющей своею колоссальностью. Неужели они могли бы избавиться от своего странного заблуждения таким простым соображением, как мысль о происхождении коммерческого кризиса из чрезмерных спекулятивных закупок? Но ведь это соображение наверное было им очень хорошо знакомо. Как же могли удержаться в таких головах такие нелепости, какие опровергаются Миллем?" Мальтус, Чомерс и Сисмонди просто смотрели на вопрос не с той стороны, с какой смотрит Милль. Истинный ход явления, называемого кризисом, таков: "В первой половине дела, когда

цены растут, производители, надеясь на чрезвычайно выгодный и легкий сбыт, усиливают свою деятельность точно таким же необычайным образом, как усиливаются закупки. В два — три месяца фабрики изготовляют столько товаров, сколько изготовляется при обыкновенном ходе дел в полгода. Но ведь сбыт усиливается возрастанием только спекулятивных закупок, а не самого потребления; оно, напротив, быть может, даже уменьшается по чрезмерной дороговизне. Что же бывает с производством, когда цены начинают падать? В предшествующий период заготовлено товаров в три месяца на полгода; ясно, что производство должно было бы остановиться на три месяца, чтобы запасы уменьшены были до обыкновенного размера обыкновенным потреблением. Но потребление в эпоху кризиса, несмотря на упадок цен, бывает меньше обыкновенного, потому что у всех расстроены денежные дела. От этого чрезмерные запасы еще дольше остаются не потребленными. А пока они не потреблены, не уменьшились до обыкновенного размера, новое производство не находит себе сбыта. Таким образом, с коммерческим кризисом всегда бывает соединен промышленный, во время которого ослабевает производство, по излишеству сделанных запасов и недостатку сбыта. Вот этою стороною дела и были смущены Мальтус, Чомерс и Сисмонди. Милль совершенно прав, доказывая против них, что производство не может превышать потребностей человека [243], что капитал… не может возрастать слишком быстро, что, с какою быстротою ни возрастал бы он, всегда можно было бы желать еще быстрейшего возрастания, потому что всегда нашлось бы ему нужное занятие и т. д., — все это совершенная правда, и в словах Мальтуса, Чомерса, Сисмонди находится противоречие с неопровержимыми принципами экономической теории. Но это противоречие произошло только оттого, что Сисмонди и Мальтус остановились на половине пути, не доискались до коренных фактов, порождающих в самой действительности противоречия с экономическою теориею"… В конце концов, Чернышевский находит, что "производство, которое никогда не может превышать размера человеческих потребностей, может по временам превышать обычный уровень потребления, и неминуемым следствием такого чрезмерного усилия, вызываемого не развитием потребления, а только спекуляциею, бывает временный упадок производства, остановка работ. Корень этого бедствия заключается в отделении покупательной силы от производства и потребления, то есть ни меньше, ни больше, как то, что называется у нас торговлею в отдельности от занятий чисто производительных" [244].

Чтобы доказать несостоятельность Мальтусовой теории народонаселения, следовало прежде всего указать на то, что, по Мальтусу, буржуазное общество *одновременно страдает и от перепроизводства, и от перенаселения,* т. е. от *недостаточного производства.* Подобное опровержение было бы, как выражаются математики, *необходимым и достаточным.* Чернышевский предпочел бороться другим оружием, достоинство которого нам уже известно. Ему и в голову не приходит, что "вопрос об излишке снабжения" может служить для "разъяснения смысла Мальтусовой теории". Он склонен даже хвалить Мальтуса, который хотя и остановился на половине пути в вопросе об "излишке снабжения", но все-таки выбрал верную дорогу для его решения. Самое же решение вопроса выражается немногими словами: *корень бедствия в торговле.* Здесь мы имеем интересный образчик отношения социалиста-утописта ко взглядам буржуазного политико-экономa *"передовой"* школы. Корень зла в спекуляции, — говорит Д. С. Милль. Вы вполне правы, — замечает социалист-утопист. — Но вы не делаете надлежащего вывода из ваших собственных посылок. Я иду дальше вас, я не боюсь поставить точку над "i": корень зла не в спекуляции, а в том, от чего получает происхождение сама спекуляция, т. е. в торговле. Буржуазные экономисты, вообще говоря, совершенно правы. Они лишь робки и непоследовательны.

Корень бедствия в торговле. Без торговли немыслимо товарное производство. Следовательно, корень бедствия уходит еще глубже: он неразрывно связывается с товарным производством. Но товарное производство долго существовало, не причиняя кризисов. Значит, не товарное производство причиняет кризисы, а нечто другое, может быть, и связанное с этим производством, но обнаруживающееся лишь на очень высокой стадии его развития. Указание на истинную причину кризисов заключается уже в собственных словах Чернышевского. Спекуляция дает такой толчок производству, что в два — три месяца заготовляется количество товаров, достаточное для полугодового потребления. В действительности производство может еще дальше оставить за собою потребление, чем думал Чернышевский. Вот теперь и спрашивается, всегда ли существовала при товарном производстве возможность подобного явления? Известно, что не всегда, что она создана лишь развитием новейшей крупной промышленности, увеличившей производительные силы общества до небывалых размеров. Следовательно, "корень бедствия" заключается в крупной промышленности и в слишком значительном развитии производительных сил? Очевидно — да. Но так же очевидно, что

высокое развитие производительных сил злом быть не может. Утверждать это — значило бы говорить сущую бессмыслицу. Выходит, что надо обратить внимание на те условия, при которых применяются теперь высокоразвитые производительные силы. Мы знаем уже, что между обществом и его производительными силами стоит капиталист, прекращающий свою "работу" всякий раз, когда она не сулит ему необходимых и достаточных барышей. А надежда на барыши исчезает всякий раз, когда рынки переполняются товарами. А рынки тем чаще и тем больше переполняются товарами, чем более развиты производительные силы. Капиталист попадает в нелепое, противоречивое положение: с одной стороны, конкуренция заставляет его применять возможно более совершенные способы производства; а с другой стороны, применение этих способов грозит переполнением рынков, кризисом, потерей барышей, разорением. Это противоречие показывает, что производительные силы переросли капиталистические отношения производства [245]. Устранение этих отношений является важнейшим "очередным вопросом" переживаемого нами исторического момента. Когда *капиталистические* отношения производства уступят место *социалистическим,* тогда высоко-развитые производительные силы перестанут причинять *"экономические землетрясения",* они будут покорными рабами людей, источником непрерывного роста обществен-ного богатства.

Противоречие современных производительных сил с современными отношениями производства есть противоречие, свойственное современной экономической действительности. Чернышевский ищет "корня бедствия" в противоречии действительности "с *неопровержимыми принципами экономической теории".* Это весьма характерно для его отвлеченной точки зрения. Стоя на этой точке зрения, легко можно было открыть множество противоречий фактов с "теорией", действительности с требованиями рассудка. Но противоречие действительности с "теорией", т. е. со взглядами людей, само является продуктом исторической диалектики общественной жизни. Надо открыть законы этой диалектики для того, чтобы иметь возможность не только *осудить* действительность, но также *указать исторические условия* ее возникновения в прошлом и ее исчезновения в будущем. К сожалению, именно это-то и невозможно было для человека, смотревшего на общественную жизнь с отвлеченной точки зрения. В качестве теоретика, такой человек мог только ловить действительность на противоречиях с теорией; в качестве практического деятеля, стремящегося устранить ненавистную ему действительность, он мог возлагать свои упования

исключительно только на *убедительность теории,* которая рано или поздно покажет людям всю гнусность *и нелепость действительности.*

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ — Заключение

Вот как формулирует сам Чернышевский, в немногих словах, те принципы, которые должны лечь в основу будущего экономического устройства. Они состоят "в том, что труду не следует быть товаром; что человек работает с полною успешностью лишь тогда, когда работает на себя, а не на другого; что чувство собственного достоинства развивается только положением самостоятельного хозяина; что поэтому искать надлежащего благосостояния будет работник только тогда, когда станет хозяином; что с тем вместе принцип сочетания труда и характер улучшенных производительных процессов требуют производительной единицы очень значительного размера, а физиологические и другие естественные условия требуют сочетания очень многих разнородных производств в этой единице; и что поэтому отдельные хозяева-работники должны соединяться в товарищества".

Каким же путем могут быть осуществлены эти принципы? Чернышевский очень сожалел, что не удалось ему указать те переходные ступени, которые приведут к полному осуществлению социалистических идей. Это действительно очень жаль, потому что характер этих мер дал бы нам более ясное представление о социально-политических взглядах нашего автора. Постараемся, однако, пополнить этот пробел с помощью отдельных замечаний, рассеянных на страницах "Очерков политической экономии". К сожалению, их очень немного.

Мы уже знаем, что Чернышевский горячо восставал против принципа "Laissez faire, laissez passer", столь дорогого вульгарным экономистам известного направления. Но, восставая против *этого* принципа, он далеко не безусловно держался противоположного: он не утверждал, что "социальный вопрос" может быть решен *только* посредством государственного вмешательства, и он был очень осторожен в определении границ этого вмешательства. "Способ осуществления в каждом деле много зависит от обстоятельств, — говорит он в главном экокомическом сочинении [246]. — Одна и та же цель достигается в иных случаях свободным действием индивидуальных лиц, в других — силою распоряжений общественной власти. О том, который способ лучше сам по себе, не нужно было по-настоящему и говорить нам: как мы думаем об

этом предмете, должно быть ясно читателю, сколько-нибудь желающему вникать в наш образ мыслей; да и сам по себе вопрос очень ясен. Но в истории слишком часто задача бывает не в том, какой путь самый лучший, а в том, какой путь возможен при данных обстоятельствах. Если я сам в силах отстранить человека, несправедливо мешающего мне идти своей дорогой, я сам отстраняю его; но если я не в силах отстоять своих прав один, я призову против неправильно мешающих мне вмешательство общественной власти. Из этого еще не будет следовать, что я люблю полицейскую расправу или судебные тяжбы… Но войдите в мое положение, что мне делать, кроме этого? Очень может быть, что в некоторых странах, где народ имеет права вроде английских и североамериканских, дело исполнится исключительно или преимущественно частным образом…" [247].

Но Англию и Северную Америку Чернышевский считал исключениями. Как это по всему видно, он был убежден, что решение социального вопроса *"частным образом"* невозможно в большинстве европейских стран. Есть основания думать, что и само государственное вмешательство в этих странах представлялось ему в виде вмешательства правительства, выдвинутого "скачком". На эти предположения наводят нередкие у него отступления, где он старается решить, насколько требования здравой теории обязательны для правительства, поставленного историей в необходимость исключительно руководствоваться принципом: salus populi lex suprema est. Вот, например, теория безусловно осуждает чрезмерные выпуски бумажных денег. По теории выходит, что лучше прямое, откровенное решение вопроса — налог. Так и должно поступать правительство, чувствующее себя прочным. Но бывают исключительные положения, бывают исключительные события, вроде событий 1848 г. во Франции [248]. "В этом шатком положении приходится лавировать, сообразоваться с господствующими предубеждениями, принимать не тот способ действия, который сам по себе наилучший, а тот, который произведет наименее тяжелое впечатление на общество… Что делать? Тут задача исполняется не такими людьми, которые спокойно могут рассчитывать на свою будущность, а такими, жизнь которых висит на волоске, и волосок этот оборвется, непременно оборвется, не ныне, завтра оборвется, и погибнет с ними их дело, если волосок оборвется ныне, — во что бы то ни стало надобно продержаться нынешний день, чтобы уметь хотя что-нибудь сделать. — Да, представьте себе это положение, и вы поймете мысль о неограниченном выпуске бумажных денег для произведения коренных реформ экономического быта".

Выпуск бумажных денег предполагается здесь необходимым в видах организации рабочих товариществ: "разумеется, раз начавшись, дело будет развиваться собственными средствами; — но, чтобы завести его, чтобы дать ему возможность начаться, все-таки нужно очень много денег" [249].

Замечательно, что у Чернышевского правительство, начинающее коренное "изменение экономического быта в пользу работников и в невыгоду капиталистов", старается не запугать "общество", т. е. этих капиталистов, не произвести на них *"тяжелого впечатления"*.

"Мы приводили основания, по которым некоторые экономисты находят наилучшим порядком такой быт, который существенно разнится от нынешнего, — говорит он по поводу прогрессивного налога, — содействовать введению этого лучшего быта можно, *не нарушая заметным образом никаких существенных интересов;* а прогрессивный налог значительного размера был бы явно противоположен интересу богатых сословий, которые всеми силами боролись бы против него, между тем как прочное и благоразумное правительство *могло бы, нисколько не раздражая их, вести дело коренной реформы быта"*[250].

Одни эти строки могли бы убедить нас, что в лице Чернышевского мы имеем дело с *социалистом-утопистом.*

Утопическая точка зрения на общественную жизнь — такова Ахиллесова пята нашего автора. Из этого общего источника проистекают все те многочисленные промахи и все те немалочисленные ошибки, с которыми мы встретились в его исследованиях. Чернышевский часто ошибался, потому что, рассуждая о буржуазном обществе, он искал оснований для своих выводов *не в действительной жизни этого общества, а в "требованиях здравой теории"*.

В основе этих требований лежали, — как видел читатель, — учения тех же буржуазных экономистов, против которых спорил Чернышевский. Но он видоизменял и дополнял эти учения, руководясь размышлениями об экономической жизни воображаемого социалистического общества с населением от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Примерные арифметические выкладки, — счетоводство воображаемого общества, — составляли всю сущность его *"гипотетического"* метода. С помощью таких приемов нельзя было сделать что-нибудь прочное в науке. Пример Чернышевского, обладавшего такими огромными, поистине редкими, способностями, лучше всякого другого показывает несостоятельность *утопической точки зрения.*

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник". 1910 г.

Спб.).

В предисловии к своему переводу "Оснований политической экономии Д. С. Милля" Н. Г. Чернышевский писал:

"Книга Милля признается всеми экономистами за лучшее, самое верное и глубокомысленное изложение теории, основанной Адамом Смитом. Переводя это произведение, мы хотим дать читателю доказательство, что бóльшая часть понятий, против которых мы спорим, вовсе не принадлежит к строгой науке, а должна считаться только искажением ее, сочиненным нынешними французскими так называемыми экономистами по внушению трусости" (Сочинения, т. VII, стр. 1).

Имея в виду эту специальную и в весьма значительной степени публицистическую цель, наш автор очень охотно говорил, что он *"только повторяет слова"* Д. Ст. Милля, и если расходится с ним, то лишь в выводах, вытекающих из экономической теории, а не в том, что касается ее основных положений. Это могло быть удобно ввиду вышеуказанной специальной цели; но это оказалось невыгодным для самой теории. Чернышевский сделал большую ошибку, приняв Д. Ст. Милля за верного ученика А. Смита и Рикардо. Несмотря на свое будто бы беспристрастное отношение к социалистическим системам, Дж. Ст. Милль сам испытал на себе влияние вульгарных экономистов, — если не французских, то английских, — и, как мы видели, сам не мог окончательно разобраться в основных понятиях политической экономии. Если бы Чернышевский взял за исходную точку своих исследований не "Основан я политической экономии" Д. Ст. Милля, а "Principles of political Economy and taxation" Рикардо, — о которых он сам был такого высокого мнения [251], — или хотя бы "Soziale Briefe an v. Kirchmann. Родбертуса, то его собственный взгляд на экономику капиталистического общества очень много выиграл бы в ясности. А *это,* конечно, отразилось бы в благоприятном смысле как на его *"примечаниях и дополнениях"* (к первой книге Милля), так и на его "очерках" ("по Миллю").

Известно, что на учение Рикардо опирались английские социалисты прошлого века, — главным образом, последователи Р. Оуэна, — в своих довольно многочисленных и весьма замечательных экономических сочинениях (о них см. в "Нищете философии" *Маркса* и в предисловии проф. *Г. С. Фоксуэля* и английскому переводу книги *Л. Менгера* "Das Recht auf den vollen Arbeiterstag"; это предисловие переведено на немецкий язык и составляет введение к вышедшему в 1903 году немецкому переводу двухтомного сочинения Уильяма Томпсона: "An inquiry into the principles of the distribution of Wealth"). Наконец, о тех же социалистах говорит покойный проф. Георг Адлер в своей

"Einleitung" к немецкому переводу брошюры Джона Грэя *"Lectureonhumanhappiness"* (появившемуся в 1907 году). Надо признать, что основные экономические взгляды английских социалистов той эпохи, — напр., У. Томпсона и Дж. Грэя, — нередко отличаются большею стройностью, нежели взгляды Чернышевского. Но А. Менгер сделал большую и странную ошибку вообразив, будто в этих сочинениях заключаются *основы научного социализма.* Английские социалисты, делавшие. по выражению Маркса, эгалитарные выводы из экономического учения Рикардо, продолжали стоять обеими ногами на почве *утопического* социализма, как в этом легко может убедиться всякий, кто даст себе труд прочитать, например, вышеназванные сочинения Томпсона и Грэя, до сих пор остающиеся большой редкостью на английском языке, но сделавшиеся общедоступными в немецком переводе. Для английских социалистов, опиравшихся на Рикардо, задача исследования сводилась, — как и для нашего великого просветителя, — к уяснению себе и другим того, что капиталистический порядок не соответствует "требованиям здравой теории. Повторяем, дело не в частных ошибках Н. Г. Чернышевского, — как бы ни были они подчас значительны, — а в недостатках той *точки зрения,* которой он держался.

Но при всех своих недостатках, — *на которые в наше время можно и должно смотреть исторически,* — точка зрения нашего автора не помешала ему оказать неоцененные услуги нашей нарождавшейся общественной мысли. Он был не только образованным, а прямо ученым, да к тому же еще убежденным и талантливым публицистом, который хотел обратить на "социальный вопрос" внимание своих "читателей-друзей", принадлежавших преимущественно к разночинцам. И эта его благородная цель была вполне достигнута: все свежие, все живые элементы нашей читающей публики испытали на себе его благотворное влияние. Много содействовала его. подчас страстная, подчас желчная и едкая проповедь возникновению того демократического течения в нашей литературе, которому русский "передовой человек" обязан был всем тем, что он знал о нашей народной жизни. Чернышевский нередко ошибался, когда судил об отдельных явлениях в жизни капиталистического общества. Но он был прав в своем отрицательном отношении к этому обществу. А кроме того, — и это крайне важно, — когда он рассуждал о том, "что делать", он даже в своих утопических планах обнаруживал такую сильную логику и такую поразительную трезвость мысли, каких мы напрасно стали бы искать в сочинениях людей, занявших в нашей передовой публицистике главное место *после*

его удаления со сцены. *Когда он ушел, уровень нашей этой публицистики страшно понизился.* И достаточно одного этого, не подлежащего ни малейшему сомнению, обстоятельства, чтобы судить о том, какую важную и какую плодотворную роль играл Н. Г. Чернышевский в нашей литературе. Его имя характеризует целую эпоху в истории развития русской общественной мысли. Эта эпоха есть славная, незабвенная "эпоха шестидесятых годов".

notes

Примечания

1

"История русской общественной мысли", т. II. изд. 2, стр. 8.

2

См. нашу статью "Идеология мещанина нашего времени" в июльской книжке "Современного мира" за 1903 год.

3

Сочинения, II, 194.

Сочинения, III, 293.

Сочинения, VI, 128.

Там же, 134.

Там же, 137.

8

Там же, та же стр.

9

Там же, 138.

Там же, 138.

11

Там же, 138–139.

12

Там же, 150.

13

Там же, 205–206.

14

Напоминаем читателю, что Чернышевский родился в 1829 году.

15

Сочинения, VI, 182.

16

Сочинения, III, 151 (статья, из которой мы делаем эту выписку, относится к 1857 году).

17

"Oeuvres complиtes" de Ch. Fourier, t. 4, Théorie de l'unité universelle, 1 édition, pp. 3-4-5.

Ibid, p. 121.

19

См. в цитированном уже томе соч. Фурье, стр. 43–46, Note B. sur le triplement spécial de richesse effective. Application au Melon et à l'Artichaut.

Сочинения, т. VI, 8.

21

Там же, 44.

22

Там же, 45.

23

Там же, 11. В другом месте необходимость этого субъективного развития истины в индивидуумах доказывается у него так: "Полнота, теоретическое изложение системы известного быта, основанного на известном принципе, — вещь необходимая: нужно же знать, что в самом деле хорошо и справедливо"… ("Основания политической экономии Д.С. Милля". Примечания. Т. VII, стр. 634).

Главною особенностью этого плана является у Чернышевского то, что его осуществление не стеснило бы ничьей свободы: обязательности нигде нет никакой, "кто чем хочет, тот тем и занимается" (Там же, стр. 47), "Живи, где хочешь, живи, как хочешь, только предлагаются тебе средства жить удобно и дешево и, кроме обыкновенной платы, получать дивиденд. Если и это стеснительно, никто не запрещает отказываться от дивиденда" (Там же, стр. 49).

Сочинения, т. VII, 640.

Сочинения, т. IX, 103.

27

Сочинения, т. III, стр. 183.

28

Там же, стр. 181.

Выписки, сделанные нами сейчас, взяты из его "Заметок о журналах", напечатанных в "Современнике", в апреле 1857 года.

30

Там же, стр. 183.

31

У Чернышевского мы встречаем тут даже знаменитую теперь "теорию обнищания". Он пишет: "С одной стороны возникли в Англии и Франции тысячи богачей, с другой — миллионы бедняков. По роковому закону безграничного соперничества, богатство первых должно все возрастать, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем числе рук, — а положение бедняков должно становиться все тяжеле и тяжеле". (Соч., т. III, 182). Эта теория встречается почти у всех выдающихся социалистов-утопистов, обращавших некоторое внимание на экономические вопросы. Маркс нашел ее готовою и переделал так, что она совершенно перестала быть теориею обнищания в старом смысле этого слова (См. нашу 3-ю статью против г. Струве в сборнике "Критика наших критиков"). Но гг. "критикам" Маркса выгодно теперь приписывать ему в политических целях именно теорию обнищания, как она существовала в литературе утопического социализма.

32

Там же, стр. 184.

33

Там же, стр. 185.

34

Не имея под рукой сочинений Ю. Самарина, мы цитируем этот его взгляд по книге Пыпина: "Характеристика литературных мнений", стр. 298.

35

Аристов, в своей книге о Щапове, рассказывает, что Чернышевский, заинтересовавшись сочинениями Щапова, искал знакомства с ним и, встретив его у одного общего приятеля, вел с ним длинный спор. Спор этот показал Чернышевскому, что сотрудником "Современника" Щапов быть не может: так сильно расходились их взгляды. Но как относились к Щапову впоследствии те самые люди, которые считали себя горячими поклонниками Чернышевского? Щаповские взгляды на русскую историю явились составною частью народнического учения, и наши народники, продолжая "уважать" Чернышевского, даже не потрудились спросить себя, — не существует ли противоречия между его взглядами и Щаповской идеализацией старинной народной жизни.

36

Сочинения, т. IV, стр. 304–305.

Там же, стр. 306.

38

Там же, стр. 306.

39

Там же, стр. 307.

Курсив повсюду в этой выписке наш.

41

Сочинения, т. X, ч. 1, стр. 164.

42

Там же, стр. 91.

Сочинения, т. VIII, стр. 328.

Там же, стр. 328–329.

Сочинения, т. IV, стр. 157.

Там же, та же стр.

47

Там же, стр. 158.

Там же, та же стр.

49

Там же, стр. 219.

Сочинения, т. VI, стр. 691.

51

Сочинения, т. VI, стр. 206.

52

Там же, стр. 219.

только может ускорить их собственное революционное движение. Они знают, что их собственная борьба с буржуазией

Напомним читателю, что Р. Оуэн предостерегал своих последователей от увлечения политической агитацией. Он находил, что завоевание всеобщего избирательного права отнюдь не подвинет вперед дела создания трудовых ассоциаций (ср. E. Dolléans, "R. Owen", Paris 1905, pp. 208–209) Его мечты о патриархальном режиме под управлением выборного "социального отца" недурно характеризованы г. Еленой Симон ("R. Owen", Jena 1905, S. 255). Известно, как часто обращается Р. Оуэн к современным ему правительствам с просьбой содействовать ему в осуществлении его социалистических планов.

Сочинения, т. VI, стр. 126.

Сочинения, т. VIII, стр. 208.

Там же, стр. 208.

Там же, стр. 210.

59

Удовольствуемся одной. "До февраля 1848 г. Виктор Гюго не знал, какой у него образ мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом; а впрочем он был прекраснейший человек и отличный семьянин, добрый, честный гражданин, и сочувствовал всему хорошему, в том числе, славе Наполеона I и рыцарскому великодушию Александра I, доброму сердцу герцогини Орлеанской, матери наследника тогдашнего короля Луи-Филиппа, и несчастиям благородной герцогини Беррийской, матери соперника этому королю и этому наследнику, сочувствовал прекрасному таланту Тьера, соперника Гизо, гениально простому красноречию Гизо (едва ли не величайшего из тогдашних ораторов), честности Одилона Барро, противника Гизо и Тьера, гению и честности Араго, знаменитого астронома, главного представителя республиканцев в тогдашней палате, благородству фурьеристов, добродушию Луи Блана, великолепной диалектике Прудона, любил монархические учреждения, и, кроме того, все остальное хорошее, в том числе и Спартанскую республику, и Вильгельма Телля, — образ мыслей известный и заслуживающий всякого почтения уже и по одному тому, что из сотни честных образованных людей чуть ли не 99 человек во всех странах света имеют наверно такой образ мыслей" (т. X, ч. 2, отд. 2, стр. 95–96). Тут уже Чернышевский сам говорит, что, характеризуя "массу общества", он имеет в виду собственно обработанные классы.

Сочинения, т. V, стр. 249.

Эти обозрения составляют по объему, по крайней мере, два тома полного собрания его сочинений.

Сочинения, т. IX, стр. 205.

63

Там же, стр. 206.

В своих "Очерках политической экономии" Чернышевский, указывая на несоответствие существующего экономического порядка с "требованиями здравой теории", прерывает иногда свое изложение вопросом: "Должен ли оставаться такой быт, при котором возможна подобная несоответственность?". (См., например, Соч., т. VII, стр. 513). На такой же вопрос должны были наводить его читателей и политические его обозрения — особенно те, из которых следовал тот несообразный" вывод, что правы не враги деспотизма, а его защитники. Такой вывод являлся у Чернышевского только лишним доводом против нынешнего "быта". Но либералы часто не понимали этого.

Там же, стр. 236.

Там же, стр. 241.

Сочинения, т. V, стр. 490–491.

Сочинения, т. VIII, стр. 319.

Сочинения, т. VIII, стр. 37–38.

Сочинения, т. IX, стр. 130, 155–156.

Опираясь на историю, Рошер и его единомышленники были принципиальными противниками "скачков"; они держались того мнения, что эволюция не оставляет для них места. Это взгляд столь же ошибочный, как и взгляд некоторых революционеров, восстающих, — теперь уже, пожалуй, вернее будет сказать некогда восставaвших, — против эволюции. Обе эти крайности совершенно исключают правильное понимание истории. На самом деле "скачки" составляют необходимый момент эволюции. Медленные изменения подготовляют "скачки", скачки расчищают путь для дальнейших медленных изменений. Принятый в особенности германскими учеными исторический метод совершенно произвольно ограничивал свое поле зрения одним из моментов эволюции: моментом медленных постепенных изменений. О представителях такого исторического метода Маркс с полным правом писал еще в 1844 году: "Они оправдывают низости, совершаемые сегодня, низостями вчерашнего дня; объявляют мятежом всякий протест крепостного против кнута, если только этот кнут исторический; при всяком куске, вырезываемом из народного сердца, эти верноподданные Шейлоки ссылаются на исторический вексель" и пр. Однако сам Маркс, в таких сильных и метких выражениях разоблачавший сервилизм официальных представителей "исторического метода", не только не игнорировал исторической эволюции, но первый обнаружил ее наиболее глубокие пружины.

Сочинения, т. VII, стр. 56–57.

73

Сочинения Н. Чернышевского, т. VII. стр. 616. В другом месте того же тома Чернышевский определяет задачу "экономической теории" так: разложив продукт на доли, соответствующие разным "элементам" производства, она должна искать, какое сочетание этих элементов и долей дает наивыгоднейший практический результат. В чем тут состоит задача, понятно каждому: надобно отыскать, при каком сочетании элементов производства данное количество производительных сил дает наибольший продукт. Когда теория найдет такую форму сочетания, то само собою будет разуметься, что безусловного совершенства в осуществлении этой формы достичь невозможно человеку не только теперь, но и решительно никогда; таково уже общее свойство всех требований всякой науки; ни одно из них не может быть осуществлено в безусловном совершенстве, потому что безусловного совершенства вообще никогда ни в чем не бывало и не может быть" и т. д. Там же, стр. 364.

Соч., т. VII, стр. 585. Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). Подобно этому, он нередко рассуждал, как мы видели, и в своих политических обозрениях; теория говорит, что нынешний порядок вообще никуда не годится. После этого какой смысл имеют рассуждения и споры о подробностях этого порядка?

Впоследствии он разошелся с ним, как это видно, между прочим, из переписки Маркса и Энгельса с Зорге.

Там же, стр. 617; ср. стр. 307.

Там же, стр. 309–310.

Там же, стр. 333.

79

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). Ср. главу "Distributionsverhältnisse und Produktionsverhältnisse" в III томе "Капитала" (немецк. подлинника часть II, стр. 413–421); по-русски: "Условия распределения и условия производства), стр. 727 и следующие русского перевода (Спб. 1896).

Соч. Чернышевского, стр. 29.

81

См. "Капитал", стр. 306 русского перевода (изд. 1892 г.).

При разделении труда внутри мастерской работники производят не отдельные предметы, а отдельные части предмета, выделкой которого занимается мастерская.

"Wealth of nations", B. I, ch. VI.

Карл Маркс, "Zur Kritik", S. 37. Ср. также "Теории прибавочной стоимости" К. Маркса, перевод Стрельского под редакцией Г. Плеханова, Спб., 1906, стр. 140 и след.

"Капитал", стр. 4 русского перевода.

Читатель понимает, что мы говорим здесь не о наемных рабочих, а о самостоятельных производителях, то есть о хозяевах и предпринимателях. Об экономической "самостоятельности" рабочих речь будет ниже.

"Капитал", стр. 53.

"Капитал", стр. 54

"Капитал", стр. 31.

Ibid., стр. 310. При товарном способе производства, вследствие анархического характера этого способа, "равновесие само есть только случайность", — замечает Маркс во II томе "Капитала" (стр. 496 немецкого издания).

91

Чернышевский везде употребляет выражение "ценность" вместо стоимость. Под стоимостью же товара Чернышевский понимает то, что экономисты называли издержками производства.

92

Стр. 452.

93

Мы напоминаем читателю, что по терминологии Чернышевского ценность означает стоимость товара.

Там же, стр. 418.

Там же, стр. 420.

Там же, стр. 421.

Там же, стр. 439–440.

Там же, стр. 440.

Курсив наш.

100

Там же, стр. 420.

101

Там же, стр. 489.

102

Там же, стр. 447–448.

103

Там же, стр. 438.

Там же, стр. 333.

105

Там же, стр. 437–438.

106

Там же, стр. 450.

107

Там же, стр. 492.

108

Там же, стр. 444–445.

Т. е., собственно, с рабочей силой.

Само собою разумеется, что, говоря это, мы имеем в виду простое товарное производство.

111

То есть не издержки производства, а цену. Соч., т. VII, стр. 326.

112

Там же, стр. 439.

113

Там же, стр. 452–453.

Там же, стр. 453–454.

115

Там же, стр. 455.

116

Там же, стр. 455–456.

117

Об этом см. "Zur Kritik der politischen Ökonomie", стр. 138–170.

Маркс, "Наемный труд и капитал".

119

Маркс, "Zur Kritik", S. 4.

120

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). Говоря это, мы имеем в виду не классиков буржуазной экономии, а главным образом их измельчавших эпигонов. Что касается нынешних субъективных экономистов, то их метод как будто нарочно придуман для того, чтобы сделать невозможным обнаружение причинной связи между экономическими явлениями. Эти светильники науки горят именно затем, чтобы ничего не было видно.

121

Сочинения, т. V, стр. 132.

122

Там же, стр. 135.

Желая доказать, что труд не должен быть товаром, Чернышевский приводит такие доводы, которые идут гораздо дальше предназначенной им цели и оспаривают самую возможность того явления, которую ему хотелось устранить. "Мы нашли, — говорит он, — что понятие труда не должно соединяться с понятием о меновой ценности… Приписывать труду меновую ценность, значит сравнивать его с понятиями, посторонними для человека. Положим, например, что четверть пшеницы мы оценим в пять рабочих дней, имеющих по 12-ти часов. Это значит, что 60 часов человеческого труда мы ставим равными одной четверти пшеницы. Пусть читатель рассудит, годится ли ставить знак равенства между такими понятиями. Труд есть деятельность человеческого организма, не могущая быть подведенною к одному знаменателю ни с чем иным, кроме деятельности того же организма… Можно сравнивать между собою продукты труда; но нельзя сравнивать их с трудом: это — предметы несоизмеримые. Положим, что труд превращается в продукт, но все-таки сравнивать их друг с другом точно так же не следует, как не следует звук фортепиано сравнивать с деревом и железом, из которых возникает этот звук. Конечно чем больше труда, тем больше продукта; конечно, чем лучше труд, тем лучше и продукт, но точно так же, чем толще струна, тем сильнее звук, чем лучше металл и дерево, тем лучше звук. Мало ли какой предмет превращается в какой другой предмет или какое явление в другое явление, но, несмотря на происхождение одного из другого, все-таки нельзя же их сравнивать, если они совершенно разнородны". (Сочинения, т. V, стр. 439.) Итак, нельзя сравнить труд (т. е., вернее, рабочую силу) с продуктами труда. Но, с другой стороны, мы видим, что, продаваясь на рынке, рабочая сила постоянно "сравнивается) с ними. Как же объяснял наш автор это противоречие буржуазной практики с доводами "здравой теории? Иногда он объяснял его ошибками рассудка: меновая стоимость должна совпадать с внутреннею и отклоняться от нее только вследствие ошибочного признания труда за товар (Там же, стр. 438), а иногда просто ограничивался тем замечанием что теория не должна смущаться отклонениями практики от ее требований. "Мало что бывает товаром на практике, — говорит он, — бывает товаром и любовь, бывает и труд. Но теория должна признавать обе эти функции человеческого организма такими принадлежностями его, власти над которыми сам человек не должен отнимать у себя, вроде того,

как не может отказываться от права иметь свое мнение или действовать по собственному убеждению". (Там же, стр. 438.)

124

Там же, стр. 523–524.

125

Там же, стр. 524.

"Дело не в том, возвышается или не возвышается абсолютная стоимость производства земледельческого продукта, — оговаривается при этом Чернышевский. — Пусть она не возвышается, пусть она даже понижается, это все равно: важность в том, что стоимость производства мануфактурных изделий понижается быстрее, чем стоимость производства пищи".

127

Там же, стр. 527–529.

"Das Kapital", 3 Auflage, S. 645–646.

129

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). Считаем не лишним поставить читателю на вид, что здесь речь идет у нас о понижении заработной платы, как доли национального продукта. При этом относительном уменьшении рабочий класс может получать больше денег, нежели прежде, покупать на данную денежную единицу больше, нежели прежде, товаров и все-таки быть относительно беднее, нежели он был раньше. Это наглядно показывает пример Америки. См. наш сборник "Критика наших критиков", стр. 40–96.

130

"Das Kapital", dritte Auflage, S.S. 654–656. В интересах точности мы цитируем немецкий подлинник.

131

Там же, стр. 392.

Там же, та же стр.

Читатель видит, что Чернышевский выражается здесь неточно. Такой "элемент", как страховая премия, никак не может быть отнесен к элементам производства. Но не в том дело.

134

Том IV, стр. 390–398.

135

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). В этом отношении он весьма заметно отличается от Р. Оуэна, у которого он заимствовал, однако, многие свои взгляды на "условия успешности труда". Оуэн по всей справедливости может быть назван инициатором фабричного законодательства в Англии (ср. "Robert Owen" par Edouard Dolleans, Paris 1905, p.p. 91 и след.; ср. также "Robert Owen" von Helene Simon, Jena 1905, S.S. 96 и след.]. Но понятно, что в России, едва разделавшейся с крепостным правом и обладавшей лишь очень мало развитой капиталистической промышленностью, вопрос о фабричном законодательстве не мог иметь такого практического значения, какое имел он в Англии уже с начала XIX века. Поэтому он и в теории не привлекал к себе внимания Н. Г. Чернышевского.

136

Там же, стр. 388.

137

Сочинения, т. VII, стр. 393.

138

Там же, стр. 401.

139

Там же, стр. 394.

140

Там же, стр. 394.

Мы выписываем это определение в переводе Чернышевского (Соч. т. VII, стр. 451.)

В стоимость продукта данного года всегда входит, как очень значительная составная часть, стоимость средств производства, созданных трудом предыдущих лег. Но мы, для простоты рассуждения, оставляем эту часть без внимания, т. е. называем продуктом данного года лишь ту часть стоимости национального годового продукта, которая произведена трудом данного года.

143

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). Как это мы видим в современной Франции, где размножение совсем остановилось, отнюдь не устранив этим "бедности".

Там же, стр. 400.

145

Там же, стр. 401.

146

Там же, стр. 403.

147

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). См. "Das Kapital, III Band, I Th. S. 322 и след.

Мы умышленно берем этот высокий уровень прибавочное стоимости.

149

Там же, стр. 404.

150

Там же, стр. 533–534.

151

Там же, стр. 155–156.

Там же, та же стр.

153

Известно, что Мальтус писал свой "Опыт о законе народонаселения" для того, чтобы опровергнуть тогдашние "системы равенства", главным образом взгляды Годвина, изложенные в его книге "Political justice". — "О политической справедливости".

Там же, стр. 248.

155

Там же, стр. 393.

Там же, стр. 400.

Еще раз напоминаем, что у Чернышевского в стоимость продукта не входит стоимость воспроизводимой в ней части постоянного капитала.

Потому и он не пришел к мысли о необходимости законодательного ограничения рабочего дня.

159

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). См. наш ответ Г. П. Струве в сборнике "Критика наших критиков".

"Наемный труд и капитал" Карла Маркса.

161

Карл Маркс, там же.

162

Там же, стр. 536.

163

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). Надо, однако, заметить, что в одной из ранних своих статей Чернышевский высказывает свое несогласие с Рикардо по одному весьма важному пункту. В библиографической заметке о книге А. Львова: "О земле, как элементе богатства", Москва 1853 г., он говорит: "Теория Рикардо совершенно основательна, но не совершенно полна, она объясняет только причину различия в ренте различных земель, не принимая, что и самая плохая приносит ренту, и не объясняя этого; он выводит ренту ниже действительной величины ее, потому что берет ренту только при достаточности, а не при недостаточности производства" (Соч., т. I, стр. 138). Это очень похоже на теорию абсолютной ренты Родбертуса и Маркса. Но этого взгляда на ренту Чернышевский совсем не развил, и в своих "Очерках политической экономии" он уже не возвращается к нему.

Там же, стр. 411.

165

Там же, стр. 533.

Мы рассматривали это мнение выше.

167

Там же, стр. 413.

Там же, стр. 414.

169

Там же, стр. 530–531.

170

Почему же хлопок, картофель и водка стали краеугольным камнем буржуазного общества? Потому, что их производство требует наименьшего труда, и они имеют, вследствие этого, наименьшую цену. А почему минимум цены обусловливает максимум потребления? Уж не вследствие ли абсолютной, внутренней полезности дешевых вещей, их способности наилучшим образом удовлетворять потребности рабочего, как человека, а не человека, как рабочего? Нет, это потому, что в обществе, основанном на нищете, самые нищенские продукты имеют роковое преимущество служить для потребления массы". Карл Маркс, "Нищета философии", стр. 33, русск. перевод В. И. Засулич под редакцией Г. Плеханова.

171

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). Мы с удовольствием убедились впоследствии в совпадении нашего взгляда на отношение роста производительности труда в земледелии к его росту в промышленности со взглядом Маркса на тот же предмет (ср. "Theorien über den Mehrwert", zweiter Band, erster Teil, стр. 172 и следующие). На этих же страницах (особенно на стр. 174), находится у Маркса и ответ тем экономистам, которые, подобно П. П. Маслову, до сих пор признают теорию убывающей производительности земледельческого труда. Но, как бы там ни было, несомненно одно: теперь, когда европейские производители хлеба так горько жалуются на его перепроизводство, совсем уже нельзя объяснять тяжелое положение рабочего класса малой производительностью земледельческого труда. По вопросу о том, как росла эта производительность в Западной Европе в XIX столетии, см. книгу Фр. Оппенгеймера: "Das Bevölkerungsgesetz des R. T. Malthus und der neueren Nationalökonomie", Berlin 1901, S.S. 48 и следующие.

Сочин., стр. 531–532.

173

Works, т. II, стр. 384–391.

"Essai sur la différence du nombre des hommes dans les temps anciens et modernes", Londres MDCCLIV, pp. 271 et 272.

175

"Of the populousness of Ancient Nations" in "Essays and treatises", Londres MDCCLIV, vol. I, p. 139.

"L'ami des hommes ou traité de la populations" Nouvelle édition, Paris 1758, premiиre partie, p.p. 20-21-22-191.

177

"L'esprit des lois", LXXIII, ch. I.

Замечательна самая постановка вопроса у Стюарта. "Мы увидим, — говорит он, — каким образом законы промышленности влияют на размножение и на земледелие" (кн. I, гл. II, стр. 29 французского перевода 1780 г.). Стюарт не считает возможным рассматривать вопрос о народонаселении с отвлеченной точки зрения: "Я нахожу, что общие пропорции всегда ошибочны, — говорит он. — В сущности нет страны совершенно населенной, если под этим понимать число ее жителей, рассматриваемое независимо от потребления ими произведений страны". "У свободного народа (Стюарт имеет в виду народ, живущий при буржуазных условиях производства) земледелие увеличивает население лишь в той мере, в какой бедные получают возможность покупать свою пищу своим трудом" (стр. 50). У Стюарта идет речь даже о чем-то в роде экономического подбора, существенно отличного от подбора естественного, о котором говорил впоследствии Дарвин. Закон экономического подбора устанавливается Стюартом неправильно: размножение привилегированных он считает прямо пропорциональным их средствам существования. Это достаточно опровергается хотя бы примером современной Франции (ср. Ar. Dumont, "Population et civilisation"). Тем не менее, Дарвину было бы гораздо полезнее прочесть Стюарта, чем Мальтуса.

179

"De l'économie politique moderne. Discours fondamental sur la population", A Paris, l'an. III de la Republique.

180

Назв. соч., стр. 16 и 286.

ообще, по мнению Герреншванда, способ удовлетворения нужд, система экономических отношений, оказывает глубокое влияние на все привычки и склонности народа. Так, причину воинственности древних римлян он видит в системе мелкого землевладения (стр. 23).

182

Назв. соч., стр. 41.

183

Там же, стр. 60–61.

Там же, стр. 69–70 и 246–247.

185

Там же, стр. 284 и 289.

"Voyage en Espagne", перевод Пиктэ-Малэ, т II. стр. 348.

187

Там же, т. II, стр. 341–344. Смотри также приложение к русскому переводу "Опытов о законе народонаселения" Мальтуса.

Это было замечено уже русским переводчиком Мальтуса, П. А. Бибиковым.

Хотя и это не совсем точно: кроме пищи, размножение определялось наверно, и другими естественными условиями.

Там же, т. I, стр. 321.

191

Известно, что Маркс называл Мальтуса плагиатором. Столь резкий отзыв кажется слишком неприличным всем "серьезным" ученым. С ним трудно было помириться даже Ф. А. Ланге. Нечего и говорить о людях еще более "почтенных?. Так, г. Зэтбеер старается защитить честь Мальтуса в своей книге: "Die Stellung der Sozialisten zur Malthusschen Devölkerungslehre" (Книгу эту увенчал премией Геттингенский университет). По его мнению, только рассмотрение первого издания "Опыта" Мальтуса могло бы окончательно разрешить спор, вызванный резким упреком Маркса (г. Зэтбеер не мог достать этого издания). "А пока, — наивно прибавляет он, — мы не имеем никакого основания верить Марксу больше, чем Мальтусу" (стр. 34). Но Марксу едва ли когда приходило в голову просить немецких "ученых" верить ему на слово. Единственное, чего он мог требовать от них, это — знакомства с теми предметами, о которых они вздумают говорить. "Неясно, — замечает г. Зэтбеер, — относится ли и насколько относится упрек в плагиате к последним изданиям сочинений Мальтуса. Если — да, то несостоятельность его обнаруживается как приведенными (г. Зэтбеером) местами из предисловия ко второму изданию, где Мальтус называет свои источники, так и способом обработки предмета". Во-первых, мы не знаем, как это могут быть неясны г. Зэтбееру совершенно ясные слова Маркса о первом издании, а во-вторых, мы позволим себе спросить его, думает ли он, что Мальтус обнаружил большую самостоятельность в дальнейшей обработке предмета)? Читал ли г. Зэтбеер предшественников Мальтуса? Если — да, пусть укажет хотя одну — только одну! — мысль этого писателя, не заимствованную у кого-нибудь из них. С своей стороны, мы можем привести именно из последующих изданий множество примеров поразительной, доходящей до мелочей, несамостоятельности Мальтуса.

Для примера укажем на его рассуждения о стоимости, как в вышеозначенном сочинении, так и в "Definitions in political Economy", ch. VIII.

193

"Опыт", т. II, кн. III, гл. II, стр. 90–91. Все наши ссылки относятся к русскому переводу "Опыта", сделанному П. А. Бибиковым.

Очень ошибся бы тот, кто сказал бы, что, по крайней мере, прогрессии эти придуманы самим Мальтусом. О способности человеческого рода к размножению по геометрической прогрессии говорили и до него (Франклин, Уоллес Тоунзэнд). Арифметическая прогрессия, кажется, придумана, действительно, самим Мальтусом. Но трудно ли было придумать ее, напр., после рассуждений Тоунзэнда о том, что размножающееся по геометрической прогрессии население стремится обогнать средства существования? Неужели простое арифметическое сравнение может быть названо открытием?

195

"Опыт", кн. 1, гл. VIII, стр. 194.

196

Там же, кн. I, гл. X, стр. 219.

197

"Опыт", т. I, кн. I, гл. VIII, стр. 205.

"Principles of Political Economy considered with a view to their practical application, London 1820, p.p. 375–401.

199

Т. е. лишив их собственных средств к пропитанию, превратив их в пролетариев.

Укажем хотя бы на статистику народонаселения во Франции. Из множества относящихся к этому предмету сочинений назовем исследование Бертильона младшего и Дюмона ("Dépopulation et Civilisation", Paris 1893).

201

См. об этом статью "Zu Hegel's sechzigstem Todestag", печатание которой началось в "Neue Zeit" 14 ноября 1891 года. Она перепечатана в русском переводе в сборнике "Критика наших критиков".

202

Г.А. Лориа в своей брошюре "La legge di popolazione ed il sistema sociale, Siena 1882, вздумал было соединить взгляды Маркса, — которого он, впрочем не называет, — со взглядами Мальтуса. У него выходит, что размножение населения, — законы которого изменяются сообразно изменениям общественного устройства, — в свою очередь, является деятельной причиной всех перемен в общественных отношениях. Тут, конечно, есть неоспоримая доля истины; но до какой степени неудовлетворительно это эклектическое воззрение, показывает то простое обстоятельство, что г. Лориа забыл о развитии общественных производительных сил, от которых в последнем счете все и зависит. Подобное несчастие, впрочем, часто случается с г. Лориа в его будто бы глубокомысленных, но в действительности крайне поверхностных и ни мало не остроумных исследованиях.

203

Здесь мы вынуждены цитировать по французскому переводу, не имея в настоящую минуту под руками английского подлинника. См. "Principes etc.", traduit de l'anglais par M. F. S. Constando, Paris 1820, t. II, p.p. 17–19.

Там же, т. I, стр. 340.

"Principes d'économie politique", т. II, стр. 121.

Там же, т. II, стр. 145.

207

Там же, т. II, стр. 227 и след.

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). К их числу принадлежит у нас П. П. Маслов, в этом отношении очень сильно отклоняющийся от взгляда Маркса.

209

Там же, т. I, стр. 477–479.

210

В 1860 г. все население Великобритании с Ирландией простиралось, тоже по Кольбу, до 29 миллионов человек. Чернышевский полагает, что из них домашними земледельческими продуктами содержалось не более 25 миллионов.

211

Соч., т. VII, стр. 246.

Там же, стр. 191–192.

213

Там же, стр. 254.

214

При ежегодном возрастании в 3 % через 25 лет 10 000 человек населения возрастают до 20.938 человек; для того, чтобы число населения удвоилось в 25 лет, нужно принять ежегодную величину возрастания только в 2,81138… %.

215

000,849… в 25-й степени дает 1,021443.

Там же, стр. 258.

217

Там же, стр. 261.

Там же, стр. 255.

219

Там же, та же страница.

220

Опыт, кн. I, гл. I, стр. 100–101.

"То же" потому, что Чернышевский предполагает неизменным отношение числа работников-земледельцев к общей цифре населения.

Чернышевский, там же, стр. 256.

То есть так происходит дело у нас на бумаге; как происходит оно на практике, это вопрос другой, нас здесь не касающийся.

Там же, стр. 208.

225

Там же, стр. 257.

на сколько процентов население второго года больше населения первого года, на столько процентов производительность труда прибылых работников меньше и т. д.), а потом неожиданно переходит ко второй. Как влияет это на ход его вычислений? Уменьшение производительности труда оказывается еще более слабым, чем было оно при разобранном выше ошибочном предположении относительно равенства двух известных читателю процентов. Это видно уже из вышеприведенных цифр. И чем выше процент размножения, тем заметнее действие этой ошибки {Чернышевский в своем расчете не раз смешивает понятие "во сколько" с понятием "на сколько". Так, например, он говорит: производительность труда в этом году должна подняться на столько выше прежней своей величины, на сколько требуемый сбор… и так далее, и вслед затем строит геометрическую пропорцию (Там же, та же страница).

227

Там же, стр. 270.

228

Цифры заимствуются Чернышевским из "Eléments de Statistique humaine" Гильяра.

229

Там же стр. 280.

Так, Чернышевский находит, что эмиграция, доходящая до 1,5 процента населения, в обществе, число граждан которого удваивалось прежде через 52,6 года, удлинит период удвоения до 894,8 лет. Между тем, из его же таблицы видно, что первоначальный процент размножения в таком обществе равнялся бы лишь 1,3275. При эмиграции, процент которой превышает первоначальный процент размножения, в населении явится убыль, а потому оно никогда не удвоится. если не изменится положение дел.

231

Там же, стр. 279–280. Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"), Это — совсем во вкусе Фейербаха, который говорил: "Überlass jeder Zeit ihre Aufgaben und wünsche nicht Alles zu verschlingen. Löse die Forderungen, welche deine Zeit an dich stellt и т. д.

232

Там же, стр. 290.

233

Т. е. ферма, обрабатываемая самими арендаторами, а не капиталистическая ферма.

"Principes", t. II, p. 95.

235

Соч., т. VII, стр. 302.

"Principes", t. II, p. 121. Подлинные слова Мальтуса приведены нами выше.

237

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). Недавний "сельскохозяйственный кризис" тоже выражался впонижении прибыли сельскохозяйственных предпринимателей. Но причина его лежала совсем не в переходе к малоплодородным участкам и не в том, что слишком маю хлеба на всемирном рынке, а в том, что его слишком много. "Предложение превышает спрос, — справедливо говорит г. Л. Крживицкий, — тенденция к перепроизводству все более и более усиливается и принимает все более осязательные формы". Аграрный вопрос, стр. 214–215.

"Для простоты гипотезы оставим в стороне все другие отрасли производства и все другие элементы рабочей платы, кроме земледелия и хлеба", — замечает Чернышевский (Сочин., стр. 292).

239

Там же, стр. 293.

На всякий случай — вот одна из неточностей: по предположению Чернышевского, подлежащий улучшению участок занимает 4 десятины. Одна десятина будет, поэтому, в среднем приносить 4 четверти. Осушенный участок не станет же давать жатву без обработки. Чтобы возделать его, понадобится, положим, годичный труд одного человека. Часть продукта этого труда пойдет работнику в виде заработной платы, другая составит прибавочную стоимость. Спрашивается, как велика будет она? Она будет равна тому, что останется от продукта за вычетом рабочей платы. Рабочая плата, по предположению Чернышевского, доходит до 30 четвертей. Значит, на прибавочную стоимость останется минус 14 четвертей. Но отрицательная прибавочная стоимость не дает возможности уплатить хотя бы одну четвертую часть процента на затраченный прежде основной капитал.

Сочин., стр. 478.

Там же, стр. 484.

Надо заметить, что Милль вовсе не думал доказывать это. Он доказывал, что производство не может превышать потребностей товаровладельцев, а это не одно и то же. Г. П.

Там же, стр. 435.

245

Примечание к настоящему изданию (изд. "Шиповник"). Ср. Маркса. "Theorien über den Mehrwert", zweiter Band, zweiter Teil, S.S. 263–318, и особенно стр. 273, 298, 309 и 318. О теории кризисов Маркса см. Будина. "Теоретическая система К. Маркса", перевод с английского под редакцией В. И. Засулич, Спб. 1908, стр. 260–264.

Соч., том VII, стр. 337.

Не мешает вспомнить, какое направление начинает преобладать теперь в английских тред-юнионах.

Не надо забывать, что Чернышевский писал в подцензурном издании и потому часто должен был выражаться намеками.

249

Там же, стр. 475–476.

250

Т. IV, стр. 566.

В своей, подробно рассмотренной нами выше, статье "Происхождение теорий благотворности борьбы за жизнь" он называет Рикардо мыслителем, "пересоздавшим" своими "Principles" экономическую науку.